Его изящные поэтические сборники, эссе, новеллы публикуются в Москве, Петербурге, Одессе, как отдельными изданиями, так и в толстых журналах, альманахах, в числе которых – «Грани», «Новый мир», «Меценат и Мир» и др. За творческие успехи и заслуги на общественном поприще награждён медалью Лермонтова, медалью «Профессионал России» и медалью Чехова. Общеизвестеый факт: Станислав Айдинян был незаменимым и бесценным помощником А. Цветаевой, ее литературным секретарем и редактором, начиная с 1984-го года – и до последних дней ее жизни (1993).

Кира Сапгир,
член Международного ПЕН-клуба
(Французское отделение)

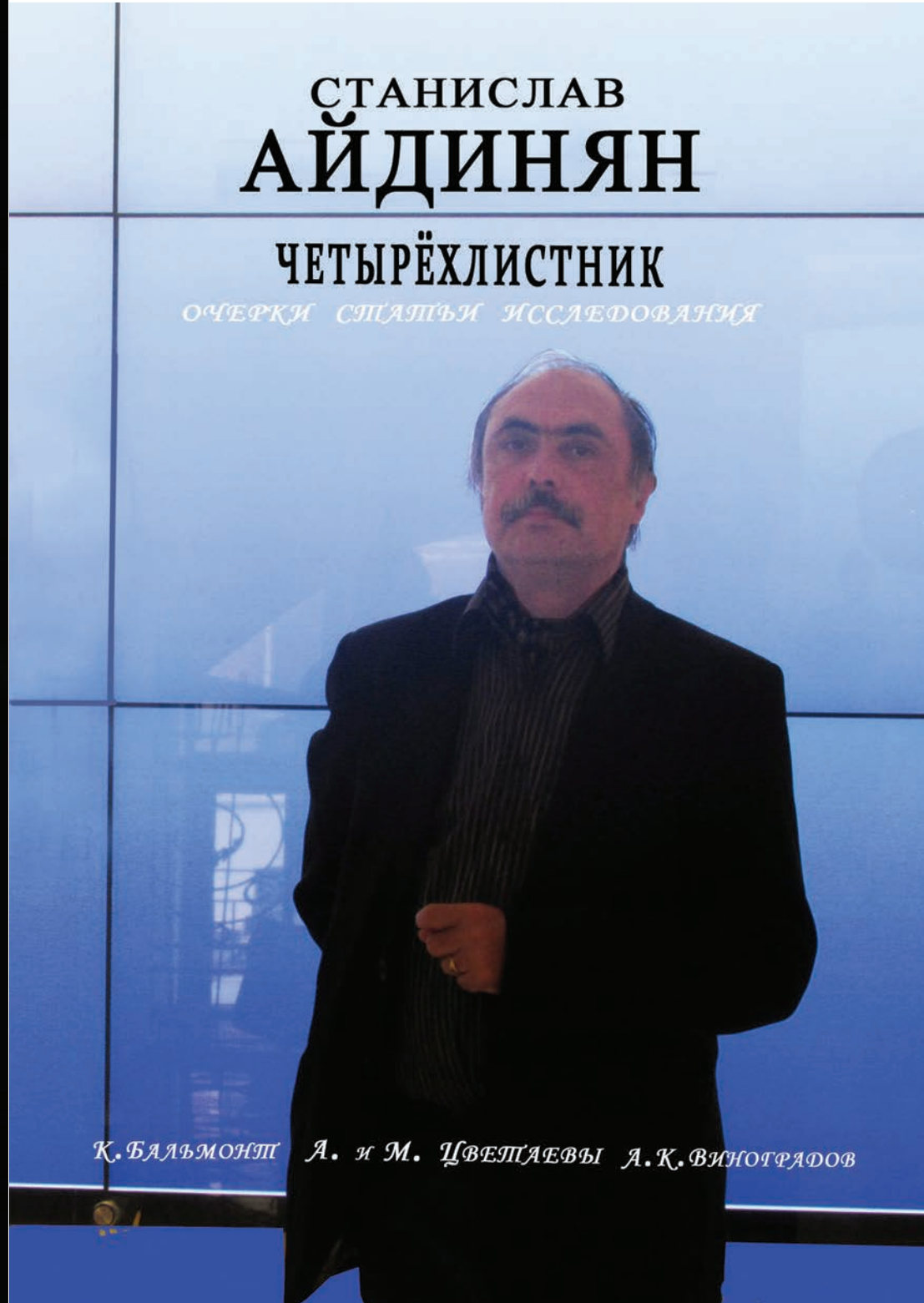
В работе со Станиславом я все глубже погружаюсь не только в разносторонность его дарований и широту его познаний в литературе, но и в его высокий вкус, в творческий темперамент, в привычку мыслить, оценивать и выражать, какие даются человеку только талантом писательского масштаба…. Кстати, мастерство его – редакторское не случайно. Я не оговорилась в характеристике ибо он, Станислав – действительно писатель. Его интеллектуальная проза возвращает к тем эпохам и странам, когда из прошлого в будущее прорастали вневременные произведения, плоды мысли, воображения, принимавшие форму эссе, легенд, философский новелл.

Анастасия Цветаева

Станислав Айдинян

К. Бальмонт
М. Цветаева
А. Цветаева
А. Виноградов

СТАНИСЛАВ
АЙДИНЯН
ЧЕТЫРЁХЛИСТНИК
ОЧЕРКИ СТАТЬИ ИССЛЕДОВАНИЯ



К. БАЛЬМОНТ А. и М. ЦВЕТАЕВЫ А. К. ВИНОГРАДОВ

Станислав
Айдинян

ЧЕТЫРЕХЛИСТНИК

**Константин Бальмонт,
Анастасия и Марина Цветаевы,
Анатолий Виноградов**

*очерки
статьи
исследования*

Издательство «Экслибрис-Пресс»
Москва
2017

УДК 82-4 (83) Айдинян С.
ББК 83.3(2Рос=Рус)
А 36

Айдинян Станислав Артурович Четырехлистник: — Константин Бальмонт, Анастасия и Марина Цветаевы, Анатолий Виноградов / очерки, статьи, исследования / Станислав Айдинян. – Москва: Экслибрис-Пресс, 2017. – 424 с. – ISBN 978-5-88161-400-3.

Книга очерков, статей, исследований Ст. Айдиняна «Четырехлистник» – посвящена жизни и творчеству четырех современников, полноправно вошедших в историю русской литературы. Причем каждый из них занимает в ней свое место. Анастасия Цветаева – классик мемуарного жанра русской литературы, ее сестра Марина Цветаева, – классик русской поэзии Серебряного века; их друг Константин Бальмонт – классик поэзии Серебряного века и самый музыкальный поэт Российской империи. Третье творческое лицо, о котором рассказано – Анатолий Виноградов, писатель и литературовед, – стендалевед и меримеист, библиотечный деятель, принадлежавший до революции к близкому кругу сестер М. и А. Цветаевых. Книга издается к 150-летию со дня рождения К. Бальмонта, к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой и к 130-летию со дня рождения А.К. Виноградова. Часть текстов публикуется впервые, другие тексты переработаны, первоначально выходили отдельно в периодических изданиях или как предисловия в книгах.

Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей.

Книга издана в авторской редакции и корректуре.

ISBN 978-5-88161-400-3 ББК 83.3(2Рос=Рус)

© Издательство ООО «Экслибрис-Пресс», 2017
© Айдинян С.А., 2017
© Осепян Л.О., фотопортрет Ст. Айдиняна на обложке и фотография на 4-й странице обложки, 2017

К. БАЛЬМОНТ

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ – ВЕЛИКИЙ ПОЭТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Глазами современников

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) был самым музыкальным поэтом Российской империи. Жрец музыкального поэтического ключа, он в русской литературе создал равенство поэзии и музыки. Дар его многие сравнивали с даром певчей птицы. По отношению к таланту Бальмонта это столь же естественно и справедливо, сколь неестественно сказать подобное о Маяковском, или Крученых. Экспромтальность и темперамент его поражали... Характеризуя Бальмонта, современники говорили о «эмоциональности, воздушно-трепетной впечатлительности»...

В литературном журнале «Ежемесячные сочинения» (за июль 1900 года), издаваемом И.И. Ясинским, характерен отклик на поэтический сборник «Горящие здания», в котором рецензент пишет: «Бальмонт поэт оригинальный, глубокий, необыкновенно музыкальный. О нем можно сказать его же словами: «Слава создавшему песню из слез роковых, / нам передавшему звонкий и радостный стих» (с. 243).

Паустовский, побывав на лекции Бальмонта «Поэзия как волшебство», годы спустя вспоминал о поэте: «Он заговорил тягучим голосом. После каждой фразы замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль... После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть

русского языка заключена в этих стихах» (К.Г. Паустовский «Золотая латынь»).

О силе влияния поэта на свое поколение свидетельствовали многие. «Кто жил в годы начала бальмонтовской литературной деятельности, тот отлично помнит, как сильны были эти впечатления, как могущественна и непобедима была власть его стихов. До него такой музыки мы не слышали, русский слух никогда не был избалован дотоле такой изумительной напевностью» – писал, в частности, Петр Пильский в юбилейном очерке «К.Д. Бальмонт» (К 50-летию литературной деятельности). «Сегодня», 1936, № 33, 18 февраля.

Талантливейший писатель Борис Зайцев вспоминал о той искренности, с которой Бальмонт читал свои стихи: «Что именно, какие стихотворения он читал – не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось, и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь»... На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны».

А поэт Юрий Терапиано – в очерке «К.Д. Бальмонт» писал, что однажды при выступлении – «...цитируя Баратынского по памяти, в двух местах Бальмонт ошибся, и тотчас же с места присутствующий на собрании пушкинист М.Л. Гофман его поправил. Первую поправку Бальмонт принял, но вторая его рассердила: – Вы все время поправляете меня, – обратился он к Гофману, – но я ведь специалист по Бальмонту, а не по Баратынскому»! И в то время это звучало не столько как иронический парадокс, но как прихотливо выраженная истина.

В том же очерке Терапиано приводит важное свидетельство самого Бальмонта о начале, о истоке его поэтического

творчества. Озарение и ощущение себя поэтом пришло к нему вдруг, от переживания пейзажа: «Мне было тогда 16 лет, я ехал в санях по широкой, покрытой ослепительно-белым снегом равнине. На горизонте виднелся лес, стая ворон перелетала куда-то в прозрачном воздухе. И вот, совсем неожиданно для себя, я с какой-то особенной остротой, грустью, нежностью и любовью почувствовал этот пейзаж и понял, что я должен быть поэтом».

Природа и именно природа стала и была основой его поэзии. Разомкнутость в природу с детства, делали стихотворения его не только напевными, но именно естественными при всей изящной и прихотливой внезапности его эпитетов.

Детство вообще определяет весь дальнейший жизненный путь человека. Живя в подсознании, оно возвращается, порой нежданно – звуком, запахом, воспоминанием. Бальмонт в стихотворении «Ночной дождь» писал: «...Я вспоминал. Младенческие годы. / Деревня, где родился я и рос. / Мой старый сад. Речонки малой воды. / В огнях цветов береговой откос.» Здесь он, конечно, пишет о родной ему деревне Гумнищи, о имении родителей под старинным городком Шуей. О ней же пишет он и в своей автобиографической прозе.

Дорофей Бохан в «Новой искре» не без основания писал в 1936-ом году: «Бальмонта, по нашему мнению, напрасно считают родоначальником какой-то новой эры русской поэзии: как раз наоборот – он является завершителем, последним поэтом, непревзойденным творцом прежней пушкинской эпохи русской поэзии».

Мы можем обратить внимание на то, что эта воздушность, свобода, легкая непринужденность и естественность действительно свойственны как А. Пушкину, так и К. Бальмонту, рожденным в июне – Пушкин 6-ого, Бальмонт 15-го... Оба под знаком Близнеца... Оба сыны неба, воздушной стихии, оба эпикурейцы, дети Солнца.

Это вовсе не говорит о том, что у Бальмонта не было поэтических новаций. Многие знатоки стихосложения, в том числе и Вячеслав Иванов признавали, что «некоторые размеры он даже впервые ввел». Бальмонт был, конечно, во многом новатор-первопроходец, но не новаторство было в Бальмонте главным...

Особенность литературной судьбы Бальмонта именно в том, что он был особенно актуален в те времена, когда чувство изящного было необходимой составляющей правящего класса. Образованность была в обществе эталонирована. Широта интересов уважалась и поощрялась. А общественной силой, противостоящей аристократизму, близкому миру изящных искусств, было мещанство, о чем можно подробно прочитать в «Истории русской общественной мысли» у другого современника Бальмонта, у Р.В. Иванова-Разумника. После социалистической революции именно мещанство стало советским чиновничеством и коммунистическая идеология стала лишь щитом, за которым прятались чиновники-мещане. Демократичный Бальмонт вскоре увидел – революция не дала России свободу. И в 1920 году ему выхлопотали командировку в Париж, из которой он не вернулся.

Несмотря на всю свою раннюю декларативную революционность, Бальмонт серьезным последовательным революционером-политиком не был. У него все кончалось эпатажными поступками и высказываниями. Хотя, как мы знаем, были в его биографии и гласный надзор полиции, и ссылка, и изгнание...

Впрочем, еще один современник, Д. Философов писал – «Подлинный поэт всегда «в эмиграции», если не внешней, то внутренней. Когда поэт говорит: «Быть с людьми, какое бремя!», он показывает, что он и сам понимает, какая пропасть между вещим поэтом и людьми повседневности, людьми «расписания поездов и биржевых бюллетеней...»

(Д. Философов. «Бальмонт» // За свободу! 1927, № 93 (2125), 23 апреля.)

Подтверждение находим у знакомца Бальмонта по Парижу, еврейского поэта Довида Кнута: «Да, одним своим обликом и повадками Бальмонт производил впечатление «настоящего поэта», и это приковывало к нему внимание прохожих. Одеяние его было таково, будто он только что вышел из костюмерной оперы «Богема», а внезапные переходы от отчаяния к радости, от покоя к беспокойству, грому и молниям в глазах и звуках его необычайно певучего голоса – непредсказуемыми» – писал он.

Правильно и многократно констатировано, что в России поэты больше чем творцы рифмованных строк. Порой современники Бальмонта – Вячеслав Иванов, Андрей Белый достигали истинного ясновидения. Пророчески звучат и слова Бальмонта, когда еще в 1914 году, говоря о футуристах, он буквально сказал о «...проявлении того кричащего, безвкусного, рекламного американизма, которым отмечена вся наша изломанная русская жизнь» (Г – нъ, «Беседа с К. Д. Бальмонтом», Северо-Западный Голос. 1914. № 2692, 20 марта).

Сказано это задолго до нашего времени, когда в России телевидение стало навязчиво проецировать в сознание россиян американские жизненные стереотипы, а улицы оделись вретищем американской рекламы...

Бальмонт, не жалуя индустриально-буржуазные атрибуты западной мишуры, тем не менее, вовсе не замыкался в родной речи и литературе. Напротив, он интенсивно занимался художественным переводом, перевел, можно сказать, целый книжный шкаф мировой классики – Д. Философов говорил об этой части его наследия: «Бальмонт не переводит. Он рассказывает о том, что именно он полюбил в переводимом поэте. Он вновь творит и заражает. Прочтете вы точный, научный, перепертый, перевод, и остаетесь равнодушным. В переводах же Бальмонта, переводимый поэт магически соединяется с самим Бальмонтом. И если вы любите Баль-

монта, вы не можете не полюбить и того, кого он перевел. Для настоящего перевода, нужна конгениальность между переводчиком и автором».

И эта черта делает особенно ценным его переводческое наследие. Во Франции, еще при жизни поэта, пропала целая корзина его рукописей, среди которых было немало переводов. Случайная находка ее могла бы стать подлинной сенсацией...

Мария Викторовна Каспрович, вдова польского писателя Яна Каспровича, которого Бальмонт переводил, рассказывала Сергею Поволоцкому о хрупкости душевного мира знаменитого русского поэта – «Бальмонт восхищался чудесными горными видами, но, когда пришлось возвращаться, он неожиданно побледнел и приостановился. Испуганная его видом и состоянием Мария Викторовна спросила, что с ним. Бальмонт ответил ей не сразу, еле переводя дух, слабым и тихим голосом. Оказалось, что поэт страдал болезненной «боязнью пространства» и не мог заставить себя сойти даже с небольшой высоты. Он забыл, а, вернее не хотел предупредить об этом Каспрович. Теперь, когда при возвращении на «Харенду» им пришлось сходить с горы, Бальмонт не смог преодолеть охватившего его страха. «Мне пришлось буквально тащить его на руках за собой. (Копия автографа воспоминаний из семейного архива Сергея Поволоцкого (Лодзь, Польша).)

О странностях, неизбежно сопровождающих выдающиеся натуры, записано во многих биографических очерках и мемуарах. Вот и Андрей Белый в мемуарной книге «Начало века» оставил о своем собрате по перу сходное свидетельство: «Раз он (Бальмонт. – *Ст. А.*) в деревне у С. Полякова полез на сосну: прочитать всем ветрам лепестковый свой стих; закарабкался он до вершины; вдруг, странно вцепившися в ствол, он повис, неподвижно, взывая о помощи, перепугавшись высот; за ним лазили; едва спустили: с опасностью для жизни. Однажды, взволнованный отблеском месяца в пенной

волне, предложил он за месяцем ринуться в волны; и подал пример: шел — по щиколотку, шел — по колено, по грудь, шел — по горло, — в пальто, в серой шляпе и с тростью; и звали, и звали, пугаясь; и он вернулся: без месяца. Е.А., супруга, уехала раз в Петербург; он остался в квартире один; кто-то едет и — видит: багровы все окна в квартире Бальмонтов: звонились, звонились, звонились; не отпер — никто; и вдруг — отперли: копотей — черные массы; сквозь них — бьют вулканы кровавые из ряда ламп с фитилями, отчаянно вывернутыми; среди черно-багровых Гоморр — очертание черного мужа, Бальмонта, устроившего Мартинику (т.е. извержение вулкана. — *Ст. А.*) — не то оттого, что он выпил, не то от каприза, мгновенного и поэтического».

Поэт и переводчик Марк Талов в своей недавно вышедшей книге «Воспоминаний» вспоминает о Бальмонте не только как о человеке увлеченном, но и как о человеке большой душевной чуткости и сострадания: «Бальмонт познакомил меня с Мережковским, которого очень любил, часто бывал у него. В одну из встреч Константин Дмитриевич подарил мне свою книгу «Дар Земле» с надписью: «Марку Владимировичу Талову с чувством искренней симпатии. К. Бальмонт, 1921, 9 мрт.» Вручив книжку, Константин Дмитриевич попросил подождать: «Я переоденусь и мы с вами пойдем к Мережковским». Был холодный день, и я пришел в пальто, оставил его в передней. У Мережковских мы пробыли до 12 ночи. Распрощавшись, вышли на улицу. Я машинально сунул руки в карманы — в одном — два апельсина, в другом — 3 пачки английских сигарет и 50 франков. Это Константин Дмитриевич мне положил. Он добрейшей души был человек, об этом просто не все знали» (М. Талов «Воспоминания. Стихи. Переводы», М. «Мик», Париж «Альбатрос», 2005, с. 26).

М. Талову вторит близкий друг Бальмонта, Марина Цветаева, знавшая его еще в молодые ее годы в Москве, оставившая посвященные ему очерки-свидетельства их искренней

и безоблачной дружбы: «На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда – поэта... Бальмонт мне всегда отдавал последнее. Не мне – всем. Последнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку. Последнюю спичку. И не из сердобольности, а все из того же великодушия. От природной – царственности. Бог не может не дать. Царь не может не дать. Поэт не может не дать». (М. Цветаева «Слово о Бальмонте». Собр. соч. в 7-х тт., М.: «Эллис Лак», 1994, т. 4, с. 273). Так писала она о друге в своей неповторимой, чисто цветаевской, афористической манере...

А сдержанная и методичная Н. Берберова, автор известной и емкой воспоминательной книги «Курсив мой», рассказывает в ней, среди прочего, случай, как из Москвы в 1927 г. пришло фактически неподписанное письмо, от безвестной «Группы русских писателей», имевшее обращение «Писателям мира». Это был вопль о помощи, в нем были «ноты отчаяния», связанные с запрещением многих дореволюционных писателей и изъятием их из библиотек, с жестокостью всеподавляющей советской цензуры, убившей в стране свободу слова. Письмо было напечатано в русской парижской газете «Последние новости». Но большинство побоялось открыто на него отреагировать. Особенно не поняли его те, к кому оно было обращено, писатели Запада, французские писатели. «Наконец Бальмонт и Бунин написали письма-обращения к «совести» французских писателей». (Н. Берберова «Курсив мой» М., «Согласие», 1996, с. 276). Они двое бесстрашно осмелились открыто выступить в защиту свободы и человечности, они то верили в возможность несправедливости и репрессий, знали о них. И тогда на этих защитников жертв произвола, обрушились – Ромен Роллан и М. Горький, к которому Роллан по этому поводу обратился с письмом... На Западе не ведали, что делалось за железным занавесом в советской России, но зато это знали Бальмонт, в революционные годы голодавший и замерзавший в Москве, и автор «Окаянных

дней» И. Бунин... (Надо в скобках сказать, что Бунин в своих «Воспоминаниях» нелестно писал о Бальмонте, однако в них трудно найти человека, о ком бы нобелевский лауреат земли русской отозвался бы доброжелательно...).

И, последним аккордом, нежданное и высокое свидетельство о христианском покаянии Бальмонта перед его кончиной 24 декабря 1942 г. в городке Нуази ле Гран под Парижем. Посмертно свидетельствует Борис Зайцев, – «..этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, ее утехам и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния – ведь он считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить».

И, все таки, есть надежда, что Бальмонту много простится за ту гармонию его лирической души, которая протягивала людям ладони, полные тепла и света. И забудутся бальмонтовские страсти и неистовства, которые были ведомы его родным, знакомым и близким. Для людей его поколения он был и остался автором любимых книг, которые бережно передавали из рук в руки, и которые потом, уже в другой России, стали антикварной редкостью, за которую книголюбы отдавали немалые деньги, «собирая» Бальмонта, жившего в той старой, легендарной России...

Завершить же хочется фразой из виленчанина Д. Бохана, красноречиво писавшего: «Но в ком бьется любящее сердце, кто любит красоту, природу, кто живет и любит жизнь – тот всегда будет упиваться стихами Бальмонта, погружаться в лазурное море его дивной поэзии». В наши дни, когда в России последовательно и широко отмечаются юбилеи автора «Белого зодчего» и «Горящих зданий», эти слова, сказанные к давно прошедшему, прижизненному юбилею (пятидесятилетию литературной деятельности в 1936 г.), сегодня столь же актуальны.

В ОРЕОЛЕ ПАМЯТИ: КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

Имя Константина Бальмонта я слышал еще в детстве, оно изредка мелькало в разговорах взрослых, в тех старинных, таинственных для меня домах, где была гнутая мебель в чехлах, а на пианино стояли бронзовые канделябры со свечами. Под высокими потолками, плохо видными в сумерках, собирались представители самого старшего поколения, которые помнили свою дореволюционную юность.

Низкий абажур, полуосвещенные лица, на которых – уже редкое сейчас выражение – смесь благожелательной увлеченности с любезной сдержанностью.

Бархатная тональность тех вечеров была изящна, полна поэзии. Тогда, бывало, цитировались стихи столь красивые, что после них в воздухе на миг повисала плотная, как покров времени, тишина...

В красоте музыкальности,
Как в недвижной зеркальности,
Я нашел очертания снов,
До меня не рассказанных,
Тосковавших и связанных,
Как растенья под глыбою льдов...

Это воскресали из небытия стройнозвучные строфы Бальмонта. Поэзию его любила вспоминать Варвара Васильевна Скородинская, вдова академика-офтальмолога В.П. Филатова. И еще отчетливо помню, как сестра моей бабушки Эльпиды Азарьевны, Клеопатра Азарьевна Рамфопуло, читала наизусть запомненные ею в гимназические годы стихи К. Бальмонта и А. Апухтина и как она восхищалась ими. Рассказывала о том, как они на молодежных праздниках читали вслух стихи из ежегодного «Чтеца-декламатора», тогда исключительно популярного....

В советское время поэтов-символистов долго не издавали. Имена К. Бальмонта, А. Белого, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба,

Эллиса, Ю. Балтрушайтиса лежали глубоко на дне шахт забвения, однако их помнило старшее поколение. Молодежь знала Есенина и Блока...

И вот однажды мама захотела мне сделать подарок: купить книгу в букинистическом магазине. Мы зашли в Одессе в букинистический, что находился в полукруглом здании, которое боком своим «поворачивало» от Дерибасовской к Греческой площади. Магазин этот, к счастью, дожил до наших дней, правда, уже без удивительного старокнижного богатства тех лет. Пришлось выбирать меж хорошо сохранившимся томом рассказов из собрания сочинений Леонида Андреева и лишенным обложки томом стихотворений К. Бальмонта.

Я раскрыл широкие страницы и не смог оторваться от музыки слов. Так не мог оторваться от фантастической книги, написанной цветами и звуками, герой Алексея Толстого в его «Аэлите»...

Выбор был сделан. Книгу приобрели, несмотря на то, что кромка книги была слегка «запечатана» куриным пометом... Видимо, «хранилась» она дотоле в каком-то сарае...

В тот же день сидел я на бульваре, над морем, под солнечными бликами, что клали на пожелтевшую бумагу тени от ветвей больших, развесистых платанов, и листал стихи.

Это были водопады красоты — молодой, свежей, звонкой и изящной, как отражение орхидей в призрачном стекле зачарованных струй... Полнозвучные аккорды сменялись чеканной поступью образов и возникали химеры с собора Нотр-Дам, или стих блистал надписью на испанском клинке... Тогда водопады сменялись темнотою глубин бёклиновских водоёмов...

И вот, листая книгу, я расклеил, наконец, скрепленные окаменелой от времени печатью куриного помета две первые страницы лишенной переплета книги. Увидел карандашом написанное стихотворение. Сначала надпись шла калли-

графично, плавно, с манерными росчерками букв, потом все быстрее, все небрежней. К концу тот, кто писал, явно заспешил.

Я был в России. Грачи кричали
Весна дышала в мое лицо
Зачем так много в тебе печали
Нас обвенчали. Храни кольцо
Я был повсюду. Опять в России
Опять вернулся. И снова нем
Поля родные, поля седые
Я к Вам вернулся. Зачем? Зачем?
Кто хочет жертвы? Ее несу я
Кто хочет крови? Мою пролей
Но дай мне счастья и поцелуя
Лишь на мгновенье
Лишь с ней, с моей.

И внизу подпись: К. Бальмонт.

Книга ни ветхостью своею, ни датой выпуска сомнений не вызывает. Это третий том Полного собрания стихов К.Д. Бальмонта, выпущенный издательством символистов «Скорпион» в 1908 году. На титульном листе штамп, свидетельствующий о том, что куплена она была в Одессе, в книжном магазине «Труд». Есть и другой овальный штамп. Оттиск его говорит о том, что далее она была в Библиотеке одесского отделения общества распространения просвещения среди евреев в России им. М.И. Моргулиса.

Что это? – Подлинный автограф Бальмонта или чья-то подделка, старинная шутка молодого бонвивана, подшутившего еще до революции над восторженной и легковерной девушкой?.. Ответа не было... Тем не менее удалось узнать, что это, действительно, стихотворение К. Бальмонта, оно относится к циклу «В России», носит название –«Лишь с ней». Это стихотворение первое в цикле перед «Прощанием». Известно, что оба стихотворения входили в неизданный

сборник «ТО», а опубликованы в издании «Весенний салон поэтов». М., 1918. с. 32 и 35.

Прошло еще несколько лет, и я познакомился с Анастасией Ивановной Цветаевой. С 1984 года я стал помогать ей как секретарь и литературный редактор в ее писательском труде, а она в перерывах меж работами над рукописями рассказывала мне о своей «серебряной юности», о Волошине, об Эллисе, о Брюсове, о Бальмонте.

Когда Бальмонт пришел к сестрам Цветаевым познакомиться, то юные Марина и Анастасия договорились между собой подшутить над гостем: решили не сказать ни единого умного слова – прикинуться абсолютными дурочками. Они сдержали данное друг другу обещание и несли весь вечер несусветную чушь. Когда же Бальмонт сказал: «Мне здесь понравилось, я буду бывать в этом доме!», обеим сестрам стало очень стыдно.

Как-то раз, тоже за чаем, в пору нашей работы над ее романом «Amor», Анастасия Ивановна сказала: «Вот, вспомнился эпизод о Максе и Бальмонте, не записанный... Мне его сам Макс рассказывал...».

В пору их с Бальмонтом пребывания в Париже они зашли в какой-то кабачок, заказали бутылку скромного вина. Сели за столик. За соседним столом шумела подвыпившая компания апашей, прожигателей жизней... И вот один из апашей встает, подходит к столу, за которым сидят эти два пышноволосых иностранца и, представьте себе, апаш забирает бутылку, которую они только успели начать, и дерзким жестом переставляет на свой стол. Миролюбивый Макс отнесся к происходящему созерцательно. А в Бальмонте моментально вспыхнула кровь, он встал из-за стола – и мужественным жестом – правую руку за отворот пиджака (жест был таков, будто он готовился достать оттуда пистолет, нож, что угодно...) и со свирепым выражением лица пошел к столу апашей. Те

замерли в ужасе — сейчас он достанет револьвер и кого-то из них ждет смерть. Вместо этого Бальмонт, подойдя вплотную к столу, вытащил из внутреннего кармана (вместо револьвера) коробку папирос, открыл ее и предложил апашам. Конечно, они от ужаса оттаяли в восторг, пригласили и Макса, и вино пили уже все вместе, будто сразу сделались друзьями...

Я спросил: «В какие годы это было?»

— Он нам это рассказывал, наверное, в 1911-ом, 1912-ом годах...

Задор, риск! Отвага! Все это было в Бальмонте. Была у выдающихся личностей и встречающаяся особая «декларация» — жест презрения к мещанству. В Коктебеле до революции на берегу моря купальщики и купальщицы из «хорошего общества» сидели в совершенно глухих, как «человек в футляре», закрытых купальных костюмах. Однажды К.Д. Бальмонт, в безукоризненном белом костюме, в шляпе, с тростью, на виду у этих наглухо застегнутых дам и господ сошел к морю. Далее невозмутимо, неспешно, не останавливаясь, он проследовал в одежде в воду, зашел по шею, прошелся вдоль пляжа и столь же невозмутимо вышел из моря... Вода текла с него ручьями, но он ее не замечал! Не удостаивал заметить! Он гордо шел обратно к дому Макса, оставляя за собою мокрые следы и змеиный шепот злого удивления...

— Да... — сказала Анастасия Ивановна, когда я ей напомнил этот случай, — Бальмонт с Максом сражались против чопорной благовоспитанности... В Коктебеле жила певица Мария Дейша-Сионицкая... Та особенно не любила Макса, считала его аморальным. Ведь его женщины-гости ходили в крымских, татарских штанах-шароварах, что в те годы считалось недопустимым. Против Макса и всего его окружения распространялись самые отрицательные слухи. Тем поступком Бальмонт выказал им свое презрение!..

В «Воспоминанях» А.И. Цветаевой (М., «Изографус», 2002), есть глава 48, «Вечер у Богаевских...», в ней читаем слова М. Волошина о его друге:

– Мы шли по Парижу с Бальмонтом, и я сказал ему: «Константин! Ты же настоящий поэт, почему же ты печатаешь столько, – голос Макса стал мед, – плохих стихов?

Он вспыхнул (в нем же ирландская кровь) – и мне через плечо, уничтожающе: «А ты знаешь, сколько я их н е печатаю?»

– Какая прелесть! – кричу я в уют Максиного смеха и в волны, спасаясь от них в Макса, круто заворачивая назад, к земле, из моря. – Он чудный, Бальмонт, да? (с. 559).

И еще в «Воспоминаниях» есть эпизод, в котором сестры Марина и Анастасия встретились после долгой разлуки, ночью они рассказывали друг другу о пережитом. (Старшая видела революцию и нищету в Москве; младшая во время гражданской войны вынужденно оставалась в Крыму).

Вот еще один фрагмент, говорящий о том, как к К. Бальмонту относились Цветаевы:

«– Да! Марина! Я хотела спросить: Так ты подружилась с Бальмонтом? Как можно было подумать после первого его прихода, когда мы притворялись дурочками!

– Нет, именно тогда уже можно было понять, что друг. Помнишь, он, уходя, сказал своим мяукающим голосом: «В этот дом я буду приходить...». Очаровательный человек. Умилительный. Ни в чем ни на кого не похожий. Рыцарь. И вся его нищая семья вторая... Дочь Мирра... Его жена – прелестна. Ничего не умеет, практичность – вроде нашей. Но все переносит так грациозно и так его любит... – Отдадут последний кусок. В таком неустройстве жили, органическом...

– А ты говоришь, нет людей! Что с ними теперь?

– Они уехали. Не знаю, как теперь там живут, на Западе без денег еще трудней, чем у нас, без специальности. Хороша «специальность» – поэт!».

(См. с. 637 указанного издания; здесь же текст цитируется с несколько иным синтаксисом, приводим его по 26 части машинописи «Воспоминаний», хранившихся в личном архиве автора).

Еще через некоторое время, когда мы с Анастасией Ивановной перебирали фотографии, я обратил внимание на целую серию снимков группы людей. Среди них – Мария Степановна Волошина – жена Максимилиана Александровича; Владимир Купченко, будущий тогда директор музея М.А. Волошина, его жена и на одной из фотографий – с левого края компании, вполоборота, в профиль – женщина с волевым, мужского типа лицом в кожаной куртке. Это Нина Бальмонт! – пояснила Анастасия Ивановна, подняв очки и близко-близко поднесла фотокарточку к глазам, – мы с ней познакомились в 1960 году у Марии Степановны в Коктебеле.

Она жива. И такая трагедия! – поскользнулась, попала под транспорт, под автобус! – она эту трагедию восприняла со стоическим спокойствием. Значит, такова Божья воля. Уже несколько лет как без ноги. (Случилось это несчастье в 1978 году, когда Нина Константиновна возвращалась из церкви). Я жила уже на этой квартире, ее ко мне привезла Галина Игнатьевна Медзмариашвили, вы ее знаете. И потом она нас соединяла – приглашала к себе, встречались у нее.

Вторую жену Бальмонта, мать Нины, я знала. Она была тем удивительна, что похожа на нашу мать, такая же высокая, статная, но красивей нашей матери. А очень похожие черты. Екатерина Алексеевна Андреева. У нее была старшая сестра, Александра Алексеевна. Писала о Толстом, о классиках, писала об Ибсене. Очень некрасивая и очень обаятельная. Один глаз у нее уходил... Она поднималась ко мне на четвертый этаж без лифта. Мы с ней дружили, встречались также в Узком, санатории, бывшем имении Трубецких; ей

было 73 года, мне 29 лет. Я всегда выходила с ней и шла ее провожать в Николопесковский переулок. Однажды я ее не проводила, так как страшно устала. Надеялась, она сама дойдет. Не знала, что это последний ее приход. Она умерла внезапно во время разговора о Достоевском. И сестра ее, мать Нины, Екатерина Алексеевна, страшно по ней тосковала. Я ходила к ней, утешала, она плакала у меня на груди. Молюсь за нее. Нину я в те годы не видела, но знала, что она была замужем за художником Львом Бруни. Недолгий брак, но много детей. (Лев Александрович умер в 1948 году. – *Ст. А.*). У нее домик в Крыму был в Судаке, у горы Алчак. Мы как-то гостили там с Евгенией Филипповной Куниной.

Когда мы с писателем Анатолием Михайловичем Кузнецовым поехали на панихиду по М.В. Юдиной, по случаю десятилетия со дня смерти, там собралась старая Москва. Была Ниночка Бальмонт без ноги, уже на протезе. И оттуда на машине она приехала сюда. Вот я и задала вопрос: «Ниночка, как это случилось?» она сказала: «Был мокрый день. Я поскользнулась. Потеряла сознание. Пришла в себя уже после операции, которую делали под наркозом. Очнулась, когда меня перекладывали с носилок на кровать и увидала, что одна нога длинная, а другая кончается как-то странно – белым комом. И я тогда поняла и сказала себе – раз это случилось, это должно было случиться! И решила больше не думать об этом».

– Очень мудро сказала. Хорошо. Благородно.

Мужественное спокойствие. Высота духа. Взгляд на свое несчастье – как с выси горы, – так подумал я.

Галина Игнатьевна, жена полпреда, а потом и первого посла Грузии в России Нодари Акакиевича Медзмариашвили. Она – журналистка старой, советской закалки, жила тогда в Москве, продолжая сотрудничать с газетой «Вечерний Тбилиси». В 1989 году опубликовала книгу, которая вышла

в издательстве «Хеловнеба» под теплым названием «Людям о людях». На страницах книги мы найдем фотографии Нины Константиновы Бруни-Бальмонт и добрые слова о ней. Потом еще ею был сделан и издан фотоальбом «Встречи с Анастасией Цветаевой», там тоже фото Анастасии Ивановны с Ниной Константиновной и подругой В. Маяковского, переводчицей Ритой Райт. Знаю, что Галина Игнатьевна познакомила с Ниной Бальмонт известного литературоведа Гию Маргвелашвили, возглавлявшего отдел в журнале «Литературная Грузия» и его супругу Этери Думбадзе. Помню, как Маргвелашвили с Галиной Игнатьевной приезжали и к Анастасии Ивановне в ее квартиру в доме на Большой Спасской. В 1966 году в «Литературной Грузии» была опубликована работа Н. Бруни-Бальмонт «Бальмонт в Грузии» (№ 9-10, с. 115).

Галина Игнатьевна говорила, что еще в Тбилиси познакомилась с Ниной Константиновной, когда с 1978-го три года подряд та приезжала в Тбилиси на день Покровительницы Грузии Святой Нины (27 января). И все эти три года они 30 января встречались. В этот день Галина Игнатьевна просила Нину Константиновну ни с кем не договариваться и быть у нее. Тогда супруг Галины Игнатьевны был министром строительства и на его машине она сопровождала дочь поэта к знакомым; например, к старым сестрам писателя Чабуа Амирэджиби, автора легендарного «Дата Туташхия». Приезжала Нина Константиновна и с внучкой, дочкой сына Ивана.

У Нины Константиновны семь детей было, – рассказывала много позже Галина Игнатьевна, – но оставались в живых четверо. Два сына (Иван и Василий) и две дочери. Еще один сын погиб на фронте. Муж, Лев Александрович Бруни, был старше ее. Жили они долго на Урале. Попали туда потому, что там некоторое время после крушения Империи еще работали

Российские банки, и можно было пользоваться деньгами со своих счетов, существовать на свои средства.

Галина Игнатьевна интересовалась судьбой подруги Анастасии Ивановны, Майи Кудашевой. Потом она стала женой Ромена Роллана. В начале века в Крыму они с Анастасией Ивановной общались. Галина Игнатьевна, будущий автор книги о Марии Павловне, бывало, заезжала к Анастасии Ивановне побаловать ее восточными дарами – мандаринами, яблоками, грушами, привозила красное вино хороших грузинских марок. Она же возила ее в гости к друзьям – к Н.И. Катаевой-Лыткиной, к Раисе Ширвинт, матери известного актера А. Ширвинта – и к себе домой, на вечера, где они встречались со значимыми и просто приятными людьми...

Галину Игнатьевну (в очередной приезд ее к Анастасии Ивановне) я попросил познакомить меня с Ниной Константиновной. Знакомство помимо вполне понятного интереса имело и конкретную цель – проверить подлинность того старообретенного карандашного автографа К.Д. Бальмонта на томе «скорпионовского» собрания его стихов.

Март 1988 года. В условленный час я стою напротив своего дома на улице Смоленской в Москве, под громадой интуристовского отеля «Белград 2». Из-за снежной завесы показалась черная представительская «Волга». Дверца захлопнулась. Едем.

За Кутузовским проспектом, на Славянском бульваре, – обычный типовой дом. Лифт. Дверь открывает скромная и быстрая женщина. Уже в годах. Говорит: «Мама вас сейчас примет...». Догадываюсь, что это дочь Нины Константиновны.

Входим в гостиную. Галину Игнатьеву здесь встречают как близкого семье человека. За столом в инвалидной коляске,

с длинной американской сигаретой в руке восседает Нина Константиновна. Седые волосы, глубокие морщины узковатых глаз, определенная мужественность облика. Перед ней на столе – пепельница и высокая бутылка греческого коньяка, в те годы невиданная в Москве.

Мы знакомимся, я объясняю цель приезда. «Сейчас я посмотрю!» – говорит Нина Константиновна, берет у меня книгу, силится разглядеть надпись, но... карандаш слишком для нее бледен. Тогда она просит дочь, Нину Львовну, подкатить коляску к большому стационарному увеличительному стеклу, установленному на столе для чтения...

– Да, – говорит она, внимательно прочтя надпись, – это почерк батюшки!..

– Я что-то здесь должна написать? – обращается Нина Константиновна ко мне.

– Пожалуйста, напишите, что автограф подлинный! – прошу я.

И она черной ручкой записывает на титульном листе, под эпиграфом из Анаксагора: «автограф Бальмонта подлинный. Н. Бруни-Бальмонт. 15 марта 1988 г.». В ее почерке я увидел сходство с почерком отца.

Потом мы подсели ближе к бутылке с греческим коньяком «Метакса» и началась беседа. Я сказал, что по моему предположению, Константин Дмитриевич написал эту книгу во время одного из поэтических выступлений в Одессе. Говорят, он любил давать автографы...

– Да, в Тифлисе у одной дамы он перстнем нацарапал автограф на стекле! – ответила Нина Константинова, – в годы его славы я брала у него визитные карточки, посылала их подруге, чтобы она могла попасть на литературный вечер. На них он писал: «Прошу дать два места...»

Я заметил Нине Константиновне: удивительно, что столь стихийный поэт был (как пишет Марина Цветаева в «Слове о Бальмонте») столь аккуратен в быту – у него в домашней библиотеке книги стояли в идеальном порядке. На это Нина

Константиновна ответила: «Марина Ивановна пишет, какой он был работник... Мы жили тихо, скромно, буржуазно. Вставал отец всегда рано. У него очень болели глаза с детства. У кровати его горела свеча, и он к одному глазу приближал страницы. Мама спала за перегородкой. Он делал вид, что спит. Она зажигала свечу и читала французский роман, тогда и он зажигал свечу.

Когда отец уехал, мы переписывались и мой муж говорил, что очень любит его письма.

Разговор пошел и о том, что крайняя одаренность или гениальность по многим свидетельствам проявляются у людей, переживших клиническую смерть. Тому пример биография И.В. Гете, написанная Эмилем Людвигом. Я привел по памяти то место, где говорится, как юношей Гете был при смерти и только врач-мистик, знавший тайны, вывел его из предсмертия...

У пианиста Святослава Рихтера в детстве было гнойное поражение мозга, он был обречен. Молодой тогда врач, будущий профессор-педиатр Г.С. Леви взял с его родителей подписку о том, что они с него снимают ответственность за исход операции и сделал трепанацию черепа. После выздоровления в мальчике проявились и стали развиваться музыкальные сверхспособности.

Примеров немало. Между прочим, о К. Бальмонте говорили, что он в юности в результате несчастной любви выбросился из окна и, встав, окровавленный, с каменной мостовой, в миг своего спасения ощутил всю полноту жизни, разлитой в воздухе. Мир запел, засиял. Будто все озарилось вокруг. Такова легенда.

Приведем по этому поводу более точное свидетельство. Литератор Петр Семенович Коган, современник поэта, автор обширной статьи о нем в его «Очерках по истории новейшей русской литературы» (1929), цитирует автобиографию Бальмонта: «Моя попытка убить себя (22 лет), бросившись через

окно на камни с высоты третьего этажа (разные переломы, год лежания в постели, потом небывалый расцвет умственного возбуждения и жизнерадостности)». (с. 184).

Нина Константиновна оживилась: «Знаете ли Вы, что он хромал после той попытки самоубийства? Мы, конечно, об этом знали. А потом третья (гражданская) жена Елена не пускала его к моей маме на именины; она кормила маленькую дочь Мирру и не хотела его отпускать. Он ощутил прилив горечи. Позор – не поздравить маму – он кинулся из окошка! И, сломав вторую ногу, перестал хромать. Ноги выровнялись!..».

Мы с Галиной Игнатьевной не знали «продолжения» этого случая и подивились такой провиденциальной «коррективе»...

Знаю еще, – добавила Нина Константиновна, – что после попытки самоубийства он лежал в клинике профессора Захарьина, нога очень медленно срасталась. К нему очень привязался врач Воронов, стал следить за всем, что выходило из печати; покупал все его книги. Я вспомнил, что доктор Захарьин, это одно из имен неопубликованной части «Воспоминаний» А. Цветаевой, а также один из героев ее романа «Amor», который мы с ней редактировали. Все в жизни связано...

Я показал Нине Константиновне книгу Александра Дейча «День нынешний и день минувший». Это было второе, дополненное издание книги, вышедшее в 1985 году. И я прочел оттуда вслух сцену чествования К. Бальмонта в Киеве, в ресторане Роотса на Крещатике. Рассказал ей, что знал в Одессе профессора-медика, курортолога М.С. Беленького, георгиевского кавалера, автора мемуарного очерка о крейсере «Алмаз», (который в революцию служил офицерской тюрьмой). Беленький дружил с Анной Ахматовой и Александром Дейчем в Ташкенте – они там были в эвакуации.

На это Нина Константиновна сказала: «Я познакомилась с А. Дейчем у Либединских, бывала у него. Когда он поехал в

Париж с женой, я просила его побывать на могиле Бальмонта и сфотографировать ее. Когда он приехал туда, все его стали отговаривать, все-таки много километров, и почти слепому человеку ехать туда сложно.

– И он не поехал? – спросил я.

– Поехал! – Дейч познакомился там с Якимовым, тот много помогал Бальмонту. И он, и его жена. Дейч привез мне фотографии. Я ему дала с собой положить на могилу букетик злаков – ячменя, овса.

Я представил себе Дейча в его неизменной тюбетейке, в больших линзах-очках, склонившегося над одинокой в изгнании могилой Бальмонта, которого он знал еще в зените славы, в ореоле обожания почитателей. Стало грустно: Sic transit gloria mundi! – Так проходит мирская слава!

Из задумчивости меня вывела Нина Константиновна: «Как трогательно, что Дейч съездил на кладбище...». А потом вспомнила «Шутку литовскому другу» К. Бальмонта, которая когда-то нравилась Дейчу:

Себя страданием не тешь,
Когда неможется – поешь,
Коли не хочется – поспи,
Коли не можешь – потерпи!

Я попросил ее написать мне это стихотворение на книге Дейча, но она сказала: «Вы сами напишите, а я за отца подпишу». И, действительно, под написанным мною стихотворением она подписала «Вильно К. Бальмонт 31 г.». Любопытно, что в мемуарных записках (указание на источник см. далее) Нина Константиновна датирует приезд Бальмонта в Литву 1929-30 годами. Здесь же указан «31 г.»

Шутка и подпись к ней дочери Бальмонта, героини его «Фейных сказок», легли на страницу книги Дейча, на которой было типографски напечатано: «Посвящаю эту книгу Евгении Кузьминичне Малкиной – жене, другу, помощнице».

Уже в конце 1990-ых годов XX века Евгения Кузминична Дейч, вдова писателя, человек редкой культуры и обаяния,

подтвердила истинность эпизода с поездкой на могилу к Бальмонту. (Я выступил с рассказом об этом эпизоде на вечере памяти А. Дейча, который проходил в Доме-музее М. Цветаевой в Москве). Потом Евгения Кузминична еще пояснила, вспоминая ту поездку 1968 года с Дейчем в Париж, что Нина Константиновна, действительно познакомилась с ними в доме у Лидии Либединской. Прибежала к ним, узнав, что они едут в Париж. «Александр Иосифович, – только вам я могу доверить...» – со слезами говорила она, прося привезти ей фотографии могилы отца. Она еще не знала, что сама на следующий год сможет посетить кладбище Нуази ле Гран. Евгения Кузминична рассказывает, что это католическое кладбище, довольно заброшенное. Оно расположено на горке. Могила Бальмонта внизу, под горой. Сверху в могилу стекала вода. Вот почему при похоронах, что широко известно, гроб чуть не «всплывал», когда его засыпали землей. Ведь Бальмонт перед смертью так отощал, что тело его почти ничего не весило. Был кожа да кости. Якимов, о котором упоминает Нина Константиновна был простой русский человек, казак, кажется, по происхождению. Он до последнего дня бывал у больного Бальмонта, присматривал за ним. Дейчи зашли к нему в дом, там был самовар на столе, огромная икона, столик, а на нем – газета «Правда», которую кто-то ему достал, нечего было читать по-русски. В Нуази ле Гран он уже был единственный русский. За Дейчами ездил в Париж, чтобы слышать русскую речь, очень много рассказывал. С Ниной Константиновной ездила на могилу Бальмонта дочь Б. Зайцева – Зайцева-Сологуб. Упомянутый далее Марков, пояснила Евгения Кузминична, – исследователь литературы, живет он в США.

Надо сказать, что после долгих лет замалчивания именно А.И. Дейч опубликовал в журнале «Простор» в № 6, 1967 года подборку стихов Бальмонта со своим предисловием. А П.В. Куприяновский и его ученица и соавтор многих работ Н.А. Молчанова

обращались за консультациями при исследовании судьбы и творчества Бальмонта к Евгении Кузминичне.

Но диалог с Ниной Константиновной еще не закончен. Она продолжала:

– Мне из-за границы Марков, который делал комментарии к скорпионовцам, прислал большое письмо с вопросами – что кому в стихах отца посвящено. Что хотел он сказать в четвертой строке «Художника Дьявола»? Но большая часть стихов, о которых он спрашивал, была написана тогда, когда я была еще совсем маленькой.

Оглядывая комнату, где Нина Константиновна нас принимала, я узнал на стене портрет первой жены Максимилиана Волошина, Маргариты Сабашниковой.

«А как же, – тепло сказала Нина Константиновна, – сестра матери Маргариты Васильевны – моя мать, Екатерина Алексеевна!».

– Маргариту друзья звали Марго. Марго в Штутгарте двадцать пять лет прожила безвыездно. Я ей написала большое письмо за много-много лет. Мы с ней очень дружили, когда она жила в Петербурге, в Петрограде. К ней туда приехал из-за границы ее друг, Лигский, он во время событий 1905 года бежал в Германию. Тогда все антропософы принимали участие в нем. А как приехал, то стал работать по иностранному министерству, дал Марго чудную однокомнатную квартиру. А то ей негде было жить. Шел 1919 год... Квартира была на Дворцовой площади. Он же, Лигский, устроил ей паек. У ней сахар бывал. Мы к ней приходили и весь черный хлеб съедали. Делали «шарлотки» для моего сына Ваньки, с сахаром. У Лигского мы бывали. Он женился на юной немецкой девушке Гертруде. Сын у него был – Эразм. Мальчик его умер. Еще когда Гертруда была беременна, он не хотел ребенка. Он уехал в Германию и сошелся со своей секретаршей. Потом и она уехала в Германию и не вернулась... Марго писала портрет Лигского... Вообще была художествен-

но одаренной. Хотела у Татлина учиться, но потом оставила эту мысль.

Мы заговорили о воспоминаниях, которые М. Сабашникова издала на немецком языке в Германии; назывались они «Зеленая змея».

– Там интересно о старой Москве, – говорила Нина Константиновна, – о Михаиле Александровиче Чехове. Ведь она писала и его портрет. Я все хотела прочесть «Зеленую змею» по-немецки, но увлеклась английским настолько, что забыла немецкий.

Помню, Марго вела мистический кружок.

– Теософский?

– Антропософский!

Мне мой муж говорил, что весь мой язык отдает антропософией. Тогда многие люди нашего круга были объяты антропософией.

Маргарита Сабашникова и Максимилиан Волошин – у них ведь был не обычный, не физический, духовный брак! – сказал я, памятуя искренний рассказ об этом Анастасии Ивановны Цветаевой.

– Конечно! – как-то особенно глубоко ответила Нина Константиновна, вкладывая весомое чувство истины в это слово...

– Макс работал в мастерской Е. Кругликовой в Париже. Мама присылала к нему уборщицу и потом разговаривала с консьержкой, почему та плохо убирает комнату.

– Почему вы так плохо убираете?

– Я прихожу к мсье Волошину ночью. Боюсь разбудить, боюсь шуметь. Богемные люди, артисты ночью не спят.

Уходя, уборщица остановилась у консьержки пожаловаться на Макса: «А вот это уже не «артистика»! (В смысле – не богема...)»

Он, Макс, так возился с нами, когда мы только в Париж приехали...

Фотографировал нас, играл с нами. Я заснула где-то, где Бальмонт был с Максом. Проснулась у него на руках. Я посмотрела на него и сказала: «Это не Аморе!» Он был очень удивлен. А «Аморе» я звала Марго, Маргариту. Она была меня на 17 лет старше.

Когда Макс был влюблен в нее, он на берег моря приехал на велосипеде из Москвы. Питался всю дорогу молоком, хотел похудеть; это ему не помогло, бедняжке!

Один раз наши друзья попросили большую корзину. Тогда он посадил в корзину меня и Анечку Полиевктову (она жила в Париже, пока мать ее разводилась в Москве) и понес через два квартала, пришел, поставил, а оттуда две девочки вылезают...

В детстве, когда началась первая мировая война, я хотела, чтобы меня отдали маркитанткой в армию. На эту детскую романтику родители отвечали мне что-то скучное.

На вопрос о том, не приходилось ли ей видеть, как отец писал стихи, Нина Константиновна рассказала целую историю:

– В 1912, 1914 и 1915-ом годах мы отдыхали на даче. Дача была в четырех километрах от Тарусы, на берегу Оки. Это был большой дом в Ладыжино, имение маркиза Компанари. Только в 1913-ом году мы поехали в Плесненское, потому что во вовремя не предупредили маркизу, и не попали в Ладыжино (про себя отмечаю еще совпадение – А.Цветаева в 1908 году осенью тоже гостила девочкой в том же имении «за лугами Оки», совершала прогулки верхом с дочерьми маркизы Мариной и Маргаритой...).

– Мы играли в такую игру на даче: за пять минут – часы стояли на столе – кто напишет стихотворение, где все слова на одну букву. И вот каждый придумывал. Например: «Супоросая свинья стыдливо спряталась». А Маша (?) Полиевктова, близкой подруги мамы дочь, написала: «Славьте слепую страсть».

Бальмонт услышал эту строку, вскочил, заложил руки за спину, там зашевелил пальцами и быстро вышел. Мы вскоре в его комнате услышали пишущую машинку. Так появилось стихотворение «Страсть», оно начинается – «Страстью зачался мир / Страсть в ясновиденьи глаз...». В любой момент, совершенно неожиданно он мог писать.

Задолго до беседы с Ниной Константиновной я знал, сколь мэтр стихосложения Валерий Яковлевич Брюсов был ревниво неравнодушен к чужой поэтической славе.

Показательно, что когда он председательствовал на поэтическом конкурсе, где лучшим было явно стихотворение Марины Цветаевой, Брюсов объявил: «Первый приз не получает никто, второй – Марина Цветаева!» Обида не была забыта и в очерке о Брюсове, изданном уже в Париже, у М. Цветаевой к Брюсову холод чувствуется. Это видно особенно в сравнении с ее очерками – о Волошине «Живое о живом» и «Пленный дух» об Андрее Белом. Эти очерки написаны с любовью к тем, о ком она писала. Сочувствием и любовью полны и очерк «Слово о Бальмонте», и причудливая в жанровом отношении юбилейная зарисовка «Бальмонту», включающая и элементы открытого письма и более раннюю дневниковую запись... Анастасия Ивановна считала, что в «Герое труда», Марина Ивановна несколько противоречит себе – она сама говорила, что для того, чтобы писать о человеке, надо его любить. Брюсова она не любила. Анастасия Ивановна, напротив, хорошо вспоминала Брюсова. Нелюбовью проникнуто стихотворение М. Цветаевой «В.Я. Брюсову», созданное в ответ на написанную Брюсовым несколько высокомерную рецензию:

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, –
Не изменишь, все равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.

Нужно петь, что все темно,
Что над миром сны нависли...
– Так теперь заведено. –
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!

И Марина Цветаева и Бальмонт, которые и в последние их годы в России и в Париже дружили, оба понимали, сколь ревнив бывал Брюсов, особенно, конечно, к Бальмонту, который долго был признанным королем поэтического Олимпа Российской Империи.

Вот что рассказала по этому поводу Нина Константиновна:

– Однажды Бальмонт приехал в Петербург. Остановился в гостинице «Астория». На следующий день было назначено его выступление. Специально к выступлению утром из Москвы прибыл Брюсов. Он зашел за Бальмонтом днем и, уведя, где-то напоил его. А Бальмонту нужно было очень мало, чтобы на три дня совершенно безумным сделаться. Это у него было не пьянство, это было какое-то отравление...

– Он пришел домой, мама увидела, что он не в себе. Хотела налить ему лавровишневых капель. Он вырвал из рук флакон, весь его выпил и повалился на кровать. Не проспал и десяти минут, вскочил. Дико сверкая глазами, кинулся к бюсту императора Александра III, который стоял в гостиничном номере, с криком: «Я не потерплю рожи этого гнусного негодяя в моей комнате!..» Мать в ужасе: как бы лакеи, коридорный не услышали! Мама накинула накидку и вывела его – два часа они ходили по набережной вдоль Невы, пока он приходил в себя.

Вообще он ходил очень быстро. Был неутомим. Иногда всю ночь ходил.

А еще мне рассказывал Арсик (так Нина Константиновна дружески называла Арсения Александровича Тарковского и так его родители называли в детстве), что Бальмонт как-то раз был один в Петербурге, мамы не было. Пришел он (Арсик) к

Бальмонту, а тот боролся с рубашкой, крахмальной; запонки были застегнуты; он стал ее снимать через голову и оказался как в мешке. Когда Арсений, войдя, что-то сказал, Бальмонт в ответ: «Не подходи, стрелять буду!». Арсений потом помог ему справиться с этими запонками...

И еще одна история с Тарковским, по словам дочери поэта, связана с Бальмонтом. Бальмонт шел по Петербургу. Арсений Тарковский проезжал мимо на извозчике. Увидев Бальмонта, Тарковский попросил извозчика остановиться. Бальмонт произнес ему: «Раб, сойди с возницы, и дай поэту место!». И Бальмонт уехал на извозчике вместо юного Тарковского.

Встретясь с Ниной Константиновной я, конечно, не мог не спросить об Андрее Белом. Могилу Андрея Белого я разыскал в годы моей юности на Новодевичьем кладбище в Москве. Монастырь Новодевичий я с детства любил... Старая служащая в кладбищенской конторе сказала: «Андрея Белого у нас нет». «Тогда посмотрите, нет ли Бориса Николаевича Бугаева!» — не сдавался я, назвав уже не псевдоним, а полные имя, отчество и фамилию. «Такой есть», — сказала служительница, ничего не знавшая об авторе «Северных симфоний», «Петербурга»... На могиле Белого я тогда увидел мраморную белую урну на круглом черном основании. Это было чрезвычайно похоже на изображение, что на обложке его поэтического сборника «Урна». Поэт-пророк предсказал в своей «автоэпитафии» «Друзьям», написанной в 1907 году, собственную гибель от солнечного удара — «А умер от солнечных стрел...». Его трагическая, вихревая жизнь меня всегда интересовала. Я, естественно, расспрашивал всех, кто помнил его или видел живым...

Например, однажды я спросил о нем друга Анастасии Ивановны Е.Ф. Кунину, не видела ли она Андрея Белого. Оказалось, что однажды она шла со своим отцом по улице. Тот был глуховат. И вот она видит, навстречу им идет быстрым шагом Андрей Белый. Она наклонилась к отцу, сказала:

– Папа, видишь, это Андрей Белый!

– Кто-кто?

– Андрей Белый!

– Кто?! – опять не услышал старик. Зато услышал сам Андрей Белый. Он улыбнулся, вежливо поднял шляпу, кивнул и прошел мимо.

Белый с Бальмонтом был, конечно, как известно, знаком и писал о нем. В поэзии символизма были звучны носители «второй литеры» – Бальмонт, Белый, Брюсов. И Эллис свою известную большую книгу «Русские символисты» разделил на три раздела между именно этими «тремя Б».

Уточняю, что Леонид Сабанеев в воспоминаниях, озаглавленных «Мои встречи. «Декаденты» расширяет число это до пяти, рассказывая о том, что на вопрос некоего «чудака» Жиляева:

– Да кто же, наконец, должен почитаться символистом? С.А. Поляков, издатель журнала «Весы», немедленно и серьезнейшим тоном ответствовал:

– Так это же совершенно ясно: те, которые начинаются на букву Б: Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис, Блок, Белый...» (Цит. по кн. «Воспоминания о серебряном веке» Составление, предисловие и комментарий В. Крейда. М., «Республика», 1993. с. 348).

Я сказал Нине Константиновне, что читал в журнале «Наука и жизнь» о том, что именно Андрей Белый создал еще в начале века термин «атомная бомба», сказав в одном из стихотворений, написанном еще в 1921 году, – «атомной лопнувшею бомбой...». Такова была сила его провидения. Он, как и Маргарита Сабашникова, долго был последователем Рудольфа Штейнера, антропософом.

Вот что о нем вспомнила Нина Константиновна:

– Я его, Андрея Белого, помню с раннего детства... Он приходил к нам еще студентом. И с его приходом начинались – стихи, стихи...

Наша кухарка нам говорит:

– Барин вас дожидается!

– Какой барин?

– Тот барин, что песни пел и гостей веселил. Она не в состоянии была запомнить имен...

– А что, он действительно пел? – спросил я.

– Нет, он так нараспев читал стихи!

Заметим по этому поводу, что поэт Борис Садовской писал: «Стихи Белый не читает, а поет высоким приятным тенором, упираясь ладонями в колени и закрывая глаза» (Б. Садовской «Весы», воспоминания сотрудника», «Минувшее», № 13, М-СПб, 1993, с. 25).

Позже читала его «Котика Летаева» и другие вещи... Так вот я приехала в Ленинград с Урала с шестимесячным моим первым сыном Иваном. Гуляла, везла Ваню в коляске, закрытой марлей от пыли по Дворцовой площади; смотрю, из-под арки (на Морской) спешит Андрей Белый. Я ему обрадовалась. Все-таки человек из моего детства. Ведь я приехала в незнакомый город. Хотя я там родилась, но уехала так давно, что город не помнила – меня увезли трех месяцев. Я, конечно, бросилась к нему: «Борис Николаевич! – я его расцеловала. – Посмотрите на моего сына!»

И смотрю: Борис Николаевич так открыл марлю с коляски, будто хотел отшатнуться, но, притянутый какой-то силой, смотрел в коляску, опершись на руку, чтобы ближе, не дай Бог, не приблизиться. И заспешил скоро – прочь.

Я потом узнала, что он страшно боялся маленьких детей.

Еще о Борисе Николаевиче. (Она улыбается):

– Мы бывали у Фильдштейнов и там встречали Рашель Мироновну Хин. У нее был литературный салон, когда она была молода. Говорят, была очень красива. Но на старости лет стала путаться; считала, что все значительные люди бывали у нее – Бодлер, Флобер, Владимир Соловьев. Она подавала

дрожащими руками нам блюдо с пирожками, говорила: – А бывало, придет ко мне Андрей Белый, он так их любил, и я ему говорю: «Андрюша, скушай пирожка!» Мы шли домой, и все хохотали, ведь Андрея Белого никто и никогда не звал Андрюшей, Вы же знаете, он был Борис Николаевич. Для родных, скорее всего Боря, но никак не Андрюша.

К концу встречи Галина Игнатьевна спросила, что-то уточняя, про Тициана Табидзе, грузинского поэта.

– Он бывал у нас в 1915 году. С Бальмонтом Тициан занимался грузинским языком. Тогда Бальмонт переводил «Витязя в тигровой шкуре». В его переводе «Носящий барсову шкуру». Когда его обижал Бальмонт, а такое порой случалось, Тициан плакал крупными слезами.

– Что это были за обиды?

– Ну что-нибудь Бальмонт сказал для него обидное...

Галина Игнатьевна заметила, что Т. Табидзе был очень открытым, по-детски эмоциональным человеком. У него в доме в Тбилиси, у его дочери Ниты Табидзе, Нина Константиновна останавливалась. В гостеприимном, открытом доме Тициана в разные годы бывали, жили С. Есенин, Б. Пастернак, В. Маяковский, Ю. Тынянов, кн. Д.П. Святополк-Мирский и многие талантливые и известные люди.

Нина Константиновна призналась:

– Я на Тициана заглядывалась, мне было 15 лет... На его синие глаза, на черную челку... Но у него глаза были только для Бальмонта...

... – Знаете, я много правила воспоминания Ксении Куприной, дочери А. Куприна, когда она уже жила в Москве. Я Ксении говорила: – Вы не владеете достаточно ярко русским языком, чтобы писать. Нужно вам соавтора. – Но ему надо будет платить деньги! – ужасалась она.

Еще я спросил Нину Константиновну, не встречалась ли она с Анатолием Корнелиевичем Виноградовым, автором

романов «Три цвета времени», «Осуждение Паганини», специалистом по французской литературе, писателем, биографией которого я интересовался.

– До войны я зашла к нему домой. Предложила перевести с французского «Жизнь Анри Брюллара» Стендаля. Он сказал, что сам будет переводить и сухо меня отправил.

Я вспомнил, что в ЦГАЛИ, в архивном фонде А. Виноградова среди переписки я прочел письмо его сестры Нины Виноградовой. В юности эта синеокая девушка дивно пела. В письме она писала, что на любительском концерте в Тарусе, где у них был дом, Бальмонт преподнес ей розу в благодарность за исполнение романса на его слова... Это именно тогда, когда Бальмонты отдыхали в имении Компанари. Лодыжино и Таруса близко расположены друг от друга на Берегах Оки...

Слушая Нину Константиновну, я вспомнил, что у А.К. Виноградова была сотрудница в Румянцевском музее в период его директорства. Звали ее Мария Зосимовна Холодовская. Известный в свое время искусствовед, она работала с 1918 года в секретариате. Когда ей было девяносто, в 1987 году, в январе, узнав, что я интересуюсь той эпохой, она мне позвонила. Рассказывала о Виноградове, вспомнили о Бальмонте. Она была очень бойкой, темпераментной собеседницей, мы с ней проговорили пять часов кряду.

Мария Зосимовна в юности посещала кружок поэзии, которым руководил Вячеслав Иванов. Два-три занятия провел Бальмонт. Он в апреле задал тему «Апрель». Выполняя задание, она создала поэтическое двустрочие: «Качал смеющийся апрель /мою простую колыбель». Бальмонт жил недалеко от нее, в Николопесковском переулке.

Вот что она рассказала об их встрече:

– Надо было переменить день занятий, и я зашла к нему. Позвонила в дверь, он вышел. Я ему говорю, объясняю суть

дела. Он смотрит на меня – я не пойму: понял он вопрос? Повторила. Тогда Бальмонт спросил: «Больше вам от меня ничего не надо?» Я поняла: он не мог поверить в то, что молодая девушка пришла только поговорить о деле... Тогда она снова повторила просьбу и он спросил: «И это все?..» – «Да.» – уверенно ответила Мария и, улыбнувшись, весело сбежала с лестницы. Ей вслед глядел разочарованный поэт, привыкший к тому, что молодые девушки, плененные его лирой, нередко приходили с тем же предложением, с каким Царица Савская предстала перед Соломоном...

Мария Зосимовна вспомнила еще один, не менее забавный и не менее «амурный» эпизод: – У меня была приятельница, очень увлекающаяся девушка, и она пришла к Бальмонту не по деловому поводу, как я. Бальмонт женщин, конечно, зачаровывал. И вот они были наедине, и поэт стал слишком настойчив. Она испугалась, вскочила на подоконник. И оттуда закричала: «Нет, нет, я знаю, что вы меня не обидите!» Он схватил ее за ноги, швырнул на пол. Она потом рассказывала: «Я лежу на полу и думаю, как мне встать и выйти? Зря я с ним так рискованно кокетничала, разожгла его...». Он в бешенстве походил по комнате, потом помог ей встать... Все же не тронул ее. И она поспешно, в испуге и смятении удалилась. Нине Константиновне я не рассказывал этих «озорных» случаев.

Мы прощались, благодарили за прием. Галина Игнатьевна сказала:

– Спасибо!

– Я люблю говорить в ответ на спасибо – Not at all! – по-английски – Ничего особенного! Так прощалась с нами старшая дочь классика Серебренного века русской поэзии К.Д. Бальмонта.

– Я очень рада поговорить об этих временах и об этих людях.

Мне больше не пришлось потревожить покой последних ее месяцев, дней. Потом пришло известие о ее кончине. Умерла она 9 января 1989 года, а родилась, как мне тогда сказали, 7 января 1901-го. Галина Игнатьевна навещала Нину Константиновну до самого ее конца.

В «Книжном обозрении» в № 9 за 3 марта 1989 года она опубликовала целую газетную страницу, посвященную Нине Константиновне. Материал назывался «Россия – мой дом...» с подзаголовком – «Дочь К. Бальмонта рассказывает».

Было еще немало соприкосновений с памятью о К.Д. Бальмонте. С интересом читал я двухтомник, вышедший за границей в составлении, под редакцией и с комментариями Вадима Крейда, который был переиздан в России издательством «Республика» в 1992 году. Мой друг В.А. Богатырев передал в дар Литературно-художественному музею Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове прижизненные книги Бальмонта, тома из «Собрания лирики» в Издании В.В. Пашуканиса.

Сталкивала меня судьба и с настоящими рукописями поэта...

О нескольких рукописях К. Бальмонта

Для литературоведения важны рукописи не только как овеществленная память о писателе. Они важны и почерком, сохранившим живой характер, живой ритм жизни творца. Они важны и скрытыми в авторской правке вариантами – следами творческого поиска.

Наша семья еще с 1950-ых годов дружила с семьей Козьминых-Бороздиных. Мне приходилось бывать в 1960-ых в доме близ Старого Арбата, в семье моего друга детства Алексея Козьмина. Отец его, Мстислав Борисович Козьмин, был директором Музея М. Горького, потом заместителем

главного редактора журнала «Новый мир», а в последние годы – главным редактором «Вопросов Литературы». После его смерти Алексей Мстиславович унаследовал пакет с семейными реликвиями – уникальными рукописями. Среди них – визитная карточка К. Бальмонта, три листа из тетради – стихотворения, ксерокопии с которых он мне дружески предоставил. Принадлежали они, судя по всему, Тамаре Николаевне Бороздиной (1886-1959). Работала она в Музее изящных искусств, то есть в ГМИИ им. Пушкина, знала основателя музея, отца сестер Цветаевых – И.В. Цветаева. Была историком-египтологом, профессором. Т.Н. Козьмина-Бороздина, мать Мстислава Борисовича и Вадима Борисовича Козьминых, жена историка, литератора Бориса Павловича Козьмина. Бальмонт бывал у них. Дружил Бальмонт и с братом Тамары Николаевны, с Ильей Николаевичем Бороздиным, также крупным ученым, в последние годы жизни заведующим кафедрой всеобщей истории Воронежского университета, профессором. К 55-летию его научной и педагогической деятельности по инициативе учеников была составлена и издана в Воронеже в 1959 году его библиография.

Приведу один из автографов К. Бальмонта – Бороздину. Начертан он на книге – К. Бальмонт «Слово о музыке». Произнесено автором 9-го апреля 1917 года на 1-ом утре музыки и поэзии для народа. Концертная библиотека Кусевицких. Нотный магазин Российского музыкального издательства Москва, Кузнецкий мост, 6.»

Вот на таком, широко информативном «пространстве» обложки, которая точно повторена и следующим за нею титульным листом, порыжевшими от времени чернилами, тонким пером, аккуратно и четко написано: «Многоуважаемому и дорогому Илье Николаевичу Бороздину от преданного ему К. Бальмонта. 1920. 1 февраля. Москва».

Однако надписью на обложке автограф не заканчивается. На седьмой странице книжки курсивом напечатан стихотворный текст Бальмонта «Чернобыль» из сборника «Жар птица» (1907), в тексте в двух строках есть авторская правка:

...Так бы вечно продолжалось, счастье видится воочью,
Приходящих в звуках песни к змеевому
средоточью,
Да на грех наймит склонился, вырвал стебель
чернобыль,
Приложил к губам тот стебель и внезапно
все сокрылось,
И наймит тот степь увидел – лишь в степи
пред ним кружилась,
И, кружася, уносилась та же, та же, та же пыль.

Слово «Приходящих» выправлено на «Приходящим», а поэтический «стебль» выправлен на более подходящий по ритму строки «стебель». Так что в результате, по Бальмонту, эти строки следует читать:

...Так бы вечно продолжалось, счастье видится
воочью,
Приходящим в звуках песни к змеевому
средоточью,
Да на грех наймит склонился, вырвал стебель
Чернобыль.

Далее Бальмонт пишет, разъясняя образ чернобыля, что для него это – «горькая полынь», это «колдовская трава раздора, это – рознь в сердцах, где могла быть музыка радости, песнь согласия. Чернобыль, это все, что есть в нашем сердце мелкого, ничтожно маленького, темного, злого. Чернобыль – это враг Пасхального утра, в котором все братски равны, враг вселенского утра свободы» (Там же, с. 7).

Вадим Борисович Козьмин сообщил через свою дочь, писательницу Юлию Вадимовну Козьмину, что книги с авто-

графами К.Д. Бальмонта, адресованными его семье, были переданы в Ленинскую, ныне Российскую государственную библиотеку.

Привожу расшифрованные мною по ксерокопиям тексты рукописей К.Д. Бальмонта, хранившихся у Мстислава Борисовича Козьмина.

Rondo

Как облако, бегущее проворно,
Как легкий и прозрачный дым,
И с робостью смешной и с нежностью покорной,
Я ускользаю пред лицом твоим.
Как замирает звук в пустом, огромном зале,
То с грустью тайною, то с рокотом глухим,
Исполненный и ласки и печали,
Я ускользаю пред лицом твоим.

«Rondo». Название стихотворения приводит нас к необходимости примечания. Рондо – вид стихотворения, оно состоит из 13 стихов на две рифмы с повторением (не входящим в общий счет строк) начальных слов первого стиха после 8 и 13, а сложное рондо – из 24 стихов... По-французски «рондо» пишется – «rondeau», – «круг», «движение по кругу». здесь название стихотворения выглядит написанным по-английски, что не удивительно: К. Бальмонт знал английский язык. Заметим, однако, что англичане также пишут это слово порой на французский манер. В Полном англо-русском словаре А. Александрова (СПБ, 1899) сказано: Rondo, rondeau – «рондо (стихи); круговая песня». Но, возможно, имелась в виду и музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами.

Рукопись следующего стихотворения – на листе из тетради, в правом верхнем углу проставлен номер страницы – 29. С левой стороны, как и в рукописи стихотворения «Любовь», проставлен знак, скорее всего авторский, – кружок. Видимо,

эти стихотворения были для какой-то цели выделены, вырваны из тетради и выбраны.

Любовь

Весна любви твоей промчалась,
Как сон о радостях небес,
Тобой фиалка любовалась,
С тобой шептался старый лес.
Как летний полуденный зной
И ослепительный и яркий,
Могуч и полон страсти жаркой,
Был поцелуй роскошный твой;
И стужа осени слезливой
Слегка коснулась до тебя,
И, будто выжатая нива,
И безнадежна и тосклива
Любовь увядшая твоя...
И смерти поздняя угроза
Уже нависла над тобой,
Весны дыханье, летний зной,
Забыты пред лицом мороза,
Занесены в степи мирской
Снежинок пестрою игрой.

Стихотворение «Любовь» написано на странице тетради. В правом верхнем углу имеется номер страницы – 27. Строка 11 стихотворения в первоначальном варианте звучала: «И, будто выжженная нива...», что, нам кажется, было более удачно.

Среди снегов

Там, где сиянье лазури лучистой
Саван снегов отражает пушистый,
Там, где лазурь холоднее снегов,
Там, где бесстрастны, бестрепетны грёзы,
Где замерзают алмазами слезы,
Сердца заискрится льдистый покров!..
Там, где, раскрыв удивленные взоры,
Стройные серны взбегают на горы
Легче, чем взмах ветерка;
Где ни страстей, ни страданий не зная,

Вечно пустыня царит снеговая,
Смерть безмятежно легка!
Чище покрова в гробу парчевого
Снега легли пелены голубого
В девственной их красоте,
Там, голубою мечтой окрыленный,
Там чистотою снегов убеленный,
В райской проснусь я стране.

В первой же строке рукописи есть правка. Слова «лазури» и «сиянье» автор поменял местами, а ранее строка звучала так: «Там, где лазури сиянье лучистой». Вторая строчка стихотворения ранее звучала: «Снега покров отражает пушистый». Однако автор зачеркнул первые два слова и заменил их на более минорные, появился «Саван снегов...» Строка – «Смерть безмятежно легка» и первое слово предыдущей строки – «Вечно» – подчеркнуты. На листе рукописи стихотворения нет ни номера страницы, ни условных авторских знаков, хотя формат листа, качество бумаги, почерк и чернила совершенно однотипны с рукописями двух других стихотворений.

С 30 июля по 5 сентября 1999 года, в Москве, на Поварской, в доме Ю. Балтрушайтиса, (ныне Доме приемов посольства Литовской республики в России) была развернута обширная по охвату выставка «Де Бирс: Возвращенные реликвии – «Пушкиниана русского зарубежья». Среди множества реликвий, бывших тогда на выставке, мне в глаза бросилось документальное свидетельство на отдельном листе: «Вт. 24 апреля 34 г. 8 с пол. час веч. К.Д. Бальмонт. Лекция Любовь и ненависть – два в сердце острия». Экспонировалось и стихотворение, о котором в журнале «Дельфис» (№ 4 (20), 1999, с. 99) говорилось: «Неповторимо уникально неопубликованное стихотворение К. Бальмонта, сохранившего в эмиграции свое грациозное и легкое великолепие. Стихотворение сохранилось в авторизованной машинописи...» Далее

следовала публикация восьми первых строк стихотворения. Вот его полный текст:

Юность

И мрак полуденный
Запущенного сада
И вырезные клены,
И розы, радость взгляда,
Я все люблю их вместе,
Но мысль моя не та.
К неведомой невесте
Плывет моя мечта.
Чуть зацветут, мерцая,
В весеннем первопутке,
И одуванчик мая,
И крошки незабудки,
Чуть воздохнут сирени,
Зазолотится луч,
Влиянье милой тени
Я чувствую вокруг.
Мне ведомо так четко,
Средь птичьих щебетаний
Что лик ее, походка –
Восполненность мечтаний
Мне видимо так ясно,
Средь травного тканья,
Как вся она прекрасна,
Грядущая моя.
Шестнадцать миновало
Мне лет быстротекущих.
Вокруг все сине, ало,
Я в расцвеченных кущах.
Пятнадцать скоро минет
Ей лет, в мельканьи дней,
Пред кем мой дух застынет,
Когда я буду с ней.
Ее глаза – разлитье
Рассвета голубого

Ее слова – наитье,
Луна – ее основа.
От звезд ее улыбка,
От солнца – башмачки,
И побежим мы зыбко
Вдоль плещущей реки.
Мы побежим с ней к счастью
Рекой, равниной, яром.
В сердцах, зажженных страстью
Вся жизнь сверкнет пожаром
Мы совершим два круга,
Спеша одним путем,
Пока, обняв друг друга,
Мы вдруг не упадем.

1933. 28 декабря. К. Бальмонт

NB Молю не сделать опечаток. К.Б.

По поводу авторского примечания в «Дельфисе» говорилось: «Исключительно живой минутой той отгоревшей жизни видится рукописная приписка...». Судя по этой приписке, стихотворение готовилось к выпуску в какой-то газете или в журнале. На выставочном ярлыке, лежавшем на витрине под текстом было сказано: «Отпечатанное на машинке и подписанное Бальмонтом неизданное стихотворение «Юность»».

Из осторожности скажу, что устроители выставки могли и не знать о факте публикации этого стихотворения в каком-нибудь эмигрантском труднодоступном печатном издании, так или иначе, его представляли как неопубликованное.

А. и М. ЦВЕТАЕВЫ

ИЗ ДНЕВНИКА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА ЦВЕТАЕВА

О создании Музея изящных искусств в Москве

У старшей дочери Ивана Владимировича, Валерии Ивановны Цветаевой, хранилась машинописная копия дневника, которая была передана в 1966 году после ее смерти в Отдел рукописей Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, – так Музей изящных искусств имени императора Александра III называется ныне. Создание Музея Изящных искусств было делом огромного масштаба и значения для России. Инициатором и основным радетелем был Иван Владимирович Цветаев (1847-1913), в ту пору директор Румянцовского и московского публичного музеев, профессор Московского университета, филолог и искусствовед. Он оставил исключительно ценный по изложенным фактам и событиям, в то же время ясный, живой, а не официально-формальный, дневник. Рукопись дневника теперь в Российской государственной библиотеке.

В дневнике находим страницы, посвященные подробностям создания музея. Там рассказывается о самом деятельном участии в работе Комитета по созданию музея Великого Князя Сергея Александровича (1857-1905), в то время московского генерал-губернатора (с 1891 года), который не только формально возглавлял Комитет, но лично всячески содействовал привлечению средств на строительство, да и место бывшего Колымажного двора близ Кремля выбрал и выделил лично он. Вот, в частности, эпизод, относящийся в записи у

И.В. Цветаева к вербному воскресенью 29 марта 1898 года: «Великий князь принял Юрия Ст[епанови]ча (Мальцева. – *Ст. А.*) с особенным вниманием. Расспрашивал о Каире, где был он сам, о поездке по Нилу и в шутливой форме извинился перед ним за то, что лишь по слухам зная о намерении Нечаева-Мальцева подарить Музею каменные фасады, доложил о том Государю 12-го марта при нашем представлении. – «Что мне с Вами теперь делать, Ваше Высочество», – сказал ему, засмеявшись в ответ Ю[рий] С[тепанович]. – «Теперь уже надо делать, так как Вы уже об этом сказали Государю. Поищем теперь камушка получше». Этот ответ свой Ю[рий] С[тепанович] сообщил мне в тот же день». Вот как тонко и шутливо Сергей Александрович, пятый сын императора Александра II, поставил Ю.С. Нечаева-Мальцева в положение, когда он, как потомственный дворянин, не мог не поддержать благородное начинание. Ведь Нечаев-Мальцев был миллионер, владелец стекольных заводов в Гусь-Хрустальном. По этому поводу И.В. Цветаев в том же месте дневника пишет: «Когда я привел слова Государя о Нечаеве-Мальцеве как человеке богатом и потому имеющем возможность подарить нам каменные фасады Музея, вся семья Нечаевых-Мальцевых покатилась со смеху. Видно, что эта колоссальная жертва Юр[ием] С[тепановиче]м была предрешена». А жертва составляла более 3,5 миллиона имперских рублей, что составляло гигантскую сумму. И сумма эта была выделена потому, что свою долю внесла царская фамилия, чего добился Великий Князь Сергей Александрович Романов, выдержавший за правое дело серьезную словесную битву с министром финансов графом С.Ю. Витте. И за свыше пожалованными деньгами потянулись более охотно и другие взносы, начатые еще ранее первой жертвовательницей, завешавшей посвятить музей памяти Александра III, отца Государя Николая II.

Особую важность представляют разделы дневника, где говорится о том внимании и участии, которые проявлял лично Государь всея Руси к столь масштабному культурному

начинанию. Иван Владимирович тепло, без излишней панегиричности, пишет об искреннем интересе Императора к вопросам культуры, истории искусства, архитектуры, даже о знании им законов перспективы. Николай Александрович Романов предстает в этом источнике живым, вне чересчур торжественных рамок, порой мешающих увидеть его человеческий, естественный образ.

Из письма 5 мая 1909 г. к известному московскому архитектору, Р.И. Клейну (1858-1924), создателю лучшего проекта Музея, бывшему с Цветаевым при Высочайшей аудиенции, мы узнаем, что Королева Греции в Афинах также давала аудиенцию Ивану Владимировичу, около часа расспрашивала его о том зале, который взялась создать на свои средства, о ходе работ, о времени открытия, до которого было еще три года – музей будет открыт 31 мая 1912 года – в год столетия победы России над Наполеоном в Отечественной Войне 1812 года. Заметим также, что Р.И. Клейну принадлежал и проект открытого в том же 1912 году памятного Бородинского моста, посвященного Бородинской битве.

Ст. А.

И.В. Цветаев. Дневник
12 марта, четверг (1898 год)

К часу Клейн и я были в Зимнем дворце у полковника Истомина. Это еще сравнительно молодой человек, очень любезный. Он провел нас парадным ходом с подъезда Ее Величества в кабинет Государя. В первый раз мы видели лейб-гвардию при отправлении своих прямых обязанностей – оберегание Императора и его семьи. При первых дверях, ведущих во внутренние покои Их Величеств, стояли два лейб-гвардейца в белом с обнаженными палашами в руке. В следующем зале сидел их целый наряд; начальник их завтракал в сторонке. Для избежания шума полковник Истомин дал

им знак не отдавать чести и не двигаться с места. Далее мы прошли темноватым коридором, освещаемым лишь верхним, очень отдаленным, светом и электрическими лампочками, в кабинет Императора. Это – небольшая комната в два окна, отделанная в японском стиле, с большим количеством превосходных японских вещей. По стенам картины коронации Императора Александра III, последнего зимнего парада в Петербурге того же Государя, смотр войскам в Париже Императором Николаем Александровичем, превосходная акварель, присланная из Франции, картина Матвеева «Король Прусский Вильгельм II кланяется Москве с кровли Пашковского дома». Этот кабинет служит, как нам сказали, местом ожидания министров перед докладами Государю, которые делаются обыкновенно в библиотеке, отделяемой от этой комнаты биллиардной, комнатой также в два окна, сравнительно тоже небольшой.

Нам предложено было расставить картоны и разложить рисунки в этой биллиардной. Биллиард имеет старое, поношенное, выцветшее сукно. Мы сделали все нужное и, по приглашению камер-лакея, должны были возвратиться в кабинет и ждать здесь до половины третьего, так как Великий Князь Сергей Александрович мог, куда-то отозванный, прибыть только к этому времени. Мы с Клейном любовались вещами и вещицами японского производства, <…> гордились своим положением и положением, которое приняло наше дело благодаря покровительству Великого Князя и неустанному содействию В.К. Истомина, являющегося каким-то ангелом-хранителем всех наших забот и даже идеалистических мечтаний и, пожалуй, иногда и просто капризов, связанных с Музеем. Говорили и мечтали о том, какое выгодное для дела впечатление произведет в Москве одобрение Государем нашего проекта Музея и внимание Его Величества к нашему предприятию. Мы оба были в эту минуту очень счастливы.

За пять минут до половины 3-го вышел к нам Великий Князь и поздравил меня с 200000 руб., испрошенными им на Музей. Министр финансов был у него вчера и дело улажено. Это еще более поддало нам с Клейном жару. Мы горячо благодарили Его Высочество за покровительство и выслушали в ответ обещание вести наше дело до конца. При этом Великий Князь предупредил меня, чтобы я не забыл доложить Государю о ходатайстве Московского университета перед министром финансов на счет казенной субсидии Музею.

Пробило половину 3-го, дверь отворилась, вышел Государь, одетый по-домашнему, в серую тужурку. Подавая руку, он на моей чиновничьей физиономии не остановился особенным вниманием (чиновники в мундирах да служебных декорациях ужасно похожи друг на друга, все сияют, как медный грош, и перед высшими лицами все масляно и как-то беспричинно улыбаются), но фигура Клейна в черном фраке и без всякого намека на украшения (был у него серебряный знак его архитекторского звания, навешенный на него женой, а он и его дорогой во дворец потерял; прихорашиваясь у полковника Истомина, он хватился белых перчаток, не нашел их и погнал за ними на извозчике своего человека к жене в гостиницу. Наталья Андреевна, зная рассеянность мужа, посоветовала поискать перчаток в другом кармане: здесь они и оказались) и, конечно, его очень интеллигентное лицо резко выделилось в глазах Императора, который пристально посмотрел на него не только в первый момент, но и отходя к рисункам опять повернулся к нему головою.

Государь пожелал ознакомиться с проектом подробно: «покажите мне, – сказал он, – все с начала до конца». Я начал объяснения с главного фасада. Прежде всего Император поинтересовался вопросом о том, в каком расстоянии будет находиться Музей от Университета. Пришлось доложить, что по месту он будет стоять в соседстве с храмом Спасителя, а от здания Университета будет отдален минут на 10 ходьбы.

Ионическая колоннада фасада, очень понравившаяся Государю, подала повод к докладу, что образцом ее служил восточный фронтон Эрехтейона в Афинах. Император заметил, что он помнит этот памятник Афинского акрополя. Государя затем интересовали вопросы о длине колоннады, о глубинах ее в центре, с выступающим здесь портиком, и по бокам. Высота цоколя определена ему в 4 аршина. При обсуждении достоинств главного фасада, Великий Князь доложил Государю, что в практике этот фасад выйдет еще изящнее, так как есть основание надеяться на отделку его камнем на средства Нечаева-Мальцева. Государь, обращаясь с улыбкой к Клейну и мне, на это заметил: «Поздравляю, Нечаеву-Мальцеву есть из чего сделать вам этот фасад. Какой камень будет употреблен в это дело?» Я должен был ответить, что в Москве употребляется для облицовки «раюмский песчаник», что им облицованы памятник Императора Александра II в Кремле и Верхние торговые ряды. Затем Его Величество поинтересовался вопросом, почему этот камень называется «радомским».

Когда, отойдя несколько назад, Государь еще раз взглянул на фасад, его внимание обратила античная решетка, которой архитектор снабдил свой рисунок. Император, услышавши, что перед зданием Музея предполагается сквер, спросил о глубине его. Когда было доложено, что сквер проектируется в 15 сажен в поперечнике, он несколько удивился, что пространство, разделяющее решетку от здания на рисунке, так велико будет в действительности, и потому осведомился, не отделяет ли эта решетка самый Музей от сквера. И этот вопрос и это сомнение возникли в Государе совершенно правильно, так как Клейн, рисуя яркую решетку только как интересный бордюр для картины фасада, не обратил внимание на правильность ракурса при изображении пространства, назначенного под сквер. Решетка должна отделять, конечно, улицу Волхонку от площади. Из этого мы вывели заклю-

чение, что Государь учился рисованию и знаком с условиями перспективы. Последним вопросом его был вопрос о высоте здания, рассчитанного на 9 сажен, за исключением центральной части главного фасада, которая будет несколько выше.

Перешли к боковому фасаду. Увидев окна лишь в первом этаже, Император спросил, как же будет освещаться 2-ой этаж? Указание на верхнее освещение повлекло за собою вопрос Государя, видели ли мы новый, только что на днях открытый Русский музей Александра III в Петербурге, в Михайловском дворце, где устроено такое освещение через потолки в двух больших залах. Освещение там решительно идеальное, лучше которого и желать нельзя — и нам нужно всячески стремиться устроить у себя такое же. Ответ, что как это освещение, так и весь музей устроены превосходно и что в его залах совершенно забываешься, будто ходишь по одному из лучших музеев Зап[адной] Европы, Императору очень понравился: «Я, — сказал он, — бывал там и в дурную, пасмурную погоду — и тогда света в нем совершенно довольно для картин». Второй вопрос его был о том, пойдет ли и до какого места каменная облицовка по этим фасадам. Великий Князь указал на первый выступ, которым камень будет здесь оканчиваться. Мне, в объяснение этого, пришлось сказать, что боковые фасады выходят в тесные переулки и что за первым выступом остальная часть стены их не будет видна для идущих ни со стороны Румянцевского музея, ни от храма Спасителя, а потому там камень был бы бесполезен. Дальше Государь просил показать ему световые фонари на крыше. От боковых фасадов передвинулся к разрезу здания. Здесь понравилась ему лестница, сделанная Клейном по образцу лестницы Эрмитажа с устранением ее крутизны и с постановкою характерных скамеек на площадках. Государь обратил внимание на круглый зал, находящийся в центре здания, и спросил об его назначении. Определенного характера этот

зал доселе не имел и между собою мы его называли Ruhmeshalle (круглый зал) и предназначали его для статуи Императора Александра III, для статуй и бюстов царственных покровителей и крупных жертвователей. Но в последние дни у Влад[имира] Константиновича] Истомина возникла мысль воспользоваться этим местом под статуи и бюсты из мрамора и бронзы славнейших деятелей русской науки, литературы и искусства. Это может быть как бы Пантеоном русской славы в области высшей культуры. Здесь же вокруг статуи Императора Александра III будут бюсты ныне царствующего Государя, Государынь Александры Федоровны и Марии Федоровны, Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны, при которых это учреждение создавалось. Я доложил об этой мысли Государю: он признал эту мысль очень симпатичной, в обсуждении ее принял участие Великий Князь, по-видимому, уже знакомый с этим проектом. Государь, обращаясь ко мне, заметил: «Но ведь вы, надеюсь, не станете спешить с этим? Это дело требует осторожности в выборе материала». Я должен был сказать, что в настоящее время главная забота о месте для такого учреждения, а организация его не может быть делом произволения одного человека и тем менее моим. Вопрос это обширный и разнообразный, в нем со временем должны принять участие Академия наук, Академия художеств и факультеты Университетов. Согласившись с этим, Государь перешел к рисунку перспективы лестницы, сделанному, по общему отзыву художников, очень эффектно. Государь спросил: «Чем будет она отделана?» Я доложил, что «мечтаем о мраморе». — «Мечтаете, — заметил Великий Князь, — но чего это будет стоить? Довольно с вас и стукка, искусственного мрамора». Архитектор на это высказал уверенность, что гранит на ступени лестницы во всяком случае найти будет можно. Я же отвечал Великому Князю, что нужно мечтать выше, чтобы действительность поднимать дальше обыденного уровня.

Государь внимательно слушал этот разговор, завязавшийся около него, и улыбался.

Осмотр больших рисунков был этим закончен, все повернулись к биллиарду, на котором были разложены чертежи плана внутренних помещений здания. Император пожелал начать рассмотрение с 1-го этажа и с такою же подробностью. Облокотясь на сукно биллиарда, дальнейший осмотр он производил в наклоненном положении. Сначала был подробно пройден 1-й этаж, причем Император интересовался каждым залом, каждым кабинетом, расспрашивая об их назначении. При рассмотрении помещения для Египетского отдела, было доложено о трудах и жертвах на это Ю.С. Нечаева-Мальцева, закупающего большую коллекцию по Египту в Каире. Пройдя обе половины 1-го этажа, из коих одна предназначается для учебно-вспомогательных учреждений – библиотеки, читальни, аудитории, здесь же проектирован и Антикварий. Последнее название заинтересовало Государя, который спросил, какие предметы войдут в это отделение, и узнав, что здесь поместятся Нумизм[атический] кабинет, мелкие предметы древностей быта, статуэтки из мрамора и бронзы, он заметил: «Этот зал у вас наполнится скоро». – Перейдя на другую сторону плана, в зал Эгинетов, он, наклонившись над надписью и не прочитав ее за отдаленностью, спросил о названии и назначении. Когда в объяснение этого чисто специального наименования пришлось назвать «Эгинские мраморы», Государь восклицанием «А!» прервал меня и спросил, как отсюда пройти далее, к началу лестницы, во 2-й этаж.

Вернувшись светлым коридором с окнами в стеклянный дворик, мы по другому картону поднялись вверх. Круглый центральный зал, предназначаемый отныне к переделке в овальный, здесь обратил внимание Государя прежде всего, причем Клейном указан был задний большой двор, дающий

легкую возможность выдвинуть этот зал, удлинить его и совершенно изменить его «конфигурацию».

Император затем пожелал, чтобы я вел Его по залам «в историческом порядке». При этом были осмотрены планы зал Олимпии, Парфенона, Праксителя, Лисиппа и другие современные им. При имени последнего художника он спросил: «А где же зал Фидия?» Указание на помещение Парфенона, как единственного памятника, по которому мы можем судить о скульптурах Фидия и его ближайшей школы, удовлетворило Государя. Разъяснения пожелал он и для названия зала «эллинистический», спросив, какое время и какие памятники искусства будут здесь представлены. Когда затем дошли до «Римского» зала, Государь задал вопрос, будет ли здесь представлено и начало христианства. Это послужило для Великого Князя поводом сказать, что для этого отдела у нас есть собрание, равного которому нет нигде. Это очень заинтересовало Государя. Я, по обращении ко мне Великого Князя, должен был охарактеризовать художника Ф.П. Реймана, уже 10-й год работающего в римских Катакомбах, при страшных условиях темноты, сырости и полного одиночества на целые версты кругом, иногда в 5 этажей в глубь их. Эта судьба отечественного живописца тронула Его Величество, и когда я сказал, что он «прославляет русское имя за границей» и что «по воскресеньям, когда возвращается в Рим отдохнуть, его студия служит как бы международным пунктом, где сходятся ученые, художники и путешественники всех стран, чтобы, не спускаясь в опасные для здоровья Катакомбы, полюбоваться его прославленными по Риму картонами, Государь пожелал знать его имя. – Рейман. – Русский? – Даже православный, Федор Петрович Рейман, живший прежде в Петербурге. Император сказал, что он желает видеть его работы. Я доложил, что представить Его Величеству эту коллекцию составляет предмет и нашей мечты

и что надеемся достичь, если будем живы, года когда работы в Катакомбах будут окончены в пределах избранного круга 4, 5 первых веков христианства. Государь спросил, почему мы остановились на 5-ом веке в этих копиях. — Далее следует в катакомбах уже византийская живопись, а Рейман делает снимки только с тех росписей, которые делаются классическими приемами. Государь снова повторил желание видеть эти работы.

Перешли после того к отделам Средних веков здесь я доложил о даре Ю.С.Нечаевым-Мальцевым копии мозаичного фриза из собора св. Марка в Венеции, так как при докладе о работах Реймана пришлось назвать кн. Юсупова графа Сумарокова-Эльстона, в настоящее время поддерживающего художника материальным пособием. Когда дошла очередь до залы эпохи Возрождения, Его заинтересовали вопросы, с какого времени мы начнем памятники искусств этого времени и займут ли итальянские художники здесь главное место. — Затем следовали вопросы Великого Князя и Государя Клейну о передвижных стенах, проектируемых им для нескольких зал, системы Монье. Клейн очень ясно описал их устройство и удобства при организации отделений в больших залах-коридорах.

Этим обзор планов Музея закончился. Государь пожелал узнать, какие у нас коллекции и откуда они составляются. По лежавшим пред ним чертежам планов я должен был указывать, какие залы и кабинеты или уже совсем заполнены или же значительно богаты. При этом Великий Князь вставил замечание, что все наши коллекции собраны на жертвы частных лиц. Продолжая его речь, я доложил, что даже в самое последнее время поступило предложение наполнить скульптурами целых два больших зала, зал Парфенона и эпохи Возрождения от одной и той же семьи Захарьиных. Государь спросил при этом, о каких Захарьиных идет речь,

не о семье ли врача и профессора Захарьина. Великий князь, попенявший мне, почему я не известил его об этом раньше, был рад, что и они отозвались на устройство Музея, так как было известно, что покойный Григорий Антонович намерен был, хотя бы и не в близком будущем, прийти с материальною помощью Музею.

Последний вопрос Государя был о средствах, о суммах Музея. Когда я ответил, что до сих пор у нас имеется до 200000 руб., Великий Князь сказал: «Теперь уже можно считать, что мы имеем 400000 руб.», так как со стороны министра финансов поступило заявление о согласии его на ассигнование Музею 200 000 руб. из суммы Государственного казначейства. Я счел долгом принести при этом глубочайшую признательность Государю за эту высокую милость, которая весьма важна и как материальная сила при сооружении здания, но она получает в наших глазах еще большее значение как знак санкции Его Величеством всех наших стараний по этому делу, теперь не станут уже называть Музей мечтой, утопией, химерой отдельных лиц; отныне он уже получает реальную силу. На это Государь сказал: «Как же не помочь такому симпатичному делу».

Аудиенция кончалась, я подал Государю «Записку о Музее изящных искусств имени Императора Александра III при Императорском Московском Университете (Москва, 1898)», только что пред тем напечатанную по распоряжению Историко-филологического факультета. <... > В заключение Государь подал нам обоим руку, мне пожелал счастливого продолжения дела, а архитектора Клейна поздравил с художественным успехом его проекта и пожелал ему исполнения его в постройке. После этого Он возвратился во внутренние покои, а Великий Князь остался с нами, поздравил нас с успехом и царскою милостию».

МАРИНА ЦВЕТАЕВА – НЕЗАМУТНЕННЫЙ ИСТОЧНИК

В истории русской культуры ярко выделяются труды и дни семьи Цветаевых.

Подвижник науки профессор Иван Владимирович Цветаев жизнь отдал делу создания Музея изящных искусств в Москве. Кадры старинной кинохроники запечатлели его входящим в здание новосозданного музея вместе с Государем Императором Николаем II.

Талантливы были его старшие дети от первого брака – Андрей Иванович Цветаев, блестящий искусствовед, с поразительной прозорливостью атрибутировавший картины старых мастеров. Он распознавал безошибочно, чьей кисти принадлежат неподписанные полотна.

Его сестра, Валерия Ивановна – педагог-балетмейстер, учившая детей «новому» танцу, последовательница импровизационного искусства Айседоры Дункан.

Однако одна из младших дочерей Ивана Владимировича принесла семье наибольшую – поистине европейскую известность.

ЮНЕСКО объявил 1992 год годом Марины Цветаевой в ознаменование столетия со дня ее рождения.

Стихотворения и поэмы М.И. Цветаевой бесспорно относятся к классической русской поэзии. В отличие от блестящей плеяды ее современников – традиционного направления, Марина Цветаева была поэтом-новатором, перешагнувшим через «канон» общего поэтического лада...

Она не только резко отлична от других поэтов, но эта отличность многообразна и высока, в ней – взмах гордой творческой щедрости. Так переживать мир, так ходить по грани острейшего чувствования, воплощаемого в поэзию, могла лишь страдающая личность, чей незримый круг – тени и образы мирового героического прошлого.

Она грешна была тем, что с детства творила себе кумиров. Ее звали те вершины, чьи имена овеяны ветрами романтики

и бескорыстия, того особого надмирного свечения, в котором лучи благородной сдержанности сочетаются с блеском, яркостью. Эти черты мы порой находим в образах тех, кому посвящены ее стихотворения. Среди них – Эллис, А. Стахович, князь С. Волконский, Р. М. Рильке, да и В. Нилендер, первая любовь «младших» сестер Цветаевых.

Именно по ступеням влечения к героическому, отверженному бытом и принятому бытием – Марина Цветаева вошла в дружбу с М. Волошиным, К. Бальмонтом, А. Белым, Эллисом. И о каждом из них написала непревзойденные эссе-портреты, которые имеют никак не меньшее литературное значение, чем самые замечательные ее стихотворения и поэмы…

Сыграла в жизни ее особую роль более эпистолярная, чем жизненная, дружба с Борисом Пастернаком; именно Пастернак, опять-таки заочно, «письменно», познакомил ее с Райнером Марией Рильке, грандиознейшим из поэтов XX века.

Это соприкосновение не могло не отразиться на всем существе М. Цветаевой, поскольку медитативная, духовная глубина поэзии Райнера Марии Рильке воистину безмерна.

Фридрих Ницше сказал: «Нельзя долго смотреть в бездну, чтобы она не отразилась в тебе». Это же произошло с Мариной Цветаевой – она, заглянув в «бездну» творчества Рильке, всю остальную жизнь несла эту бездну, спрятав ее в сложно плетенных строфах своей трагической лирики.

Здесь мы приоткрываем завесу над одним из путей литературы начала столетия – над истоком духовного импульса, ставшего камертоном ее творчества.

Рильке имел большое влияние на Андрея Белого. Борис Пастернак стилистически тоже во многом, если пристально приглядеться, «родом» из Рильке. В записных книжках А. Блока «монограмма» RMR, как доказали исследователи,– печать увлечения поэзией Рильке.

Настала очередь сказать о том же применительно к поэзии М.И. Цветаевой, которая не была подражателем Рильке, как не были его прямыми подражателями Белый и Блок. Но

М. Цветаева была тем творцом, кто, как и они, ее собратья-поэты, восприняли как образец возможной поэтической высоты сложнейшую по ассоциациям и тонкостям поэзию Р.М. Рильке.

Недаром, подтверждением – немалая по объему, уже не раз опубликованная переписка М. Цветаевой с Рильке, где в одном из писем, отправленных из Сен-Жиль-сюр-Ви (9 мая 1926 г.), она пишет: «...Вы – воплощенная пятая стихия: сама поэзия, или (еще не все) Вы – то, из чего рождается поэзия и что больше ее самой – Вас...». Такого она не написала бы ни одному из смертных, а только Рильке, причисленность коего к лику «бессмертных» она чутко осознавала.

Широта творчества Мариины Ивановны наиболее полно отражена в исследовании академика Вячеслава Всеволодовича Иванова, который выделил семь основных стилистических направлений, «семь Марин Цветаевых». Анастасия Ивановна говорила автору этих строк, что считает Кому – так друзья и родные называют детским прозвищем Вячеслава Всеволодовича, – гениальным...

Анастасия Ивановна отстаивала всегда неподверженность сестры ничьим литературным влияниям. Особенно не согласна она с мнением В. Швейцер, цветаеведа из США, которая утверждала, что на М. Цветаеву оказал влияние О.Э. Мандельштам.

«...У Виктории Швейцер: “Без Мандельштама ее (Марины) рост не был бы так стремителен, не устремлялся бы внутрь, в душевные глубины”. В этом она глубоко ошибается, не учитывая Маринину поразительную безграничность ума и таланта и ее полную неспособность подвергаться какому-либо влиянию на всю жизнь...» – так написала А.И. Цветаева. («Независимая газета», 1991, № 59, 21 мая, с. 7).

Влияний «на всю жизнь» литературных, возможно, не было, но *духовный импульс от Рильке* был, и мы означили определенно его исток. А.И. Цветаева «прикосновенна» к переводам писем Рильке к М. Цветаевой; она редактировала текст

переводов, появившийся в 1975 году в журнале «Вопросы литературы» (№ 9).

Самая младшая из детей профессора И.В. Цветаева – Анастасия Цветаева сделала столь много для того, чтобы еще выше поднялась звезда ее старшей сестры. Первое издание «Воспоминаний» А.И. Цветаевой – настоящий памятник детству-отрочеству величайшей из русских женщин-поэтов.

Однако последующие издания «Воспоминаний» переросли заостренность исключительно на личности сестры и стали – в расширенном виде – уникальным портретом эпохи. Они удивительно полно передают дух и быт русской интеллигенции начала века, показывают сложные переплетения человеческих взаимоотношений. Образы в них явлены в обрамлении тонких оттенков чувств, иной раз столь тонких, что удивляешься чутью писательницы, сумевшей через столько нелегких лет вспомнить и воссоздать их.

Марина Цветаева посвятила немало стихов сестре – в первых двух ее книгах. В «Вечернем альбоме» и «Волшебном фонаре» у нее даже не лирическое «я», а лирическое «мы»! Этот факт мало отмечен вниманием, хотя известно, что сестры выступали до революции всегда вместе и стихи старшей сестры читали одинаковыми, «близнецовыми» голосами. «Две барышни, худенькие и миловидные в одинаковых платьицах читают с эстрады стихи – вдвоем, в унисон. Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева...» – вспоминал писатель-эмигрант Борис Зайцев. (Из воспоминаний Б. Зайцева «Братья-писатели».)

Свойства «близнецовости» поражали и самих сестер: они, бывало, видели одни и те же сны... Двумя прозаическими книгами младшей сестры, из которых вторая посвящена была ей, Марина Цветаева гордилась. Обе эти книги, составленные из дневниковых записей, – «Королевские размышления 1914 год» (1915) и «Дым, дым и дым» (1916) для М. Цветаевой были чем-то родным, ибо младшая сестра по ночам в доверительные минуты читала старшей свой днев-

ник, в котором – изумительные по проникновенности и горечи страницы. Откровенность и тоска, порывы к радости и провалы в безнадежность, дерзость, свобода мысли – все это пленяло в ранних книгах и дневниках младшей Цветаевой.

Вот тогда-то и родилось никому долгие годы не известное, долго не опубликованное нигде стихотворение М. Цветаевой, посвященное и озаглавленное «Асе». Нам удалось его опубликовать впервые в журнале «Россияне» в № 11-12 за 1992 год (с. 7) в «Славянской тетради», посвященной столетию Марины Цветаевой. Дотоле оно сохранялось в памяти у той, кому было посвящено. Листок с машинописным текстом его должен был быть включен в первые издания «Воспоминаний», но он туда не попал. Так или иначе – вот одно из посвящений, в котором вся мера любви и признания М. Цветаевой – А. Цветаевой:

Асе

Ты мне нравишься: ты так молода,
Что в полмесяца не спишь и полночи,
Что на карте знаешь те города,
Где глядели тебе вслед чьи-то очи.
Что за книгой книгу пишешь, но книг
Не читаешь, умиленно поникши,
Что сам Бог тебе – меньшой ученик.
Что же Кант, что же Шеллинг, что же Ницше?
Что весь мир тебе – твое озорство,
Что наш мир – он для тебя просто не был.
И что не было и нет ничего
Над твоей головой, кроме неба.

1914, Москва

Сколько еще открытий и неизвестных стихов сулит будущее тем, кто соприкоснулся с «гением» семьи Цветаевых («гений» – это «дух» по-латыни и по-французски). Всем хочется пить из незамутненного источника, в глубине которого – прекрасные отражения Верности, Любви, Таланта, Самопожертвования...

Поэтому читатели – поколения за поколениями – открывают книги сестер Цветаевых и находят в них силу вдохновения и неисповедимую тайну творчества, ключ к которой лежит в хрустальных далях, чье имя – Бессмертие...

ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОЛОС ИСТИНЫ

Анастасия Ивановна Цветаева (1894-1993) взялась за перо очень рано – с восьми лет писала сказки, с двенадцати стала вести дневник. Но – что изумительно – уже тогда, на пороге юности, в ней была обращенность в прошлое: «С первых лет мы начинаем разговор друг с другом и с мамой с «А помнишь...». У нас (и у мамы, должно быть) сосет тоской по всему, что было, что живет уже только в душе, что – прошло», – читаем в широко известных ее «Воспоминаниях». И в реальной, земной, долгой своей жизни Анастасия Ивановна сохранила детство. Детство цвело в ней любовью к птицам – кормила голубей, пела им особую, только ей известную «голубиную» песенку. Обожала собак и кошек, называла их на «Вы» – таково было ее чудачество. «А как же, – говорит она,– разве Вы можете поручиться, что у них в голове?..» Она даже верила, что души их, как и человечьи, тоже впадают в бессмертие.

Память обращается в прошлое. Вера в бессмертие увлекает в будущее...

Кого только не видела, не знала Анастасия Ивановна... она была на похоронах Льва Толстого, дружила с Максимом Горьким, в «Воспоминаниях» ее немало глав посвящено старшей сестре – поэту Марине Цветаевой, чьи стихи – золотые листья на классическом древе русской поэзии.

В небольшой московской квартире (на Большой Спасской улице), в которую дверь отворялась после условленных звонков, – со стен, со шкафов – фотографии друзей – поэтов, художников, прозаиков. Здесь – трагический темный взгляд Волошина, гордый лик Мандельштама, рядом – стремитель-

ный каждой чертой Пастернак... В этом тесноватом уютном храме прошлого чувствуешь себя их современником. Анастасия Ивановна была живым связующим звеном между ними и нами.

Подумать только, первая книга ее написана в 1914 году! О своем раннем детище она отзывалась снисходительно, и если ей – очень, очень редко – приносили обнаруженный в букинистическом экземпляр, она писала на нем: «На память о заблуждениях моей молодости!» В книге – философский вздох над миром – о бесцельности, тщетности бытия.

Намного чаще ей приходилось надписывать совершенно новые публикации: например, в 1989 году – журнал «Наука и жизнь», где ее большая рецензия на книгу об отце, И.В. Цветаеве, профессоре-искусствоведе, основателе крупнейшего в стране музея классического искусства. Или – в «Музыкальной жизни» (1989, № 7, 8) – литературные портреты певцов, выступавших в довоенной Москве. С не меньшим мастерством – в только ей присущей авторской манере созданы ею очерки о современных художниках – об Олаве Мароне, об Ирине Бржеской.

Она была не гость из прошлого, а наш современник, она находилась в курсе событий, дел, ее интересовало все, и особенно люди, их радости и боли, их жизнь, сомнения, надежды...

Поразительно в Анастасии Ивановне чувство долга, готовность прийти на помощь, войти во все тонкости жизненной ситуации. Все время куда-то звонила, кого-то связывала со знакомыми врачами, рекомендовала гомеопатические курсы лечения. Она была настойчива в делании добра.

Вообще образ ее жизни можно охарактеризовать тремя совершенно одинаковыми словами: люди, люди, люди...

К ней приходили и утром и вечером – во все дни, приезжали и в писательские Дома творчества, где она весною и осенью отдыхала от бытовой нагрузки – домашнего хозяйства, которое до последней поры вела сама.

Она была восприимчива. Воспринимала не столько глазами, которые с юности близоруки, не столько слухом, который с возрастом ослаб, но всем существом — душою, душевным опытом, душевным богатством, накопленным за жизнь. Может быть, помогала и способность уходить памятью в ярко запомнившееся детство, оттуда черпать первозданные силы.

Многие видели ее сидящей за столом — тонкая рука стремительно заполняет страницу летящими в строку, чуть заостренными буквами. Когда отрывается от письма, начинает о чем-то рассказывать, в ее образной, полной сравнениями речи оживали лица, события, озаряемые метким до зримости словом.

Ее движения быстры. Энергичный шаг по комнате к телефону. Номер набран на память и — слитность речи, летящей через густой лес подробностей к важному, ключевому, ради чего начат разговор. Ей — под 100? Не верилось...

Облик — седая челка, высокие дуги бровей. Взгляд — не прямая открытость, а отраженная близорукостью глубина.

Она была способна искренно, тепло радоваться жизни, новому в литературе, поэзии, искусстве, тому, что созвучно ей. Душевный ее камертон настроен на христианство, на веру. Этим критерием она многое определяла, оставаясь человеком «жизненным», светским.

В ее судьбе много было преодолений. Теме преодоления, возвышения посвящен ее роман «Amor», опубликованный в 1990 году в журнале «Москва». Роман писался в то время, когда злая судьба забросила ее без вины в сталинский лагерь. Там тайно умудрялась писать. Мелко исписанные листки папиросной бумаги передавала через вольнонаемных работников на волю. Пришло время и этим листкам. Листки сложились в книгу, над которой, несколько раз переделанной, опустился наконец занавес завершения. В издательстве «Современник» роман вышел отдельным изданием. «Мой роман — это слоеный пирог», — говорила Анастасия Ивановна, имея в

виду «слоистое» чередование разных линий сюжета, разных глав. Автор этих строк помогал редактировать, готовить роман в печать.

Из современных писателей Анастасия Ивановна выделяла Валентина Распутина. Восхищалась его повестью «Прощание с Матерой» – как только прочла ее, написала Распутину благодарное письмо, и между ними завязалась длившаяся несколько лет переписка. Более сдержанна была ее оценка повести Распутина «Пожар». О ней она говорила: «Все психологически верно, но там только психология. Дух не рвется!..»

Да, из новых писателей она высоко ценила Распутина, но с давних пор и до последней поры она считала первым из непревзойденных Марселя Пруста. Она сама никогда Пруста не встречала. Но когда была второй раз в Париже, в 1927 году, провела почти сутки в беседе с мужем ее подруги Гали – с Полем Элюаром. «Доминанта» облика Элюара, замеченная Цветаевой: «Пронзительный взгляд ума и печали». Забавно, что Элюар заметил средь разговора: «Я никогда не мог с французскими женщинами говорить серьезно, свободно, с полным знанием, что понят. Так я говорю – из женщин – всего во второй раз в жизни. В первый раз это было с моей женой, Галей, во второй раз – с Вами. И обе вы – русские!»

Возможно, это был утонченный комплимент французского поэта русской писательнице, – но Анастасия Ивановна его действительно заслужила и глубиной ума, и самостоятельным характером, и той силой человеческого существа, которая видна сразу и которую называют – личность. Именно эта сила, несгибаемость, воля вкупе с работоспособностью составила тогда, в 1920-е годы, и, как это ни невероятно, составляло, в общем, впечатление от А.И. Цветаевой и в самые поздние ее годы.

О той встрече с Элюаром надо еще сказать, что беседовали они с Анастасией Ивановной по-французски. Об этом в «Воспоминаниях»: «Не удается прежняя беглость – француз-

ский язык, иногда споткнусь, потеряю — ловлю слово, но проходит час, другой, третий, слова летят назад, как птицы в гнездо, мне делается все свободнее, все веселей и родней».

Французский язык — как и во многих дворянских семьях — для Анастасии и сестры был наряду с немецким почти родным языком, тем более — детство, снова блаженное детство, когда они с Мариной в 1903-1904 годах — в Швейцарии, в Лозанне жили во французском пансионе, совершенствовались во французском языке, поднимались с другими девочками-пансионерками в горы, в ослепительный блеск альпийских снегов.

От тех времен в речи у Анастасии Ивановны проскальзывали иногда французские выражения. И у них в доме: «...мы быстро переходили с русского на французский, — рассказывала она, — папа называл это перепрыгивание, эту языковую чехарду «обезьяний язык» и просил, чтобы раз уж начали на каком-то одном говорить, не перескакивали бы на другой».

У обеих сестер были любимые французские по происхождению герои, книги. Марина и Анастасия знали стихи Гюго, Бодлера, Верлена, Марселины де Борд Вальмор, графини де Ноай. Марина очень увлекалась в юности Наполеоном.

Память путешествий: впервые во Франции Анастасия Ивановна была в 1912 году и потом относилась к Парижу с особенной привязанностью: «Я никогда не любила Петербург, он мне холоден, даже страшен. Люблю Москву и Париж. В Париже, каким я его запомнила, ощущение легкости, непринужденности, свободы». В Париже до возвращения в Россию жила ее сестра Марина. В тот последний приезд в Париж Анастасия Ивановна в 1927 году встретилась с сестрой. Больше они никогда не увидались. Когда Марина вернулась, Анастасия увезена была уже далеко, — по этапу. Но и там, в самые гнетущие времена, А. Цветаева не рвала нитей, связывающих ее с искусством, — рисовала портреты заключенных, занималась лепкой. И всегда, всегда — писала... Приходилось

и преподавать языки – английский, французский. Это когда полоса тяжелой физической работы в лагерях миновала.

Никогда не теряла веры. Веры и воли…

Была ли она когда-нибудь счастлива? Во всяком случае, не в юности, когда темным пологом, дымом застилающим стелилась тоска. Ее вторая книга, 1915 года, так и называлась «Дым, дым и дым». В молодости? Если и была счастлива, то нечасто, когда были любимые люди рядом – были любовь и недолгий брак с Борисом Трухачевым – изысканным, юным, «неуловимым». Но чувства вскоре прошли… Может быть, отчасти – во втором браке с лучшим из друзей ее дней – с Маврикием Минцем, который был старше ее, любил, понимал, иногда и прощал – до дна. Может – в зрелости? Скорее всего. Если не счастье, то годы, когда в апогее душевных и физических сил она была в кругу блестящей московской интеллигенции, в котором встречала личностей поистине замечательных… О том периоде она так хорошо написала: «Самая блаженная пора – зрелость, когда уже пробуждается анализ вокруг сущего, когда ты не обольщен жизнью, тебе принадлежит все от того, что тебе ничего не надо, и ты слышишь хрустальный голос истины». Хрустальный голос истины, мудрости Анастасии Ивановны Цветаевой слышен с избранных ее страниц до сих пор…

ПАМЯТНОЕ О АНАСТАСИИ ИВАНОВНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

С Анастасией Ивановной Цветаевой мы познакомились, когда в ней не чувствовалось никакого возраста, а тем более старости.

Она была стремительна в движениях, а тем более в мыслях, которые ее тонкой сухою рукою воплощались ежедневно в удивительно поэтическую прозу.

Ей тогда было 89 лет. Нечто несгибаемое, императивно-утвержденное сквозило в каждом ее движении. И речь – утонченно изобретательная. Уносящая. Писательская.

Как-то мы с Анастасией Ивановной шли по проспекту Мира, от метро. Быстрый шаг. Трость зажата под локоть. Идем к ней на Большую Спасскую мимо дома, где жил Валерий Яковлевич Брюсов. Она показывает тростью: «Здесь мы ходили кругами вокруг дома с его подругой, поэтессой Адалис, когда он умирал. Я смогла передать ему письмо утешающее, мне тогда сказали – он прижал его к сердцу...»

Брюсов с Адалис, знаете ли, увлекались «наркозами», – так тогда называли наркотики, – и он искушался магией...

Палка вынута из под локтя и быстро постукивает по асфальту. Задумчивость, погружение в прошлое – ...Когда хоронили Андрея Белого, я была там с толстовцем Шохер-Троцким. Потом он был арестован и, как многие, канул. В писательском доме на Поварской, я видела желтоватую голову, белые кудри по красной подушке в гробу. Свет был пригашен, и над гробом клубился какой-то непокой, – какое-то воздушное... – делает быстрый круговой жест рукой, –движение! Мы вышли очень подавленные и потом в разговоре выяснилось – Шохер-Троцкий видел то же, что и я... А знаете, ведь я однажды исполняла поручение к Андрею Белому моей близкой подруги, Майи Кювилье-Кудашевой, она потом стала женой Ромена Ролана, – уехала к нему в Кантон-де-Во, в Швейцарию. А тогда, конечно это было раньше, увлеклась серьезно Андреем Белым и попросила меня съездить к нему с предложением. Я поехала куда-то за город, где Белый жил. Он принял меня, и ответил так: «Ну, что вы, Анастасия Ивановна, от Майи исходит женская опасность!.. Вот если бы предложение исходило от Вас... Но у меня к нему ничего не было... А однажды у Соловьевых мы собрались слушать его, Белого, мы пришли – он вил словесные венки из античных философов, из Штейнера – я перестала понимать его сложные плетения и в конце концов спросила:

Борис Николаевич, ответьте мне на один вопрос, как вы относитесь к Иисусу Христу?..

Он на меня вскинулся в гневе...

— Как я могу ответить вам на такой вопрос с кондачка, если я всю жизнь занимаюсь этим вопросом?!. — И я ему в тон — если вы бьетесь над этим всю жизнь, так почему же с кондачка? Ответьте! Но он продолжал вить словесные венки...

Мы подходили к дому на Большой Спасской улице, вошли в подъезд, лифт донес нас легко до третьего этажа, остановились у ее квартиры, ключи вынуты из кармана пальто и мы в однокомнатном уюте, оживающем из массы фотографий на стенах. Здесь и сестра, и отец, рядом Волошин, Пастернак, Мандельштам, Ланн, и многие другие, с кем близко сводила жизнь.

Звонит телефон. Анастасия Ивановна говорит: «Слушаю. Говори громче, я ничего не слышу! — слух у нее действительно слаб — она требует, чтобы с ней говорили громко. — А,.. это вы, душенька, ну так... — диктует гомеопатический рецепт на память, закрыв глаза, плотно, с силой прижав к большому, цветаевскому уху трубку. Читал когда-то в старинном физиономическом труде, что большие уши — это призрак незаурядного ума. Тем временем иду к столу, просматриваю за ночь ею написанный очерк. Она продолжает неутомимо по телефону советовать что и как принимать: «Эхинацея три с крестом... Силиция...» трубка положена, Анастасия Ивановна рассказывает живо, сердечно, вся входя в боль другого — кто звонил, что случилось, как поступить, к кому обратиться за помощью.

Вот сейчас я позвоню — и тут же по телефону перезвонив врачу, Мазуровой, спрашивает, правильно ли она посоветовала и убеждается, — все правильно!

Во время разговора шариковая ручка, которую она задела локтем, падает на пол, Анастасия Ивановна стремительно нагибается за ней — сначала не видит — осматривается и — вновь молниеносным движением ручка поднята. Идет, садится недалеко от стола в синее глубокое кресло, на колени кладет небольшую плоскую картонку и углубляется, положив

на картонку белый лист, в письмо. Близоруко-низко наклоняется над листом, с большим нажимом довольно крупными буквами дописывает страницу. Воспоминания на сей раз о... коте. Она обожает животных и мы составляем из давно, в 1950-х годах написанных рассказов – книгу.

Она пишет, вдруг вскакивает с кресла, картонка летит прочь – она скрывается на кухне, где чуть не подгорела подогреваемая на электрической плите гречневая каша, приправленная растительным маслом. Готовит сама. Возвращается победно – каша выключена, можно снова писать. «Если вы думаете, что я живу в сумасшедшем доме – вы совершенно правы – когда будете в моем возрасте – вы тоже будете жить в сумасшедшем доме, то есть все забывать».

На самом деле память ее изумительна. Однажды к ней зашла в Переделкине, Доме творчества, последняя жена Арсения Тарковского. Она была на вид не старухой, скорее пожилой женщиной, я запомнил ее в модной тогда шляпе, в светском «тюрбане»... Зная, что Анастасия Ивановне за 90, она начала громко говорить – Анастасия Ивановна, вы меня слышите, слышите?.. Где у вас записан телефон, телефон?.. Анастасия Ивановна неодобрительно на нее посмотрела и сказала весьма выразительно, постукивая себя пальцем по голове: – Телефоны у меня здесь!

Сходу продиктовала три телефона на память. Приходил и сам Арсений Александрович Тарковский. У него было нагноение культи. Опиравшийся на протез, ходил он тяжело, еще и опираясь на костыль. Помню его приходы, их беседы. К Анастасии Ивановне относился молитвенно. Когда она нас познакомила, он протянул мне твердо руку и представился – «Тарковский»... Не «Арсений Александрович», а именно – «Тарковский»! В этой «номинации» – твердость, достоинство; лицо его было выбелено от страданий и казалось молодым. Вот что роднило его с Анастасией Ивановной. Видимо талант, если он истинный, таинственным образом перечеркивает образ старости.

Когда Тарковский умер, после его похорон поэт Семен Липкин, муж Инны Лиснянской, мне рассказывал, что Тарковский уходил за трансформаторную будку, к деревьям близ Дома творчества и там молился. Анастасия Ивановна была той же духовной природы. Я не представляю ее без ежедневного чтения молитв перед иконостасом у постели и перед «трапезой» на маленькой кухоньке, и перед сном она читала молитвы очень долго, засыпала среди чтения, вновь просыпалась, читая молитву, а чтобы снова не заснуть за молитвенным чтением, она своими узловатыми пальцами – след полученного в сталинском лагере ревматизма, – крошила голубям белый хлеб, мелко, настойчиво, разминая булки. Голуби слетались к ней на балкон, ждали ее милосердия в холодные, несытые для них московские зимы...

Было у нее некоторое чудачество – хорошо известное ее друзьям – собак она называла на Вы! – а кто может поручится, что у них в голове? – говорила она... Ее очень заботил вопрос о возможности бессмертия души животного. Она написала об этом целый очерк. В нем есть такие высокие требовательные строки: «Ребенок на руках матери бессловесен. Он пришел из неведомого нам мира, из тайного мира, из тайны бессмертия души, из Вечности. Он приглядывается к нам, к нашей жизни. Но он учится. Когда, спущенный на пол, бегает, говорит – он утерял свою таинственность. А собака и кошка возле него – таинственность сохранили. В три года ребенок идет в ясли и детсад. Он уже научился сказать: «Как дам тебе в мойду!» Он сжимает руку в кулачок, уже стал гражданином своей советской страны и я, само собой, говорю ему – ты. А с котами и с псами я навек на вы, иначе не получается. А еще – я вспоминаю, где-то давно прочитанное утверждение восточного учения, что человек создан по образу и подобию Божьему, а животные по образу и подобию Ангельскому... Да, животные безгрешны, грех, так знакомый человеку, животному неведом. Животные как ангелы, жалеют нас за эту великую разницу. А о том, как человек обращается с

животными – лучше не говорить. И нет слов» (А. Цветаева, «О животных», «Новая Европа» Международное обозрение культуры и религии, 1993, № 4, с. 135-136).

Анастасия Ивановна была вегетарианкой... не просто как верующая христианка соблюдала церковные посты, а вовсе не ела мяса животных – с двадцати семи лет. Запрещала себе пить вино, курить, прочие мирские соблазны. Это был обет, и она его держалась до конца. ...В лагере, в тяжелые дни работ с утра до вечера на стройке в сметно-строительном бюро она изредка закуривала, но это не всерьез, а так, для бодрости в беседе... Об этом в ее автобиографическом романе «Amor», над которым мы с ней столько работали, выправляли, редактировали текст. В роман, в основном созданный в 1944 году, в той же стилистике, не отличишь, в1987-ом она вписывала новые сцены.

Тогда в наших беседах замелькали ранее «опускаемые» в забвение лагерные реалии – Знаете, – говорила она, – в лагере никогда не говорили «мешок», а только «сидор»! Любила рассказывать сцену, которую потом включила в роман, – о столетней монахине, которую тройка НКВД осудила на долгий лагерный срок. И та говорила: «Я уже на тот свет собралась, но если правительство велит жить, придется!» И делала в речи особый, волевой интонационный нажим на скорбном монашеском утверждении...

Каждый год ездила Анастасия Ивановна в женский монастырь в Пюхтице, в Эстонии. Там окуналась в холодный источник. Об этом в ее книге «О чудесах и чудесном».

С теплотою Анастасия Ивановна вспоминала о тех временах, когда была сослана «навечно» в Сибирь, издана ее повесть «Моя Сибирь» (1988). Это удивительно теплая и человечная книга, где она рассказывает о своих огородных трудах, о собаках, о кошках, о своей маленькой избушке, затерянной в снежных заносах, о приезде к ней семьи сына и о том, как она воспитывала внучку Риту, как начинала она рассказывать

ей, маленькой девочке, о своем детстве. Из таких рассказов возникли позже знаменитые «Воспоминания», над которыми, еще не напечатанными, плакал Борис Пастернак...

Там, в Сибири, она многому научилась. Например, говорила с горечью что, как жаль, – в юности не знала она рецепта, как лечить туберкулез и вообще все серьезное, легочное. У нее от туберкулеза умерла мать и умер старший брат Андрей. Только в ссылке она узнала, как излечивается страшная болезнь.

– Надо, – говорила она, – один стакан *нерушеного*, то есть не размятого, цельного овса вымыть и насыпать в неэмалированную кастрюлю... Потом налить сверху свежего, из-под коровы, молока, сколько можешь выпить за день. Кипятить на медленном огне подольше, потом закрыть и поставить париться, закутав, часа на два, чтоб все опарилось. Процедить и овес оставить на следующий день, а молоко пить в течении дня, но не холодным. Потом в тот же, уже однажды проваренный, овес заново налить молока и на следующий день и таким же образом кипятить. И так 6 дней. На седьмой вместо молока залить овес крутым кипятком, разбить его толкушкой снова добавить свежее молоко, прокипятить.

Многих заболевших Анастасия Ивановна этим рецептом вылечила. Сама занималась и другим советовала дыхательную гимнастику Стрельниковой, Лечилась она бодро, с верой – лечилась как молилась, – не щадя себя. Она говорила: Старость – это усталость...» И превозмогала и старость и усталость, – прежде всего успеть помочь другим, написать, вспомнить – не упустить «туда»...

Но больше врачевала души – советом, словом. Многих спасла от неверного шага. За многих молилась. От нее шел незримый свет добра, честности – и прямоты, который бывает от людей искренно верующих.

Она бывала часто среди друзей своих легка, весела – часто шутила, – «Я старая собака» – говорила она трагически грустно, если что-нибудь у нее не получалось. Могла и от-

кровенно на себя рассердится – Это конкретный старческий идиотизм! Эта болванская башка!.. Могла быть очень покаянной, а в чем-то была совершенно неумолимой, коль уж решила, – не свернет; а если ей говорили недолжное, она в ответ укоризненно: «Надо быть че-ло-ве-ком!» – всегда умела делать ударение на духовном смысле слова... Потому и роман ее назывался латинским словом «Amor» – то есть любовь в духовном смысле, а не просто любовь.

Она как-то сказала: – Вот меня не станет, и у Вас на душе будет некоторое время пустота... Она покинула нас, когда ей было почти 99 лет. Силы ее иссякли летом 1993 года, а ведь еще в январе она много писала. Не смогла пережить скоропостижную смерть своего 80-летнего сына Андрея... Скорбь эта ее обессилила, несмотря на то, что она верила, что в другом мире ему хорошо. За несколько дней до его смерти она говорила при мне сыну по телефону: «Ну что ты, Андрюшка, я совсем не хочу тебя пережить...»

Задумывалась ли Анастасия Ивановна над тем, что для всей огромной страны России ее место под вечным солнцем творчества останется навсегда не занято? А для нас, ее друзей, никогда не будет человека по заботе и чуткости равного ей...

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

Цветаевская проза не только талантлива. Она всегда художественно хроникальна. Из мглы времени она выхватывает лица, которые оживают, встают со страниц, входят в наши дни... Такое ощущение особенно возникает, когда перечитываешь ранние варианты машинописи «Воспоминаний» Анастасии Ивановны Цветаевой.

В подразделении крупного московском издательства «Вагриус» «Бослен» был подготовлен к изданию большой двухтомник «Воспоминаний» (2008), этой семейной хроники, в которой речь далеко не только о знаменитой цветаевской

семье, но и об известных личностях эпохи – об А. Белом, В. Брюсове, М. Волошине, Эллисе, в ней же – о неизвестных спутниках, друзьях, приятелях сестер Марины и Анастасии Цветаевых.

С начала двухтомника и по всему полю текста – как звенящие капли росы на приокском лугу, посверкивает, звенит заветное название – Таруса... О ней у Анастасии Ивановны есть тысячекратно известная фраза – «Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить...» Но не только детство, но и ранняя юность с ее «первыми пробами сердца», с первыми зарницами увлечений, любви – все это импрессионистически тонко воссоздано пером младшей Цветаевой. Обратите внимание – об увлечении Сережи Успенского Асей – не было ранее упоминания в опубликованной версии текста... Да и не только об этом. Цензура не пропускала текст о священнике, отце Сережи. Никогда не публиковалось свидетельство о поздних встречах и беседах с тарусским жителем Ал. Успенским.

В расширенный текст «Воспоминаний» попало немало неизданных, в том числе и ранее сокращенных «тарусских страниц». Мы имеем возможность познакомить читателей с избранными из них после недавней, пусть далеко не стотысячной, а весьма скромной по тиражу публикации двухтомника, чье появление с нетерпением ожидал российский читатель, ожидали цветаеведы и самый широкий круг русской интеллигенции...

Ст. А.

Анастасия Цветаева

ТАРУССКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Кланя давно говорила о братьях Успенских, сыновьях отца Николая с Воскресенской горы – Саше и Сереже, чья мать, матушка Надежда Даниловна, с симпатией обо мне отзывалась и иначе не звала меня, как «атаман».

Отец Николай был еще средних лет, не стар и красавец, хорошо плясал, любил выпить – рассказывали о нем. Но службу его прихожане любили, и жаден он не был. Хорошо пел. Кажется, первым пришел с мальчиками к нам под гору Сережа, младший, светлоглазый и русый, на год моложе меня. Походил на отца. Держался свободно, просто, был дружественен и весел. Ребята его любили. О старшем брате он сказал, что тот «стесняется». Однако шел слух, что Саша не из последних задир, когда «нападает» на него, даже и безрассудно смел. Я помнила его: прошлой зимой я однажды каталась с ним на коньках на Оке*.

После осени 1909 года этого быть не могло, так как я на Рождество в Тарусу не приезжала, а он еще не был «Шурой», как я стала звать его в это лето, в отличие от его обычного имени. Значит, мы у ж е были знакомы.

Но он жив, мы недавно свиделись с ним в Тарусе. Двадцать пять лет не виделись (а до того не виделись семнадцать лет, с 1921 года, в 1937-ом встретились дружески, вспомнили свою весну... Была эта встреча за несколько дней до беды, на меня пришедшей. Теперешняя встреча, п о с л е нее, когда, спустя 22 года вдали от Москвы и отдав еще три дня «на устройство дел», я вновь приехала в Тарусу. Я увижу его и спрошу, пусть он поможет мне вспомнить дни наших золотых волос, когда мы оба седы).

«Я звала их, – сказала Кланя, – придем, говорят».

И вот медленно идет к нам по холму старший. Его звали Саша (а мне нравилось Шура, и я стала его звать так). Смущенная улыбка, рукопожатие. Смотрит, говорит мало.

Шура темней брата, глаза серо-зеленоватые. Он смугл, черты – тонкие, ядовито нежная улыбка и такая же речь. Сережа обещает стать сложения богатырского, Шура же пока

* Сейчас вспомнилось мне, будто за почти год до того зимой, на тарусском катке, на Оке, я впервые увидела Сашу, кто-то из старших нас познакомил, и мы даже покатались с ним вместе (АЦ).

выше брата (старше его года на три-четыре), строен, худ, лицо узенькое. Что-то совсем взрослое и печальное во взгляде.

Я вижу его изредка, узнаю по сердцебиению: я еще не знаю, он ли, близорукость не дает реальности. Я думаю, что выражение «земля уходит из-под ног» — надо понимать как некое ощущение себя вдруг — в пустоте, выхваченность из того, куда идешь, с кем. Какая-то ошпаренность страхом, испытываемая при встрече, в начале любви. Колдовство вековечное, чуждой души, вдруг приблизившееся колдовство близорукости (я стала часто снимать очки), отчего «ухождение земли из-под ног» было еще страннее — совсем туман! Шура приходил с кем-то из сверстников, тоже смущаясь — может, и ему «холм обрывался куда-то». Будто летишь с Воскресенской горы в пустоту, и упорство дня «идти, как до встречи» (всё: люди, обед, дорога, лодка, пейзаж Оки с берегами) — тлело, треща, как сырая ветка, бесплодно сопротивляясь костру.

...Как можно было во всем этом искать — нащупывать — какой-то, уж не говоря «верный», путь к общению? Что могло ждать впереди, как не так называемые ошибки? И как от них было спастись?

Ока текла, и плыло серебро облаков, и надо было найти — слова...

Меж берез нашей горы он стоит, обняв ствол березы щекой о нее, и смотрит на меня, и молчит, печальный — вот-вот улыбнется испытующе-недоверчиво, скажет что-то непохожее на других! Он человеку не верит, мне тоже, — себе? Его наблюдающий глаз уж привык к страданию, хоть ему еще — да не больше семнадцати лет! Иногда он приходит с гитарой. Предательски-нежный. Не отвести глаз.

Что я помню еще? Едем на лодке. Они оба с нами, «Санька», «Серёнка», когда я, набрав на книжку в лавке Позднякова в Тарусе баранок, мятных пряников, конфет, собрала всю нашу шайку (раз меня в Тарусе прозвали — Атаман, —

значит, шайка), и мы едем вверх по Оке, к холмам Велегожа, к Улаю* – там, на другом берегу, далеко будем пить чай.

Август. Первые желтые листики, первый, невзначай, свежий ветерок. По глади реки – сизая хмурь, огоньки. Пир – позади, теперь – песни, мальчишески-девический хор. Он хрустален по воде, а горит, как костер. Навстречу – перебивают! – с тарусского бульвара – звуки духовой музыки...

Плоты плывут, плотогоны зажгли огоньки, они отражаются в струях – столбиками. Луна подымает, незаметно, все выше, свой шар, а полушар неба, незаметно темнея, обнимает землю. Шура встал, бросил весла. Сережа садится грести, гребет и Дубец. Шура и я смущенно глядим друг на друга. Гаря, страдаешь? нет? Кто же вас знает – мальчики, юноши, такие же сложные и изменчивые как я, так же мало знающие себя, так же мечущиеся от тоски – к отваге, от отваги – к тоске... Была тина, и Шура меня перенес с лодки – иначе нельзя было...

Это был всего один миг, я скользнула из его рук, как ртуть.

Сказал ли мне Шура, что меня любит? Написал ли? Помню, что я долго хранила письмо его и письмо Сережи – из Калуги, где они учились, куда они скоро должны были ехать...

И я помню, был день, когда я узнала, что меня любит Сережа, милый, еще мальчик совсем – с этими ясными широкими глазами, на меня смотревшими.

Дни шли, мы виделись ежедневно. Шура становился мне все ближе и все пленительней, и понятней, все нужней. А отъезд приближался. Кланя, всегда все знавшая Кланя, чуявшая своим девочкиным сердечком, наблюдающим девочкиным глазком, чуть дразнящим, знала все о Шуре, как об Алесе, и о Гаре, – но не говорила никому – умница Кланя!

Как последние дни тяжелы! Как жгут последние встречи! Как не можешь понять, почему р а н ь ш е не встретились?

* Возможно, имеются в виду Пещеры Улая. См. комментарии (*Ст. А.*).

Жили рядом — не виделись, д р у г д р у г а боялись! Тех боялись (он — меня, я — его), которые н е х о т я т расставаться! И не знали этого — месяц назад! Ночью я писала Марине. За распахнутым окном шелестели деревья. Луна несколько часов назад желтая, большая, низко над землёй висевшая, стояла в синеве маленьким белым шаром и все ветви и кусты сада были выточены из серебра.

Масленица в Тарусе! Из форток пахнет блинами. Чудный весенний день, и по гористым снежным уличкам, в сверкающем морозе и таяньи — катанье! Санки с бубенцами, ржанье коней, хохот проносящихся компаний молодежи, обгоняющих друг друга. О! Мы с девочками Михайловыми не забыты! Сережа Успенский на паре подлетел к дому, где мы собрались, и гордясь, что помчимся сейчас, как взрослые, валимся друг за другом в сани — Оля и Шурочка, еще какая-то девочка и какой-то мальчишка и я. Сережино лицо сияет, но он старается казаться взрослым. Он очень вырос с лета, серые глаза под густыми бровями и застенчивы и задорны. Он пускает коней, и мы лихо проносимся улицей, вскрикивая на ухабах и на повороте к мосту и к белым привидениям огромных ветел над речкой. Бубенцы гремят серебряным плеском, и сном кажется мне Москва и вчерашняя грусть! Мне весело! Вечером я увижу брата Сережи, Шуру, его зеленоватые пристальные глаза, умную, язвительную улыбку...

Но при повороте дороги кони чего-то пугаются, Сережа не может справиться с их испугом, и ранее, чем мы успели понять, что случилось, — кони понесли. Они летели, не разбирая дороги, как обезумев. Санки подбрасывало, кидало, мы подлетали и стукались друг о друга, люди что-то испуганно кричали нам, Сережа натягивал вожжи, как мог. Мы, девочки, поняли опасность, сидели молча, вцепясь друг в друга, боясь криком усилить страх. Но мужское в Сереже подсказало ему: с невероятным усилием он повернул лошадей на идущую в гору улицу, и они, пронесясь с разбегу по крутому подъему, вдруг стали, тяжело дыша, перед чьими-то воротами. К нам

бежали. Ничего не слыша от сердцебиения, мы выскакивали из саней…

После блинов у Клани идем кататься с гор на «подрезах». Теплый день, у домов тает, ребятишки бегут вверх но гористой улице с замороженными решетами, которые тоже оттаивают, но ребята летят на них, кружась, и крик такой, точно пожар, ничего не слышно! У нас длинные санки, и мы летим с горы, держась друг за друга. Щеки горят, дыхание захватывает, ветер в лицо! Вдруг кто-то из девочек нагибается ко мне: «Узнаешь? Видела, кто? Не узнала? Шурка Шпагин, что так озоровал летом, в кого Гарька с Дубцом камнями кидали — в лодке-то! Погоди, как бы опять чего с нашими ребятами не вышло!»

На вторых подрезах наших — Мишка Дубец и Молокососик, а на маленьких санках с горы летят Ленька Пудель и Гарька — как Гарька хорош! Настоящий цыган! Покраснел, увидев меня. Неужели драка будет, ссора? Сердце сжато страхом. В этот миг Шурка Шпагин, маленький, плотный, синеглазый (так похож на Лиду, его сестру!) проносясь мимо нас, снимает шапку и кивает мне дружески! А Ветка даже кричит: «Здравствуйте!» Как чудно! Значит, мы будем все вместе кататься? Какой сегодня день!..

Тетя, наверное, ждет меня к ужину! Что делать?! А мы отдохнули у Иловайских, помылись — и идем на вечер-концерт на танцы в клуб.

На улице ночь. Из клуба замедленные звуки вальса. Входим. Яркое освещение, много народу. Ищу глазами Шуру Успенского. Его нет. Мы кружим по зале, как все, в ожидании начала. Вдруг кто-то пересекает нам путь: Гаря. Он принаряжен, черные пряди гладко причесаны. Глаза светятся радостью. Он подходит вплотную и тихо: «Ася, можно вас на минуту?» Я отхожу с Гарей, и толпа сразу отделяет нас.

— Ты, Гаря, что?

Отводя золотые глаза и очень волнуясь:

— Я хочу с вами поговорить. Может, выйдем?

Мы выходим на лестницу, и по ней — вниз. Холодно, я дрожу, но слова Гари удивительны:

— Ася, — говорит он, — я давно хотел... Я так долго ждал вас! Вы не поймите неверно (он ужасно волнуется, голос дрожит). И за вас я готов... Я всю жизнь...

Мы стоим у выходной двери. Гаря понимает, что мне холодно, и, может быть, от этого, от страха, что я простужусь, он торопится, сбивается. Я любуюсь им. И мне жаль его.

— Я готов служить вам всю жизнь, Ася! Я вас люблю! Вы мне тогда писали, что...

Он опускает глаза, они полыхают. Он испуган тем, что сказал. Мне очень холодно, я побарываю дрожь.

— Гаря, — говорю я, — да, я писала тебе, что очень люблю тебя, что ты — особенный. Но ты не понял меня. Так как ты любишь меня, вот этой любовью я люблю Шуру — я не хочу лгать тебе. А тебя — тебя я тоже люблю, но иначе: как любят (я ищу слова) героев книг, детей, цветы, воспоминанья...

Чем я больше длю перечислениями мой ответ, тем скорее хочет прекратить наш разговор Гаря. Он стоит передо мной, весь потухнув, тоненький, выросший с лета, почти юноша. Его смуглое узкое лицо больше не освещено глазами — их опустил, и очень тихо — так отплывает от берега лодка:

— Я понял!.. (Как он это сказал!) Сейчас я эти слова слышу.

Он мне уступает дорогу, как бы торопя меня отсюда (где мне холодно, а ему тяжело) — туда, наверх, где мне будет тепло, где музыка, Шура... Я жму его руку — слабую, узенькую. Крепко жму. Затем взбегаю по ступенькам. Я иду полкруга одна и вдруг сердце начинает так биться, что я останавливаюсь: в зале сидит Шура Успенский рядом с Марусей Н-ой и глядит ей в глаза.

В это время ко мне подходит Кланя.

– Видела? Значит, правда... я слышала, что Санька влюбился в Маруську – но не верила... И чего он в ней нашел? Прилизанная, неинтересная... Разве ее с тобой сравнишь? А воображает из себя...

Наш путь лежал мимо них. Когда мы прошли мимо Шуры, он мне поклонился. Я помню как упало сердце. Помню себя несчастной. Но что было дальше, я не помню, – то, что мне – 53 года спустя! – рассказал все с той же язвительной усмешкой 69-летний Шура.

– Не помните? А я отлично помню... Вы были очень взволнованы. Мы стояли с вами в сторонке и вы мне сказали: «Как вы могли променять меня на это ничтожество?» Вы не запомнили, что говорили, может быть... Вы были очень бледная, такая зеленинка в лице!

– Как странно, что я это забыла! Но сейчас мне кажется, что... да, вспоминаю...

Почему ничтожество? Она была очень хорошая девушка из благовоспитанной семьи. И веселая и умница. (Сказала ли я Шуре, что я встретила Марусю Н* в тяжелые годы, в невеселых местах, вдали от родины?). И мы узнали друг друга, общались. Она ни словом не напомнила мне своей надо мной победы, 16-летней. Очень деликатно. Нам было лет 50 с чем-нибудь, ей и мне.

Невеселое, думаю, было моё возвращение к тёте в тот вечер. Верно, девочки проводили меня.

Знал ли Гаря о моём поражении и о моём объяснении с Шурой? Стараюсь вспомнить. То, должно быть, была тогда моя последняя встреча с Гарей, потому что на следующее лето мы не попали в Тарусу. И ещё на следующее – тоже. С Кланей я увиделась – она гостила в Трехпрудном, уже будучи замужем. Она стала математиком. Потом встретила её ещё раз, лет восемь – девять спустя, когда у неё была дочка. Затем от Виноградовых услыхала, что она умерла.

С Михайловыми я встретилась четыре года назад в Тарусе, не видевшись 50 лет. Обоих можно было узнать. Меня помнили. Серёжу более не видела.

Из позднейших (в 1912 и в 1922 гг.) встреч с Шурой Успенским знаю, что — «Тогда, в Тарусе, в юности я был без ума от вас. Когда я переносил Асю из завязшей лодки на берег, я точно огонь нёс. Обжигался, терял голову…» Чистые, счастливые времена... (Привожу не дословно, по смыслу). В 1962 г., 52 года спустя после описанных дней Шура с улыбкой, освещавшей старое его лицо, вспоминал: «Не забыл, конечно! Помню, как вы прыгали через костры не хуже мальчишек… Как венки васильковые в Оку бросали... Вы были озорная девочка, вас звали «атаман»…

Я слушала с грустью. О Гаре (и от него и от других): О вас писал дневник в толстой книжке. Играл под Горького. Поздней в революцию был матрос, револьверы за поясом, скандалил, пьянствовал, срывал иконы. Шумел в Тарусе очень. Умер в больнице, в палате у вашей кузины Людмилы Ивановны Добротворской от тифа.

Нет, я забыла еще: Гаря приходил ко мне в первый год моего замужества раза два. Чуть пополнел. Был скромен. Где-то учился. О прошлой дружбе не вспоминали. (Было это лет за шесть-семь до его появления матросом.)

А Мишка Дубец, когда ещё позже узнал о постигшем меня семейном несчастье, писал мне с фронта трогательные солдатские письма, где сообщал, что (будет ?) произведен в офицеры и будет мне присылать из офицерского оклада деньги, чтобы мои дети не нуждались — только просил сообщать перемену адреса. Я ответила благодарностью, сказала, что уезжаю, устроюсь, но адреса не сообщила. Помнится так. Подписывался Мишка Дубец словами «пламенный защитник ваш навсегда М. Филиппов».

Комментарии

Кланя Макаренко – Макаренко Клавдия, – ей посвящено стихотворение «В сумерках» МЦ Собр. Соч. т. 1, с. 54. (МЦ СС, т. 1, (2), с. 279 – в комментариях к Собр. Соч. МЦ ошибочно указано – «по-видимому гимназическая подруга Цветаевой»). См. упоминание о ней: Цветаева А. «Таруса». – Газ. «Культура» – 1993 – № 35 (6892) – 11 сент. – с. 12.

Возможно, она родственница тарусского агента Союза драматических и музыкальных писателей Макаренко Павла Ивановича, а может быть и будущего тогда Городского головы (1913) – потомственного почетного гражданина Макаренко Ивана Дмитриевича.

О братьях Успенских с Воскресенской горы – Саше и Сереже – Успенский Александр Николаевич (р. 1893) и Сергей Николаевич (р. 1896). Восприемником Александра Успенского был И.З. Добротворский (указано Е. Климовой).

Отца Николая с Воскресенской горы – протоиерей Успенский Николай Михайлович (1863/ 64 – конец 1930-х гг. указ Е. Климовой), настоятель Воскресенской церкви, законоучитель высшего начального училища, казначей детского сиротского приюта; входил в местный (тарусский) комитет Российского общества Красного креста.

Саше и Сереже, чья мать, матушка Надежда Даниловна – Успенская Надежда Даниловна (урожд. Яхонтова, р. 1861?. Брак с Н.М. Успенским с 1886 г. Указ Е. Климовой).

Улай – Легендарный Окский богатырь. (*Примеч. авт.*) – имеется в виду легендарный разбойник Улай, лишенный за свои грехи смерти и предлагающий заблудившимся путникам поменяться с ним судьбой...

Мишка по прозвищу Дубец (Филиппов, сын рыбака, с отцом рыбачит) – Филиппов Михаил Матвеевич (р. 1890 Указ. Е. Климовой) Дочь М. Цветаевой, Ариадна Эфрон в письме к Н.И. Ильиной 29 марта 1969 г. приводит несколько иное свидетельство тарусянина Розмахова Ефима Ивановича: «...за Настей один ухаживал, Мишкой звали, а прозвище у него было Дубец, красивый был, капитаном на пароходе. Уж как мы, бывало,

смеялись над ним – ну куда, мол, ты лезешь – профессорская дочка и сын сапожника!» – в кн. А. Эфрон «Марина Цветаева. Воспоминания дочери. Письма», Калининград, ГИПП «Янтарный сказ», 1999, с. 356.

А л е с – Александр Карлович Закржевский (1886-1916) литературный критик, корреспондент АЦ. Сестры М. и А. Цветаевы встречали его в Тарусе и издали увлекались его романтическим обликом.

Г а р я – Устинов Гавриил Иванович (18937-1919 указ. Е. Климовой), мичман флота, после ранения и возвращения в Тарусу – следователь.

В л а в к е П о з д н я к о в а в Т а р у с е – лавка купца Якова Лаврентьевича Позднякова. В доме, где она помещалась, ныне – Тарусский краеведческий музей (ул. Энгельса, д. 4; указ. Е. Климовой).

Д о б р о т в о р с к а я Л ю д м и л а И в а н о в н а (1885-1953 указ. Е. Климовой) врач в Тарусе, дочь двоюродной сестры И.В. Цветаева, Е.А. Добротворской (1857-1939?).

В и н о г р а д о в ы – семья Анатолия Корнелиевича Виноградова (1888-1946), писателя, литературоведа; его родители Корнелий Никитич и Надежда Николаевна имели дом в Тарусе, Анатолий и Нина, его сестра, дружили с А. и М. Цветаевыми.

ЭЛЛИС, ЦВЕТАЕВЫ И СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Эллис – Лев Львович Кобылинский (1879-1947) личность в русской культуре антологическая, особенная, оставившая глубокий след в литературной истории символизма. Эллис вместе с А. Белым основал литературно-поэтическое сообщество «Аргонавты». В его книге «Русские символисты» (1910) прихотливому эссеистическому анализу подвергнуто творчество трех его современников – В. Брюсова, К. Бальмонта, А. Белого. Тезисы этой книги дают общее определение и обоснование символизма, пристрастным и увлеченным теоретиком и практиком которого он был. Его статьи, в журнале

«Весы» порою резкие, полемичные, «идущие на Вы», были в духе времени

Когда речь заходит об Эллисе и его наследии, то весьма часто следует ссылки на настойчиво повторявшиеся в рецензиях Н. Гумилева в «Аполлоне» отрицательные отзывы о нем. Мол, что же к Эллису возвращаться, если сам Гумилев...

Однако будем помнить, что перед Гумилевым был не просто поэт-Эллис, а один из символистов. Провозвестник акмеизма Гумилев стремился «победить» символизм. Он еще в 1907 году в Париже резко восстановил против себя жрецов символизма Д. Мережковского и З. Гиппиус и бывшего при их встрече А. Белого. (См. об этом Литературное наследство», т. 85, с. 691, 404.) Позже последовало и «идеологическое» возмущение В. Брюсова, выступившего в «Русской мысли», 1913, № 4 против нашумевшей статьи-манифеста Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» в «Аполлоне» 1913, № 1.

В начале века авторитет Н. Гумилева в «тонком» Петербурге тоже был далеко не безусловен – например, другой признанный мэтр поэзии, Мих. Кузьмин иронически относился к его собственной поэзии, считал ее безжизненно-напыщенной...

В отношении критической направленности Гумилева показателен пример М. Цветаевой, первую книгу которой Н. Гумилев похвалил, написав о ней: «...здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга – не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов» – в № 5 «Аполлона» в 1911 году. Далее у М. Цветаевой выходят два стихотворения – «Девочка и смерть» и «На бульваре» в символистском альманахе «Антология» (1911), инициатором которого был А. Белый. Из письма М. Цветаевой к Эллису 2 декабря 1910 года определенно следует, что Эллис был причастен к корректуре альманаха, ему М. Цветаева посылает свои поправки к ранее представленным в печать стихам. Известно, что именно Эллис ввел молодую

поэтессу в литературные круги Москвы, и прежде всего в круг московских символистов, чье издательство «Мусагет» предприняло выпуск «Антологии». Увидев имя М. Цветаевой, всю жизнь остававшейся вне любых направлений и школ, под вполне определенным «флагом» «Мусагета», Н. Гумилев пишет буквально следующее: «Два стихотворения Марины Цветаевой не прибавляют ничего к впечатлению, полученному от ее книги, недавно вышедшей. Эллис пишет длинно, скучно, с претензиями на изысканность и с большими промахами» (Н.С. Гумилев Письма о русской поэзии, М., «Современник», 1990, с. 128). Стоит ли говорить, что следующая краткая рецензия на новую книгу М. Цветаевой в № 5 «Аполлона» за следующий, 1912 год была уже резко отрицательной, хотя именно во второй книге, наряду со стилизованными стихами о детстве, продолжающими основную тему первого сборника, помещено одно из лучших стихотворений того периода «Декабрьская сказка» и вообще немало прямо филигранных по четкости мысли и поэтичности стихов... Но теперь то, что умиляло Гумилева совсем недавно, кажется ему уже подделкой. Раздражает даже то, что в каталоге издательства «Оле Лукойе» (вряд ли он знает, что оно придумано самой Цветаевой и ее мужем С. Эфроном), значатся всего лишь три книги...

Именно во второй книге М. Цветаевой, в «Волшебном фонаре» (1912) – пять стихотворений, обращенных к Эллису. Широко известна история, в результате которой репутация Эллиса пострадала – он «по рассеянности» вырезал несколько страниц из экземпляров своих же, авторских книг, принадлежащих библиотеке Румянцевского музея, где директорствовал в те годы отец сестер Цветаевых, И.В. Цветаев. До того Эллис бывал в доме у Марины и Анастасии, поражая их своим даром имитатора, артистически представляя облики Белого, Брюсова, пленяя сестер поэзией Бодлера, которым был глубоко – на годы – увлечен. Театрализованным фантазиям не было предела... Как все это происходило, описано в

«Воспоминаниях» Анастасии, младшей Цветаевой, и в стихотворениях Марины – «Первое путешествие», «Второе путешествие». Мотивы воображенных ими втроем путешествий на «диване-корабле», М. Цветаева много позже, в 1914 году развила в большую, десятистраничную, великолепную поэму «Чародей», не вошедшую в прижизненные ее сборники, и посвятила ее сестре, которой был, как и ей самой, дорог образ Эллиса-Чародея, главного героя поэмы.

М. Цветаева посылает Эллису письмо и стихотворение «Бывшему чародею», где и поэтически и «прозаически» она утверждает мысль, что он волен как поэт «раскрасть» хоть пол-музея, что он невиновен, и даже фраза – «...Если с вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!» (См. об этом в недатированном письме Эллиса – А. Белому, ГБЛ, Ф. 25, к. 25, ед. хр. 31). Приняв жар ее защиты за признание в любви, Эллис сделал М. Цветаевой предложение. Ответом ему, уделом которого не раз становилась неразделенная любовь, было стихотворение, также вошедшее в «Волшебный фонарь» (1912) – «Ошибка» – тонкий и грустный отрицательный ответ на предложение Эллиса. Однако есть в сборнике еще одно стихотворение, смысл некоторых образов которого ясен застрочно не всем. Называется оно похоже на другие посвящения: «Чародею» и начинается строками «Рот как кровь, а глаза зелены / И улыбка измученно-злая...». Тут, несомненно, портретные черты Эллиса, но далее: «...Ты возлюбленный бледной луны» Кончается стихотворение настойчивым повторением образа: «Ты возлюбленный Девы-Луны,/ Ты из тех, что луна приласкала». Луна – образ ночной чувственности... Образ этот становится конкретнее, если мы вспомним увлечение сестер Цветаевых творчеством В.В. Розанова, с которым они позже переписывались, и образы из книг которого буквально «летали в воздухе», столь многие им тогда увлекались, зачитывались. Одна из известных книг В. Розанова называлась «Люди лунного света» (1911), речь в книге шла о мистически трактованных вопросах пола, страстях земных. Не в этой ли

«лунности» застрочно упрекала Эллиса Марина Цветаева? Кажется этот же мотив, но выраженный внесимволически, прямо, находим и в «Ошибке»:

Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!»
Твоя любовь была такой ошибкой, –
Но без любви мы гибнем, Чародей!

В прозе М. Цветаева пишет об Эллисе не только в «Пленном духе», очерке об А. Белом. В ее записных книжках есть текст, озаглавленный «Моя судьба – как поэта...» Так вот в нем, 3 июня 1931 года, уже за границей, много пережившая, Эллиса, именно как встреченного в начале жизни *поэта*, Цветаева поставила в один ряд с Т. Чурилиным, О. Мандельштамом, М. Волошиным. С последним, кстати, Эллис дружил с юности. М. Волошин писал Эллису в 1908 году: «Дорогой Лева, мне очень хочется послать тебе эту статью о Брюсове, порожденную во многих своих частях нашими разговорами... Я употреблял в ней слова безжалостные и резкие...» (ГБЛ, Ф. 386, карт. 80, ед. хр. 35.) Какое, без преувеличения, большое значение имел Эллис в судьбе М. Цветаевой мы узнаем из ее письма М. Волошину 3 ноября 1911 г.: «Слушай мою историю: если бы Драконночка (Л.А. Тамбурер. – *Ст.А.*) не познакомилась с одной дамой, которая познакомила ее с папой; я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Нилендера, не напечатала из-за него сборника, не познакомилась бы из-за сборника с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретилась бы с Сережей, – Следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г.» (М. Цветаева, «Неизданное. Семья в письмах», М., «Элис Лак», 1999, с. 117). Вот каким важным звеном был Эллис!..

И Марину Цветаеву и Эллиса не признавали именно «мэтры» – от акмеизма – Н. Гумилев, а от символизма – собрат Эллиса по «цеху» – В. Брюсов, первые две книги М. Цветаевой рецензировавший столь же высокомерно («Русская мысль», 1911, № 2; «Русская мысль», 1912, № 7), как и первые две

книги Эллиса «Stigmata» и «Арго» («Русская мысль, 1911, № 7; «Русская мысль», 1914, № 7.)

Осенью 1911 года Эллис покидает навсегда Россию, поселяется в Германии. Побудительными причинами были – наряду с мистическими устремлениями – неустроенность, необеспеченность, но и поколебленная репутация из-за «истории» с Румянцевским музеем и, возможно... неразделенная любовь.

Уехав за границу, Эллис, тем не менее, остается верен старым привязанностям. Пишет о Данте, о «Парсифале» Рихарда Вагнера, к которому его пристрастил его друг Э. Метнер, в чьем журнале «Труды и дни» в 1912-1916 годах он печатается. Еще в России Эллис стал интересоваться теософией, а затем, как и А. Белый, А. Тургенева, М. Сабашникова и М. Волошин, серьезно увлекается учением основателя мистического духовного общественного движения, основанного Р. Штейнером – антропософией. Эллис создает произведения, проникнутые мистическим духом, ездит за Штейнером по городам Германии.

Именно в этот период Эллис еще увидится с А. Цветаевой зимой 1911 года в Берлине, придет к ней и ее спутнику, будущему мужу Б. Трухачеву в гостиницу «Russischer Hof», будет уговаривать пойти на лекцию к Р. Штейнеру. Об этой встрече можно прочитать в главе «Варшава. Берлин» в «Воспоминаниях» А.И. Цветаевой. В ранней, несокращенной машинописи «Воспоминаний» есть неопубликованный фрагмент, повествующий о том, каким Эллис был в ту, последнюю встречу: «Он стоял теперь, опершись руками о спинку кресла, и зеркало повторяло его в позе полета, угрозы, предостережения, гипнотически пожирая собой наши надменные и холодные души, – это был тот же он, который молился, грезил, звал, обличал и до недр восхищался нами...» Там же А.И. Цветаева высказывает запоздалое сожаление: «Теперь я думаю: жаль, что мы – Борис и я – так и не вышли из оцепенения протеста, не вышли из своих безумий – в безумье

другого – в тот день! И не увидели Штейнера». Попутно заметим, что в том же не известном полностью тексте имеется и точное указание на то, когда Эллис незадолго до отъезда посетил дом Цветаевых в Трехпрудном переулке в Москве: «Один раз, каким-то чудом случайности, после долгого перерыва придя к нам в дом, Лев Львович 16 мая 1911 года... – встретил у меня Бориса. И теперь мы втроем оказались в берлинской гостинице!» (А. Цветаева «Воспоминания» Часть 17, гл. 1, с. 10-14. Личный архив писательницы).

Увлечение Штейнером доходит до максимального развития, затем трагически гаснет в разочарованности, так как Эллис считает, что в учении «доктора» не хватает «иерархизма», что в нем слишком много свободы...

Когда Эмилий Метнер написал направленную против собрания сочинений Гете, которое редактировал Р. Штейнер, полемическую книгу «Размышления о Гете...» (1914), то в противовес А. Белому, позже опубликовавшему целый том в защиту Р. Штейнера, – «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (1917), Эллис-Кобылинский, вопреки былой увлеченности, стал на точку зрения Метнера. В мистическом трактате «Vigilemus!», вышедшем в том же московском «Мусагете» в 1914 г. по воле Э. Метнера и вопреки протестам А. Белого, уже определились явственно антианропософские, *противоштейнерианские* тенденции. А. Белого тоже ждет разочарование в учении Штейнера, но это тогда еще в будущем...

За рубежом Эллис не одинок, ему всемерно помогала его духовная подруга голландского происхождения – Иоанна ван дер Мойлен, с ней он познакомился в 1912 году. В 1914 году Эллис был выслан из Германии, Иоанна и ее муж последовали за ним. С 1919 по 1947, год смерти Эллиса он жил в Швейцарии, в Локарно-Монти. Интерес его к русской литературе в нем не иссякал, он переписывался с русскими писателями-эмигрантами. Известно, что он писал письма к Н. Бердяеву, Д. Мережковскому. Печатался в зарубежных русоязычных

изданиях, немало выходило его статей и на немецком языке. Эллис мечтал о универсальной христианской религии, под эгидой католицизма, в котором возродились бы идеалы монашества и рыцарства. Недаром в поэтических книгах Эллиса «Stigmata» (1911), «Арго» (1914) часто доминируют мотивы католические. Стилистически Эллис как поэт ближе к старшему поколению русского поэтического символизма – к И. Анненскому и К. Фофанову, чем к своим собратьям-младосимволистам. Эмоционально-возвышенная трагическая торжественность иных стихов напоминает другого его предшественника, С. Надсона... В юности он закономерно пережил влияние К. Бальмонта, столь долго музыкально царившего безраздельно в русской поэзии...

Необходимо заметить еще, что существует в литературоведении малоисследованная тема – Эллис-переводчик. В 1904 году вышла книга его переводов «Иммортели», – из Верлена, Матерлинка, Леопарди и др. Его же переводы находим и в книге П. Верлен, «Избранные стихотворения», СПБ, 1911, перевел он и драму Э. Верхарна «Монастырь»... Немалый том «Цветов зла» и «Стихотворений в прозе» Ш. Бодлера в переводе Эллиса переизданы в Томске издательством «Водолей» в 1993 году. То же издательство переиздало элитарным тиражом вышедшие в начале века в России поэтические сборники поэта, объединив их в книге «Стихотворения» (1996) и его «Русских символистов» (1996).

У Эллиса есть свой германский исследователь, это Хайде Виллих. Ее исследование «Л.Л. Кобылинский-Эллис и антропософское учение Рудольфа Штейнера» можно прочесть в книге «Серебряный век русской литературы», МГУ, 1996, с. 134-146. У Х. Виллих есть также в соавторстве с М.В. Козьменко работа «Творческий путь Эллиса за рубежом» (Известия Российской Академии наук, Серия лит. и иск. М., 1993, т. 52, № 1, с. 61-69). Благодаря ее трудам мы имеем представление о зарубежном периоде жизни известного литературного критика, теоретика, переводчика, мистика, поэта. Знатоками его творчества в России являлась ныне покойная

Л.А. Лагунова и Е.Л. Кудрявцева; именно они, каждая самостоятельно, исследовали дотоле малоизвестные поэтические произведения Эллиса. Наследие столь яркой личности огромным большинством забытое и невостребованное, представляет сегодня интерес для тех, кому небезразличны труды и дни Серебряного века.

Эллис – Из поэзии

Асе

...Я мотыльком тебя, дитя, не назову,
Он – беззаботен, ты ж полна тревогой,
Полна к мечте насмешливостью строгой,
И сны свои ты видишь наяву.

Стыдишься ты склонить, молясь, главу,
Едва достигнув юности порога...
И для тебя призыв далекий рога –
Все, все, над чем я плачу, чем живу!

Но знаю я: нездешним светлым чарам
Покорная, ты с неба снизошла,
Изваяна магическим ударом
Моей души, познавшей прелесть зла,
Когда, раскинув черных два крыла,
Она зажглась впервые адским жаром.

Ангел хранитель.

М. Цветаевой

Мать задремала в тени на скамейке,
вьётся на камне блестящая нить,
видит малютка и тянется к змейке,
хочет блестящую змейку схватить.

Тихо и ясно. Не движутся тучки.
Нежится к кашке прильнув мотылёк.
Ближе, всё ближе весёлые ручки,
вот уж остался последний вершок

Ангел Хранитель, печальный и строгий,
белым крылом ограждает дитя,
вспомнила змейка — и в злобной тревоге
медленно прочь уползает свистя.

Призыв

Что за скука в самом деле
Рассуждения стихами!
Я хочу, чтоб струны пели
В них со смехом, со слезами...

Я хочу, чтоб в звуках стройных
Раздавался голос страсти,
Песнь желаний беспокойных,
Гимн любви всесильной власти.

Вдохновленный их напевом,
Я на песнь откликнусь эхом
Загорюсь могучим гневом,
Засмеюсь веселым смехом

И забыв все обольщенья,
Все обманы жизни скучной,
В мощных волнах песни звучной
Я найду себе забвенье.

*

Он пал, как зверь лесной.
М. Лермонтов

Аккорды чудные в душе моей звучат,
Молитвой сладостной полна душа больная,
И милых призраков колеблющийся ряд
Проносится, опять надежду воскрешая...

И хочется любить... И некого любить!..
И хочется рыдать, а все кругом смеются...
И вот я сам готов смеяться и язвить,
Пока в душе навек все струны не порвутся.

«АЛЛЕИ И ДРЕМАЛИ ЗАДУМЧИВЫМ СНОМ» – ИЗ РАННЕЙ ПОЭЗИИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

«Воспоминания» Анастасии Цветаевой содержат немало золотых крупиц памяти. Машинописных вариантов, редакций сохранилось несколько. Единые по сути, в деталях они разнятся. Несходства – следствие того, что текст является при хроникальной документальности еще и, бесспорно, художественным произведением. Большой же объем текста служил препятствием к полной публикации и в давнем 1971 году, когда вышло первое издание в издательстве «Советский писатель», та же причина служила камнем преткновения и позже. На страницах, не бывших тогда в печати, находим ценнейшие свидетельства. Так в 8-й части, в главе 6, где говорится о лете 1908 года в Тарусе, обнаружились два фрагмента неизвестного юношеского стихотворения Марины Цветаевой. Интересно, что Марина Цветаева пишет от первого лица в мужском роде. Известный цветаевед Е.И. Лубянникова свидетельствует, что начальные строки стихотворения Анастасия Ивановна ей когда-то приводила.

Анастасия Ивановна, вспоминая о том, как писалось сестрой стихотворение «Лесное царство» («Ты – принцесса из царства несветского»), ей посвященное, входящее в сборник «Вечерний альбом» (1910), приводит первоначальный, отброшенный потом вариант окончания: «Хорошо над костром догорающим / Декламировать нежно стихи...» Нет, Марина переменила: «Говорить о закате – стихи». И сразу затем она пишет, продолжая вспоминать поэтические строки: «Вот, еще это, Маринино:

Аллеи дремали задумчивым сном,
Мы ехали парком вдвоем,
Белела дорога, чернели кусты,
Дрожали на клумбах цветы...

О, как чудно она ему ответила, на его: «Вдвоем или снова одна?»

...И ждал я ответа, томительно ждал,
С тоскою секунды считал.
И билося сердце тревогой в груди,
«Свобода – дороже любви!»
Свобода – великий, святой властелин»...

Я ехал по парку один.

Вот этого восторга так ответить не поймут ни Миша, ни Люда, ни Лера? Она про это не говорит! Аня, Галя! Ну Марина, конечно, Драконна... И Эллис! О, они да! Толя? Я не знала. Нет, не поймет, наверное – он так любит свою семью... И в сладкой печали, которая душит, выкристаллизуется все яснее – мечта: умереть до всего! Молодой».

О чем же было это позабытое юношеское стихотворение Марины Цветаевой? Двое едут аллеями парка верхом, на лошадях, он и она. Далее был не сохранившийся в памяти мемуариста стихотворный фрагмент, в котором содержался вопрос его к ней – «Вдвоем или снова одна?» Он предлагает ей быть «вдвоем». Далее следует объяснение. Признание в любви. И, ответом, ее отказ – «Свобода дороже любви». Печален заключительный аккорд – герой едет по парку уже один. Они расстались.

Романтика юности и гимн свободе! Вспоминается строка из поэмы «Чародей», посвященной другу-поэту Эллису, – «О, никогда не выйдем замуж, / Скорей умрем!»... (МЦС, т. 3, с. 7.) В 1909 году Марина Цветаева напишет: «Ах, вы не братья, нет, не братья! / Пришли из тьмы, ушли в туман... / Для нас безумные объятья / Еще неведомый дурман. («В чужой лагерь» Марина Цветаева Собрание сочинений в 7 томах, т. 1, с. 68. Далее – МЦС.)

Стихотворение, конечно, было сопряжено с увлечением М. Цветаевой другом ее ранней юности, Петром Юркевичем, с которым они общались, катались на лошадях в имении семьи Юркевичей, Орловке. Находилось оно в Чернском уезде, Тульской губернии (ст. Скуратово), принадлежало матери П. Юркевича, Александре Николаевне Юркевич

(1865-1934). Туда М. Цветаева, с разрешения отца, приехала погостить летом 1908 года. Общалась там и со своей подругой Соней Юркевич, бывшей соученицей по гимназии. Дружила с их братом, Сергеем Юркевичем, но его тогда не было в имении.

Строка «Свобода дороже любви!» напоминает о смелых строках из письма М. Цветаевой П. Юркевичу 28 июля 1908 г.: «Петя, Вы вот умный, смелый, чистый, скажите – чем нужно жить? Если жить чувством, порывом – какое право мы имеем тогда обвинять Санина? Делить порывы на добрые и злые слишком рассудочно и скучно. Выходит какая-то добродетель на постном масле. Выходит т<а>к: или постоянно следить за собой, держать себя в своих руках, или жить по голосу сердца, называя добрым то, что искренно, будь это хоть та же ненавистная саниновщина». (МЦС, т. 7 с. 722.)

Тут пассаж о свободе. В нем упомянут аморалист Санин, из одноименного романа М. Арцыбашева «Санин» (1907), которого, как образное воплощение вседозволенности, отвергали сестры Цветаевы, как и П. Юркевич.

О свободе тогда же она говорит и в другом, недатированном письме, написанном осенью 1908 года тому же адресату: «Красота, свобода – это мраморная женщина, у ног к<отор>ой погибают ее избранники. Свобода – это золотое облачко, к к<оторо>му нет иного пути кроме мечты, сжигающей всю душу, губящей всю жизнь. Ит<а>к, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не за большинство, к<отор>ое тупо, глупо и всегда неправо. Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо большинством. Идти против – вот мой девиз! Против чего? спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких слу-

жителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма (нет, не во имя его, а за мечту, свою мечту, прикрываясь социализмом), против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!» (МЦС, т. 7 с. 730).

М. Цветаева потянулась к юноше-студенту. Искренний порыв ее, однако, не был принят. Он писал ей на следующий день после отъезда из Орловки 21 июня 1908 г.: «Марина, Вы с Вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову. Поэтому отвечать искренне и просто на Ваш ребром поставленный вопрос если бы Вы знали, как мне трудно. Что я Вам отвечу? Что я Вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти два месяца, как не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю... Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую, славную девушку, словесный и письменный обмен мыслями с которой как бы возвышает мою душу, дает духовную пищу уму и чувству. Если бы я чувствовал, что люблю сильно, глубоко и страстно, я бы Вам сказал: люблю, люблю любовью, не знающей преград, границ и препятствий...» («М. Цветаева. Письма к П. Юркевичу (1908, 1910)» (Публикация О.П. Юркевич. Составление, подготовка текста и комментарии Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина «Новый мир», 1995, № 6, с. 117).

М. Цветаева в ситуации с Юркевичем оказалась в роли пушкинской Татьяны, писавшей к Онегину. Надо отметить удивительную душевную тонкость и такт молодого Юркевича, который заключил письмо так: «Любящий Вас, преклоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле». (Там же.)

Вот почему не осуществилось «вдвоем», вот почему она «снова одна»!

После приведенного стихотворения Анастасия Ивановна, вживаясь в образ себя той, юной, спрашивает, кто бы из людей того ближнего круга понял бы и принял отвержение любви во имя свободы?

Не Миша Монахов, тарусский мальчик, сын сторожа, по-детски увлеченный девочкой Асей. Такая романтика ему была бы непонятна. Дочь двоюродной сестры И.В. Цветаева, Людмила Добротворская, будущий врач, тогда еще юная? Нет. Старшая сестра Лера? Валерия Цветаева тогда была не чужда «прогрессивной» общественной деятельности. Идея свободы ей была близка. В личной жизни Валерия Ивановна долго не могла решить – к кому склонится ее сердце – к ее будущему супругу – Сергею Иоасоновичу Шевлягину, или к Борису Ивановичу Лебедеву. (Имя второго претендента на руку и сердце тоже удается узнать из «Воспоминаний».) Однако к тому времени былого взаимопонимания, тесной дружбы уже не было. Поняла бы романтичная и музыкальная подруга Анастасии по гимназии Аня Калин, да и еще более близкая Галя Дьяконова – будущая легендарная Гала Дали, тоже гимназическая подруга. О да, она, однажды годы спустя попросившая Сальвадора Дали... убить ее, поняла бы!

Сама Марина, – не просто написала «Свобода дороже любви!», вскользь коснувшись этого поэтического «императива» чувством, не ради красивой фразы, она так чувствовала, для нее тогда это понимание было – до дна.

Далее, в перечне тех, кто понял бы, Драконна – Лидия Александровна Тамбурер. Недаром о ней – в опять же долго неопубликованном фрагменте сказано: «...с Лидией Александровной, все было вне пределов рассудка, в области чувств, вкуса, тяготений к неназванному. И душа Лидии Александровны (мы звали ее выдуманным именем «Драконна») вне возраста – была нам так же ясна и неясна – как и наши». Такая характеристика сомнений не оставляет. Тем более, что она, предпочтя свободу, ушла от изменившего ей мужа...

Кстати, в письме к П. Юркевичу 23 июля 1908, Цветаева пишет о Л.А. Тамбурер: «Вы ничего не имеете против того, чтобы осенью познакомиться с одной нашей знакомой зубоврачихой – разочарованной барыней слегка в декадентском вкусе. У нее всегда бывает много народа, иногда интересного. Нас с Асей она, не знаю за что, очень любит и всегда рада всем нашим знакомым и друзьям. Ее гостиную я зову "зверинцем", уж очень разнообразные звери там бывают» (МЦС, т. 7 с. 716).

«И Эллис!» – Лев Львович, – поэт, импровизатор, имитатор, резкий проповедник символизма, позже, в конце 1909 г. сделавший предложение юной М. Цветаевой (оно не было принято), был ревнив и, одновременно, безмерен и отзывался, конечно, на романтику, – и чем она была фантастичней и фантасмагоричней – тем лучше! Впрочем, все зависело от его настроения в тот миг – куда повернет челн его игры по прихотливой волне фантазии.

И об Эллисе М. Цветаева осенью 1908 г. пишет из Москвы П. Юркевичу: «Не подумайте, Петя, что я забыла о Вас вчера, но Эллис довольно капризен и, пожалуй, не зная о Вас от меня, стал бы ехидничать или вообще выкинул бы что-нибудь. Поэтому я Вас не позвала. Вы, к<а>к человек обидчивый, наверное, рассердились бы, и вообще заварилась бы каша. Если он Вас интересует и Вы пожелали бы его повидать – ожидайте худшего, к<отор>ое, м<ожет> б<ыть>, и не осуществится» (МЦС, т. 7 с. 729).

«Толя?» Она сомневается в его понимании. И не без оснований. Знала ли тогда Анастасия Ивановна, что тогда, в 1909 году, Анатолий Корнелиевич Виноградов был увлечен апокалиптическим христианством Д.С. Мережковского? Он писал тогда мистическую «Повесть об очарованном книжнике». Был религиозен. В дореволюционном паспорте его, сохранившемся в РГАЛИ в графе «вероисповедование» стояло – «старообрядец». Так что его интересы лежали в

несколько иной плоскости, хотя, может быть понял бы, как знать. Тогда он сестру автора стихотворения, Анастасию Ивановну без взаимности любил. О его чувстве семьи, судя по его записным книжкам того года, – оно было поколеблено общим трагическим душевным состоянием – умер близкий его друг, поэт Юрий Сидоров. К семье Анатолий Корнелиевич внимателен, привязан, однако он пишет: «...из того, что мне дороже всего она (мать. – *Ст. А.*) понимает одну тысячную и уже думает, что понимает все. Изумительно. Им чуждо и лишнее то, что мне всего дороже. У них свои горя и радости, своя любовь ко мне, друг друга они понимают...» (РГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 2, с. 54). Так что и ему было знакомо горькое одиночество – «...одинокость мою не понимают», – пишет он там же, и продолжает: «Да, я уйду, нищим буду, умру, докажу, что не пустоту души заполняю, а полнотою живу (Там же, с. 54 об.). (Заметим в скобках, что история не принятия Анастасии Цветаевой А.К. Виноградовым на работу в Румянцевский музей, описанное у М. Цветаевой в очерке «Жених», далеко не так однозначна, как может показаться людям, не знакомым с архивными документами. Но мы не можем подробно коснуться этого, так как рассматриваем иную тему).

М. Цветаева из Тарусы 22 июля 1908 г. писала об А. Виноградове Петру Юркевичу: «Странный субъект – этот мой знакомый. Он не сильный, я его страшно боюсь. Боюсь его и иду к нему, потому что не могу не идти... Он холодный, мертвый. Увидит светлую точку и мгновенно загасит ее. Зажечь он ничего не может. Вся жизнь его полна призраков. Сегодня он мне сказал такую вещь: – “К<а>к прекрасно иметь в себе огонь и тушить его!” – Я долго над этим думала. Что можно ответить на такую вещь?» (МЦС, т. 7, с. 714).

И вот «в сладкой печали, которая душит», то есть в юном ощущении жизни, как это ни парадоксально, «выкристаллизуется все яснее – мечта: умереть до всего! Молодой». О

скольким юным приходила эта мечта! Особенно во времена декаданса. Особенно в начале XX века. Как не вспомнить цветаевское: «Ты дал мне детство лучше сказки / И дай мне сметь в семнадцать лет!». Уйти в апогее чувств, пока не угас огонь, пока жизнь не остудила душу, не загасила факел сердца, не замутнила родник чистоты. Одиночество гордое и трагическое, но свободное...

В иной, уже сокращенной редакции вместо рассуждения о понимании или непонимании стихотворения «Аллеи дремали задумчивым сном», сразу введен известный, опубликованный тарусский эпизод – Смерть маленькой Сони Монаховой, трехлетней девочки, дочки сторожа, сестры Миши и Лёнки – друзей детства Анастасии Ивановны (АЦ «Воспоминания». М., «Изограф», 1995, с. 280). Далее следуют эпизоды – «С Мариной у Оки. В лодке в бурю. Тьо и птичка»...

По мнению Е.И. Лубянниковой датировка стихотворения 1908 годом верна, т.к. именно тогда М. Цветаева ездила верхом с П.С. Юркевичем, она вспоминает о верховой езде с Юркевичем в письме от 21 июля 1916 года (МЦС, т. 6, с. 24). А стихотворение «На 18 июля» («Когда твердишь: "Жизнь – скука, надо с ней..."), созданное в Орловке, имеет приписку: «Написано в "веселом" настроении 21-го июля 1908 (после езды на конях)».

В первоначальном, объемном корпусе «Воспоминаний» было немало стихотворений Марины Цветаевой, сохранившихся только в яркой, эмоциональной памяти младшей-Цветаевой. Среди них стихотворение «Асе», впервые опубликованное нами впервые в журнале «Россияне», 1992, № 11, 12, с. 7. Сюда же относится «Не смейтесь вы над юным поколеньем!..» – большая часть этого, одного из самых ранних стихотворений, сохранилось в памяти А.Цветаевой и впервые приведена в ее «Воспоминаниях». (См. МЦС, т. 1, с. 9.) Такая же судьба у стихотворения «Где-то маятник качался, голоса звучали пьяно» – (МЦС, т. 1, с. 10) и многих ранних других.

Среди них надо вспомнить еще один фрагмент неизвестного стихотворения М. Цветаевой, о котором в рукописи «Воспоминаний» Анастасии Ивановны: «К зиме 1907-8 гг. относятся запомнившееся стихи Марины – во всяком случае стихотворение было написано до ее шестнадцати лет. Увы, помню лишь начало.

В зеленой башне все было странно,
Глядели окна так многогранно,
Как будто взоры миллиона глаз...

Оно было длинно и очень нравилось Лидии Александровне. Она сравнивала его – в то время почетное сравнение – с бальмонтовским:

Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня...»

Что касается слова «многогранно», то в письме 28 июля 1908 г П. Юркевичу есть подоплека этого образа: «Я люблю граненые стекла и в детстве была способна по целым часам их рассматривать, не скучая. Пусть наша жизнь будет к<а>к граненые стекла, – на меньшем мириться нельзя». (МЦС, т. 7 с. 718.)

Этот неизвестный отрывок был приведен в комментариях к «М. Цветаева. Письма к П. Юркевичу (1908, 1910)» (Публикация О.П. Юркевич. Составление, подготовка текста и комментарии Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина «Новый мир», 1995, № 6, с. 129), как свидетельство увлечения Марины Цветаевой поэзией К.Д. Бальмонта.

Комментарии

М и ш а – Михаил Семенович Монахов (1890 – ?) о нем и о сестре Асе – в стихотворении М. Цветаевой «Лесное царство» (МЦСС, т. 1, с. 11). О нем же М. Цветаева пишет в письме к П. Юркевичу 18/24 августа 1908 г. «Новый мир», 1995, № 6, с. 131-132.

Л ю д а – Добротворская Людмила Ивановна (1885-1953 указ. Е. Климовой) дочь двоюродной сестры И.В. Цветаева, в будущем врач в Тарусе.

А н я – Анна Самойловна Калин (1896-1984) гимназическая подруга А. Цветаевой, позже жила в Германии, окончила дни в Лондоне. Ей посвящен акростих М. Цветавой «Акварель» (МЦС, т. 1. с. 40).

Л е р а – Цветаева Валерия Ивановна (по-домашнему Лёра 1883-1966), дочь И.В. Цветаева от первого брака, выпускница Института Ордена Св. Екатерины (1900) и историко-филологического отделения Высших женских курсов В.И. Герье (1908), работала преподавательницей в гимназиях в г. Козлов и в Москве, где при гимназии Е.Б. Гронковской основала музей «Национального искусства и быта». Впоследствии педагог, преподавательница пластики в Московской Школе искусства движения при ВХУТЕМАСе, инициатор основания ставших известными государственных хореографических курсов в студии «Искусство движения» при Москпрофобре Народного Комиссариата Просвещения; последовательница Айседоры Дункан. Автор мемуарных «Записок». См. о ней в очерке «Мать и музыка» (МЦС, т. 5.).

Г а л я Д ь я к о н о в а – Елена Ивановна (Дмитриевна по отчиму) Дьяконова (1894-1982), домашнее имя Галина, впоследствии жена и вдохновительница П. Элюара (Гренделя), затем – легендарная Гал*а*, жена классика сюрреализма Сальвадора Дали, ей посвящено стихотворение МЦ «Мама в саду», (МЦС, т. 1, с. 53). Переписывалась до 1937 г. и в конце жизни с А.Ц.

Д р а к о н н а – Лидия Александровна Тамбурер (урожд. Гаврино 1870/72-1931), врач-дантист, друг Марины и Анастасии Цветаевых. С ней связаны стихотворения М. Цветаевой «Последнее слово», «Эпитафия», «Сереже», «Лучший Союз» (МЦС, т. 1), о ней также в очерке «Лавровый венок» (1936) (МЦС, т. 5); Ей посв. также стих. «Жажда» (МЦС, т. 1. с. 148).

Э л л и с – Лев Львович Кобылинский (1879-1947) поэт, литературный критик, переводчик, теоретик символизма. Эллис вместе с А. Белым основал литературно-поэтическое сообщество «Аргонавты». Его образ центральный в поэме М. Цветаевой «Чародей» (МЦС, т. 3). Он посвятил МЦ стихотворения «В рай»,

«Ангел Хранитель», АЦ – «Прежней Асе», (сб. Эллиса «Арго») и др.

Толя – Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888-1946), писатель, литературовед, с 1909 г. вольноопределяющийся при библиотеке Румянцевского музея без оплаты. С 1912 г. младший помощник библиотекаря, с 1918 ученый секретарь; с 1921 по 1924 директор Румянцевского музея. О нем – отдельный художественный очерк М. Цветаевой «Жених» (1933), где немало фактических неточностей и вымысла (МЦС, т. 5), существует и ответ на него А.И. Цветаевой «Об очерке Моей сестры Марины Цветаевой «Жених» (1990) (Архив комментатора).

Шевлягин – Шевлягин Сергей Иасонович (1879-1966 указ Е. Климовой) – преподаватель латыни, муж В.И. Цветаевой. Он, по устному свидетельству А. Цветаевой автору комментариев, говорил о Валерии: «Лёра это Le Roi» – т.е. она по сходству ее имени с французским словом «король» сама королевственна и самовластна.

Петр Иванович Юркевич (1889-1968), врач, ученый секретарь Московского терапевтического общества. О нем см. М. Цветаева Письма к П. Юркевичу (1908, 1910) публ. Е. Лубянниковой, Л. Мнухина, альманах «Минувшее», СПБ, 1991, № 11 и «Новый мир», 1995, № 6. М. Цветаевой ему посвящено стихотворение «Месяц высокий над городом лег...» (МЦС, т. 1. с. 13).

Соня Юркевич – Софья Ивановна Юркевич (по мужу Липеровская, 1892-1973) писательница, педагог, автор воспоминаний о М. Цветаевой, см. в кн. «Воспоминания о Марину Цветаевой», М, 1992.

Сергей Иванович Юркевич (1888-1919), земский врач, на войне хирург. См. о нем альманахе «Минувшее: исторический альманах», СПБ, 1991 № 11, с. 335-360.

О ГЛАВЕ ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ – «НИКОЛАЙ МИРОНОВ»

В «Новом мире» проза Анастасии Ивановны Цветаевой появилась впервые в 1930 году. Тогда был опубликован ее документальный очерк о М. Горьком (под псевдонимом

А. Мейн, девичьей фамилией матери). По ее словам, этот очерк был своего рода выражением благодарности Горькому, который заступился за арестованного друга Анастасии Ивановны, поэта Б.М. Зубакина (см. о нем в новомирской публикации за 1992 год, № 7).

Долгие годы Анастасия Ивановна в советских журналах более не печаталась, она была, как говорили ей тогда собратья писатели, «слишком идеалист»... В 1937 году арест и – свинцовая тяжесть лагерного забвения. После реабилитации А.И., в 1966 году, в «Новом мире» вышли фрагменты воспоминаний о детстве, обратившие на себя общее внимание; фрагменты выросли в книгу, которую со страниц того же «Нового мира» (1972, № 6) приветствовал П. Антокольский, называя ее «удивительной, вдохновенной», «прозой, насыщенной электричеством памяти».

И вот теперь, когда старейшей писательницы России уже нет в живых (она скончалась в сентябре 1993 года в возрасте почти девяноста девяти лет), мы вновь возвращаемся к ее мемуарной прозе. Ведь за пределами «Воспоминаний», выдержавших три отдельных издания (в 1995 году в издательстве «Изограф» вышло дополненное четвертое), оставалось еще немало замечательного мемуарного материала, все еще неизданного. К не опубликованным полностью (лишь в небольших отрывках) относилась и глава «Николай Миронов».

Сохранилась фотография – две сестры, Марина и Анастасия Цветаевы, и меж ними – молодой мужчина в котелке, большеглазый, со странным, но очень выразительным обликом. Это не кто иной, как Н.Н. Миронов (1893-1951), уроженец Вязьмы, сын потомственного почетного гражданина, поступивший в 1912 году на юридический факультет Императорского Московского университета.

О Миронове есть упоминание в книге А.И. Цветаевой «Неисчерпаемое» (М. «Отечество». 1992), в главе-новелле «Детские французские песенки» – о том, как «Леля Миронова

4-х лет и Коля, брат, на полтора года младше» в раннем детстве пленялись ритмом музыки-поэзии... Там же говорится о цыганском происхождении детей по отцу: «Их бабушку, цыганку, певицу, выкрал их дед – цыгане тогда жили в Грузинах – и женился на ней». С материнской стороны у Миронова была и немецкая кровь.

Н.Н. Миронов стал самой большой страстью всей жизни А.И. Цветаевой. Она в мистической новелле «Непонятная история о венецианском доже и художнике Иване Булатове» («Неисчерпаемое», с. 168-175) рассказывает, как в тридцать девять лет возобновила игру на рояле и даже начала брать уроки. Анастасия Ивановна говорила, что причиной этому была трагическая необходимость «потопить» в звуках вспыхнувшее вновь, как в юности, чувство. Тогда, уже через много лет, Миронов вновь появился в Москве, приехав из Владивостока, где имел свою шхуну (ходил на ней в Японию, шхуна называлась «Конек-горбунок»). В юности Миронов, до приезда в Москву, окончил гимназию и жил в Иркутске; отсюда строки из лагерного стихотворения А.И. Цветаевой «Есть такие города на свете...»: «То Иркутск, / Там Коля жил Миронов, / Юности моей девятый вал!» В сборнике стихов Анастасии Цветаевой, что вышел в упомянутом издательстве «Изограф» в 1995 году, можно прочесть стихотворение об их первой с Мироновым встрече:

Николаю Миронову

Все, как в старинной балладе поэт:
Замок, камин, вино.
Горечь моих восемнадцати лет.
(Юность и горечь – одно!)
В бархатной куртке, кудри до плеч,
Вальсом коньки звенят.
Взгляд горделивый, веселая речь, –
Грусти смертелен яд...
Двери раскрылись. Вошла. Побледнел.
Диана Вернон и Роб-Рой.
Эрос. Психея! Сам Бог повелел!

Краток любовный бой.
Он мне сказал:
«Вас любить – мой удел,
Маленький лорд Фаунтлерой!»
Волос и голос цыгана. Молчит.
Взор твой крылат – моряка.
Эрос! Психея! Не прав Феогнид, –
Солнце любви над миром горит,
В руку легла рука.
День тот поныне – и я ль отрекусь –
Солнцем над миром стоит.
Пунша любви божественный вкус,
Кубка таинственный вид.
Пренебрегая горою обид,
Гордо иду сквозь их строй.
В сердце навеки отвагой горит
Маленький лорд Фаунтлерой!

Здесь в афористическом, поэтическом наклоне отражены некоторые события главы-воспоминания.

В комнате А.И. Цветаевой все последние ее годы стоял большой, больше других, портрет Н. Миронова в позднем возрасте. С его же образом мы встречаемся и в автобиографическом романе Анастасии Ивановны – в «Amor'e» (М., «Современник». 1991). Там рассказана история этой любви: ее невозможностей, прорывов, расставаний и немыслимо страстных встреч...

Вот как о них – в романе: «Прямо ко мне, шагом, крупным и твердым, полоща в ветре полы шинели, переходит пути человек в военной папахе. Помню его черноту, ее нет – папаха серая, весь в хаки, военный цвет. Одни брови черные! Забыла, что так улыбается... Что так сияют глаза: мрачной и восхищенной нежностью, в ней спаялись Рогожин и Мышкин... Я просто забыла Миронова. Стою, онемев. Чувствую ровно столько, сколько надо, чтобы сойти с ума. Сесть в поезд с ним и никогда не вернуться...» Но тогда чувство еще не дошло до апогея, а после оно чуть не стоило А.И. Цветаевой жизни – ее второй муж, Маврикий Александрович Минц

(1886-1917), отчаявшись, хотел дать яду ей, их сыну Алеше и себе, но сдержал руку, не совершил непоправимого. А она – она любила их двоих: одного страстной, другого – родственной любовью, и в том была трагически-мучительная сложность. Любовь же Николая Миронова к Анастасии Ивановне была безмерна, но с такими долгими – на годы – расставаниями...

Что до Марины Ивановны Цветаевой, то и она, вслед за сестрой, пленилась Н.Н. Мироновым. Когда Марина Ивановна уезжала за границу из Москвы, Анастасия Ивановна в ее разоряемой перед отъездом квартире среди всевозможных бумаг заметила записную книжку, дневник, она раскрылась непрошенно, на странице, где описывалось, как открылась дверь и стремительно вошел Н. Миронов с большим псом... А далее, судя по тональности предшествующих строк – должно было рассказываться о том, как... Но таков уж у Цветаевых характер, что младшая сестра, поняв, о чем пойдет речь, запретила себе читать дальше и никогда ни Марине, ни – при последующих встречах – ему не обмолвилась об их тайне.

Строки стихотворения Марины Цветаевой «Рок приходит не с грохотом и громом...» поставлены эпиграфом главы. Первое слово стихотворения в передаче А.И. Цветаевой не «рок», а «жизнь». Есть все основания считать, что именно таков и был первоначальный авторский вариант. Нельзя, однако, забывать, что глава о Миронове – это сокращенные и несколько измененные автором извлечения из всего корпуса воспоминаний, где в большом разделе под названием «Александров» излагается история, с этим стихотворением, видимо, связанная. Считается, что оно обращено к Никодиму Плуцер-Сарна (1881-1945), другу второго мужа А.И. Цветаевой, М.А. Минца. В то время он, Плуцер-Сарна, был «адресатом» немалого числа стихов Марины и предметом ее небезответного чувства... Между тем из рассказа Анастасии Ивановны следует, что стихотворение хоть и было, в числе

других, посвящено Н. Плуцер-Сарна, но вдохновлено внезапным появлением Н. Миронова, нежданно пришедшего к М. Цветаевой как раз во время разговора о нем.

«И как в саму жизнь, в еще не испытанное, мы провалились в Никодима в тот вечер, и Марина рассказала ему обо мне и Борисе (Б.С. Трухачеве. – *Ст. А.*), обо мне и Боре Бобылеве, обо мне и Миронове, и он все понимал, впивал, и случилось необычайное – но оно и не могло не случиться в тот вечер: только Марина стала кончать свой рассказ – вошла горничная, полька Соня, и сказала: «Барыня, вас и Анастасию Ивановну спрашивает офицер Миронов»...

Если и был романтиком Никодим, рассудок все же держал его в плену. «Как, – сказал он после Марине, – это на самом деле было для Аси и для вас неожиданно? Вы не знали, что он придет, когда о нем рассказывали?! Прямо с фронта? И как раз в ту минуту», – и уже провожаемый Соней, через столовую под фонарем потолочного окна, навстречу мне входил через темную проходную Коля Миронов, и сиянье встречи вспыхнуло в Марининой комнате – зарницей. Все тот же! Уж потерта гимнастерка и будто бы еще похудели щеки, а их и раньше не было – один остов лица, но те же глаза, темно-темно-золотые, <...> тот же их взгляд – медленного и пристального любования, восторга, преданности и те же брови..: Мои руки в его руках – моя рука у его губ – и жизнь моя провалилась куда-то – это все та же наша первая встреча в переулке Собачьей площадки; трех прожитых лет как не бывало, все – с плеч!

Стихи Марины Цветаевой тех дней:

*
Жизнь приходит не с грохотом и громом,
А так: падает снег,
Лампы горят. К дому
Подошел человек,
Длинной искрой звонок вспыхнул,

Взошел. Вскинул глаза.
В доме совсем тихо
И горят образа...

Таковы небезынтересные подробности, связанные со стихотворением М. Цветаевой. Основной же смысловой узел публикуемого фрагмента ложится на отражение трагических настроений, охвативших культурный слой русского общества в годы Первой мировой войны. Самоубийства тогда стали ежедневным достоянием газетной хроники. Об этом рассуждали ученые-психологи; об этом Михаил Арцыбашев написал свой известный в то время роман «У последней черты», герой которого, офицер Краузе, кончает с собой, потеряв всякий вкус к жизни... А студента Бориса Бобылева подталкивает к «последней черте» его «неразрешимая» любовь. Обратим внимание на фразу А. Цветаевой, обращенную к подруге ее брата Андрея – В.И. Топольницкой: «Все очень страшно». Чувство оставленности, брошенности в те дни доходит у нее до предела. Потом оно изольется на страницах первой ее философской книги «Королевские размышления. 1914 год», лейтмотив которой: «нас бросили в этот мир и забыли»... Тени событий, происходивших тогда, найдем и во второй ее книге – «Дым, дым и дым. 1916» (М. 1916). Например: «Куда мне идти? У Л<идии> А<лександровны> (Тамбурер – подруги и почитательницы покойного отца. – *Ст. А.*) прием. К Марине? Но там мне так ясно видится Б<обыле>в, в зале на этажерке стоит золотая корона, которую мы клеили для его маскарадного костюма». Или: «Я каждый день ездила на могилу Б<обыле>ва, ставила цветы, смотрела, горит ли лампадка, и говорила со сторожем. Когда он уходил, я становилась на колени и целовала влажный песок холмика. Было тихо...»

Анастасия Цветаева
НИКОЛАЙ МИРОНОВ

«...Жизнь приходит не с грохотом и громом...»[1]
М. Цветаева

Я возвращалась домой по пушистому снежку Арбатским переулком, неся торт. На мне была черная плюшевая шубка, подарок папы. В окнах Бориса[2] я еще издалека увидала огонь. Лампа кидала мягкий отсвет неравно освещенных окон на снег, делавшийся золотистым. Ботики весело топали по снежку. Минуя горести, безысходности и печали, мои восемнадцать лет дышали легко и радостно в этот зимний вечер, отчего-то беззаботный и светлый под черным ночным небом. Я позвонила. Кто-то бежал отворять по коридорным ступенькам. Боря Бобылев![3] Зеленая студенческая тужурка, стройный рост, добрый взгляд серо-голубых глаз, тонкие черты юношеского лица. Высоко стоящие над высоким прекрасным лбом волнистые темно-русые волосы. Какая преданность в улыбке полного чистого рта. Мальчик мой! Мой чудесный друг... Юный, еще не коснувшийся бездн. Благословен да будет твой путь!

— Боря дома? У нас есть вино. Берите торт! Я немножко замерзла! Камин затоплен?

Я входила в крошечную переднюю, увешанную, густо, шубами.

— Миронов приехал! — сказал Бобылев, снимая с меня шубу. Его лицо сияло. Навстречу нам шел мой Борис, движеньем лба отбрасывая длинные легкие волосы, золотые. За ним был еще кто-то. Ниже обоих Борисов навстречу шел человек, незнакомый, тоже в студенческом. Но тотчас же пропали и зеленый цвет формы, и рост, и факт незнакомства — были одни глаза, карие, широкие, длинные, и как ласточкины крылья — раскинутые черные брови. Они длинным взмахом своим продолжали взгляд, и это был один миг, но мои глаза

утонули в нем, и рука обняла мою руку — большая, теплая, сдержанно-чужая рука. Я увидела прямой пробор черных волос, прямой большой нос и маленький рот, одновременно добрый и твердо сомкнутый.

— Миронов[4], — сказал он, и это одно слово не погрузилось в шум голосов, а подержалось в нем, как лодка на узоре воды.

Затем вечер пошел своим чередом, и первое впечатление, странность его — потухла, отошла куда-то назад, разумно и равнодушно, как случайное, недостоверное среди таких двух достоверностей, как Борис и его друг Боря, прочно живших в душе. Но я отметила и в этот, и во все следующие его приходы, что он совсем другой, чем они оба. Он меньше говорил, речь его была совсем иначе построена, он говорил о вещах гораздо более простых, веселее и спокойней, чем оба его друга, и казался мне менее интеллектуальным. И был в нем покой каких-то более взрослых лет, чем их лета, а он был их возраста. Он был мне много более чужд, чем они. В его широком, всегда неожиданном, отличном от их юморе было несходство с тем, что я любила. И держался он от меня отдаленно, в этом не было возможности дружбы. Миронов был просто совсем другой человек, чем Борис и чем Бобылев. Я не совсем понимала их близость. Он часто говорил о Сибири, которую любил каким-то обожаньем, рассказывал о Байкале с таким затаенным восторгом, который был мне чужд. Позже Марина сказала мне о нем: «Миронов любит природу как-то вне своей души, какой-то одержимой любовью». В этих словах Марины был тот же оттенок далекости от такого, какой был во мне.

Но не помню, в первый ли вечер после вечера, камина, торта, вина, засыпая — или в другую ночь я вспомнила вдруг из моего четырнадцатилетия то лицо, виденное с Мариной на спектакле в театре Корша: оно принадлежало человеку, стоявшему за роялем и глядевшему на ту, которая играла, на

женщину, несчастную в доме мужа, которая потом, схватив канделябр, подожгла дом. Он глядел на нее над клавишами неотрывным, «неотвратимым взглядом»*. У него был прямой пробор черных волос, тоже, как крылья, были раскинуты брови над огромными темными глазами, лицо из сумрака глядело бледностью, худобой, резко сужено книзу. Это было лицо из сна. Пьеса называлась «Эрос и Психея»[5].

Рождественские каникулы. Бобылев чаще бывал у нас — лекций не было. Почему в карнавальном маскараде я не помню ни Бориса, ни Миронова? (Я звала его «Николай Николаевич»). Марина и я шили костюмы: себе — два костюма пажа (шаровары, бархатные пелерины, береты со страусовым пером, чулки, туфли с пряжками). Пелерины (полуплащи) — темно-малиновые. У нас кудри и маленькие блестящие шпаги. Бобылев — король, его одеяние зеленовато, на голове — картонная корона, оклеенная листовым золотом. Он очень хорош. Я не помню других костюмов, но с нами едут и Эфроны, и Пра[6]. Куда?..

В какие-то незнакомые мне дома. Мы танцуем вальс. Марина в костюме пажа — восхитительна. Ее лицо римского отрока оживлено нежным румянцем. Она прелестно танцует вальс, преодолевая застенчивость. В ее румянце нет оттенка грубых румянцев: кирпичности. Ее щеки похожи на лепестки роз, дышащих легчайшей тенью малиновости, светлой. Мне чудится, за далью лет, Сережа в костюме принца. Но не более явно, чем сон.

Когда мне бывает тяжело, одиноко, смутно, я еду к Марине.

Мы, как всегда, много рассказываем друг другу, много смеемся. Идем в детскую, любуемся Алей[7]. Ее глаза еще много

---

* Как сказано у Тургенева в «Отцы и дети» об отце Базарова (?) — у постели умиравшего сына. (*Примеч. автора.*)

больше, чем были Андрюшины[8], – у нее огромные глаза, светло-голубые. (У Андрюши – темно-серые) Аля плачет басом. Она очень упряма. С кормилицей опять нелады, снова придется ехать в контору. Она очень неряшлива, капризна, не умеет ухаживать за ребенком. В доме уютно. Маринина узкая комнатка в два окна – рядом с Алиной детской; наверху еще кладовая, в которой нет ничего, кроме веревок с Алиными пеленками. Кормление Марина бросила с большой радостью, оно ей не далось. Ей непонятна моя печаль, что пришлось бросить кормить, и я не говорю с ней об этом. В ее жизни все сейчас хорошо. Но во всем, что тяжело в моей, она мне сочувствует и всегда (и Сережа тоже) старается меня утешить.

Андрюшина кормилица – милая, ласковая, миловидная (помнится, Феня?) – вполне незаметно увезла из сундука почти все мое приданое.

Это было совершенно невероятно. Но, открыв сундук одним из ключей, которые я всюду бросала, я удивленно уставилась в его открывшиеся глубины: сундук был на три четверти пуст. Ни стопок полотняного, еще маминого приданого, белья, простыней с ее метками, ни материй – и разостланных и штуками, закатанными на палках, ничего из составлявшего главное содержимое большого кованого сундука. Прибежавшая на мой зов няня («старая няня») всплеснула руками. На нее было больно смотреть.

– Добросались связкой ключей! – причитала она, – разве в нынешний век советов старших слушают? Сколько раз я вам говорила: спрячьте ключи! – нет!..

– Да что ж я, ключница, что ли, ходить с ключами и думать о них? – отвечала я, – я же не Плюшкин (я вам о нем потом расскажу!) – но главное, няня, чтоб не узнал папа[9]. Для него это будет беда – столько лет хранил мамино... Научите меня, как от него скрыть?..

— Она, она это, — шептала старушка, — говорила я вам: не раскрывайте при ней сундук! Нет, всем верите! А она...

— Но она же милая, добрая, я ее так полюбила...

— Вот она, добрая-то, на поверку и выходит подколодная змея... Ах, негодная! Хорошо, что вы-то мне верите, знаете — я господское, как свое, берегу, у графа Сергея Львовича[10] все добро на моих руках было. Шестнадцать лет я у них прожила... А она, негодная, польстилась, да и на меня тень...

— Няня, перестаньте! У нее молоко пропадет со страху... Ее надо спросить *потихонечку* — мне Андрюша дороже!..

И вот, после беседы старой няни с кормилицей, у моих ног лежит молодая, кроткая, милая женщина — в рыданьях! не веря моему обещанию не отдавать ее в полицию! Отчаяние нас обеих — равно. Мое звучит так: «Умоляю вас, перестаньте плакать! У вас испортится молоко! Пожалейте маленького! Он-то чем виноват? Неужели ж вы мне не верите? Я же даю вам слово! никто не узнает! и никуда я вас не отправлю, в деревню — тоже. Будете жить, как жили. Кормить. Но войдите же в мое положение: отец берег все эти вещи, еще моей матери, много лет! Мне они дороги — память матери! В вас же есть сердце?! Няня правильно выдумала: поезжайте с ней, куда вы их увезли, и что еще цело — будьте же честной! — привезите назад. Чтоб хоть не так пусто в сундуке было — чем я его наполню, если отец скажет: «Открой-ка, покажи материи мамины! Тебе надо сшить платье!» Господи! Перестаньте же плакать, встаньте сейчас же, успокойтесь, умойтесь... Молоко пропадет!» Ее отчаяние так звучало: «Бес попутал! Сестра уговорила! Чтоб ей на том свете... Отродясь нитки чужой не брала!.. Нет, открой да возьми, спрячу, никто не узнает... Она ж мне как мать!., характер у ней — и не приведи Бог! Сгубила она меня, окаянная, пропаду я теперь в полиции, под каторгу меня подвела...»

Так мы дуэтом говорили — сколько хватило сил.

Они съездили на квартиру к сестре и привезли две вещи: рулон серебристой материи, уцелевший, и дешевую аметистовую (мою любимую, мной купленную) брошь. А молоко у Фени со страху пропало, и Марина снова поехала со мной в контору.

Наступал новый год: 1913-й. Нашим первенцам было — моему четыре с половиной месяца, Марининой дочке — без малого четыре. Уж горели их первые елки. Они глядели во все глаза на горение и блеск, еще не понимая. Через год это уж будет их праздник с радостно схваченными елочными игрушками. Эти елки — еще во мгле...

Был вечер, снег, метель. Вернувшийся Борис и Боря Бобылев (это мне поздней рассказывал Борис), выйдя из нашего домика, шли по тихому переулку.

Им навстречу из снежной смуты, из полутьмы вынырнуло женское лицо. Увидав чье-то из их лиц, первое выплывшее из тумана-метели, она крикнула звонко и требовательно, колдовским правом гаданья:

— Как имя?

Но уже выплыло и второе лицо, оба на одной высоте.

— Два Бориса! — крикнули они в ответ, не уменьшая шага, летя по своему пути. Затем кто-то из них опомнился. Продолжая игру, мужской голос кинул вслед с тою же требовательной повадкой:

— А ваше имя как?

Из сомкнувшейся за нею метели донеслось явственно — и уже затихая, тоже — она спешила прочь:

— Анастасия!

Борис сказал мне, что это слово их потрясло, они шли плечо к плечу, молча, и каждый знал, что сердце рядом забилось тем же волнением нежданное[11] — и сужденного...

Они купили вина и долго пили его в тот вечер, не вступая в рассуждения о жизни, не дивясь и не споря, приняв голос как необъяснимую данность, как таинственный перст судьбы».

Марина встретила меня в состоянии такого смеха, что и мой приезд не остановил его. В другом углу комнаты, с толстой книгой в руках, слегка покачиваясь на длинных ногах, — Сережа хохотал все новыми и новыми взрывами. Переждав пароксизм, я села слушать: Марина, отвращаясь от изобретения блюд для обеда и ужина, заказывая прислуге еду на завтра, велела ей сделать номер такой-то второго блюда, дав ей (прислуга была грамотная) — Елену Молоховца[12].

Покорная женщина списала себе на бумажку этот следующий номер и пошла в лавку. В лавке нужного не оказалось; из лавки в лавку ходила бедняга, расстраиваясь, что опаздывает к обеду это будущее блюдо изжарить. Наконец, отчаявшись, она в слезах возвратилась домой, но, доложив хозяевам случившееся, она была поражена неожиданной для нее реакцией, объяснимой, видимо, их молодостью: они так смеялись, что падали.

В книге, распахнутой Сережей на заказанном, не глядя, номере жаркого, стояло: «Задняя часть дикого вепря»[13].

Марина в своей комнатке во втором этаже на фоне стены с портретами Наполеона и его сына.

— Знаешь, в нашем издательстве, которое мы с Сережей выдумали — «Оле-Лукойе»[14], — я тебе говорила? — я хочу выпустить маленькую книжку стихов — выбранное из двух книг. Обдумываю предисловие. Сережино «Детство», рассказы, где он пишет о себе и о Котике... — Она прерывает себя: — Температура у него не в порядке, я так беспокоюсь, что опять вспыхнет процесс. Ему же нельзя заниматься — столько! — а он вбил себе в голову непременно весной сдавать на аттестат зрелости. Я понимаю, надо, конечно, но зачем же так скоро? Столько предметов, постоянное умственное напряжение... Я его уговариваю отложить на будущий год. Разделить труд на две зимы — не полгода, а полтора года, понимаешь? Ведь ему же мало лет, он же на год моложе меня, девятнадцать! Ты, конечно, знаешь, что он родился тоже двадцать шестого сентября?

– Ты уже ходила и говорила, столько уже понимала – а он только родился! Как это теперь странно кажется, правда?

– Он тоже очень рано начал говорить!

– А из них только он болеет туберкулезом?

– Нет, его старший брат – Петр – тоже...

– Он – актер, да? Что, он на них всех не похож, что ли, что они как-то странно к нему относятся?

– Не знаю. Может быть, оттого, что рано женился на какой-то неподходящей женщине, – она его не любила, наверное, то есть не так любила! Он давно уж живет отдельно...

– Лиля и Вера как-то никогда о нем не рассказывают, – сказала я, – как будто избегают говорить: плохого не хотят, а хорошего...

– Да-а... – Марина отбросила привычно свои уже отросшие, на концах вьющиеся волосы, – пойдем Алю посмотрим, хочешь?

Мы стоим перед (которой?) кормилицей, с важностью, ревниво глядящей на мать, держа великолепного ребенка с уже густеющими светлыми волосами. Над огромными голубыми глазами обозначаются бровки.

– Хорошее имя я ей выбрала? – задумчиво говорит Марина. – Ариадна...

Каток Патриарших прудов. Тот же круг льда[15], та же будка, где желтеют трубы у рта музыкантов, и, может быть, играет тот же военный оркестр. В той же дрезденской длинной синей вязаной кофточке на тех же норвежских коньках, беговых, я вышла на лед, и моя восемнадцатилетняя рука держит руку Бориса, моего упоительного партнера по льду. Я ее держала шестнадцатилетней рукой! Мы старше на два года, и в нашем доме (какое чудо с тех пор совершилось! Я тогда ничего о его доме не знала, теперь у нас общий дом...), – и в нем – разве это не чудо, тоже? – растет наш сын! Еще только шестой месяц, а он с плеча его держащей смотрит

иногда таким величавым взглядом, так умно и серьезно — смотришь, и не верится...

Мы сегодня в первый раз с тех встреч на катке — вышли на лед. Прошлая зима — Берлин, Женева, Ницца, Трайас... Как давно! Кажется, не год прошел, а пять лет!

Да, тот же вальс! Будто коньки дрогнули под нами (точно ноги циркового коня!), руки сами легли крестом меж нас, и мы несемся по льду в такт музыке. Мы молчим (мы не молчали тогда!).

Острый прилив тоски неслышно сотрясает меня, — я беспомощно сжимаю Борисову руку. Он отвечает пожатием. Мы пролетаем мимо Коли Миронова. Его глаза неотрывно смотрят на нас. На Борисе та же шапочка, желтая, меховая, так же — чуть набок... Тот же пиджак. Те же кудри у меня по плечам. Что же, что же стало — другое? Но ведь я же люблю его! В тот вечер, помнится, и Боря Бобылев был с нами. Они тоже были на коньках, он и Миронов? Или только Борис и я?

Когда я осознала присутствие Миронова в моей жизни?

Когда я впервые сказала о нем Марине? Не в тот ли вечер, когда мы все четверо — Борис, его оба друга детства и я — пошли в театр смотреть «Идиота»[16]. Это был театр Незлобина. Он был рядом с Большим театром, слева (напротив Малого). Мне кажется, это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Они играли эту безумную вещь так, будто луч этого безумия пал на них со страниц Достоевского, и они — 3 часа? 4 часа? — жили в нем. Настасью Филипповну играла Жихарева, Мышкина — Асланов. Кто играл Рогожина — я не помню. Но это был Парфен Рогожин. А мы — мы — нас не было! (Как тому назад полтора года в Финляндии, когда Борис читал вслух 1-й том «Идиота»). Теперь я, обещавшая год его не читать, чтобы папа встал от болезни, недавно его дочетшая, — вошла

в этот второй том будто в домик на Собачьей площадке. И все перестало существовать...*

Вот мы четверо пятьдесят лет назад, восемнадцати- и девятнадцатилетние, сидим, не чувствуя кресел (— земли!), забыв о театре, и живем меж Мышкиным, Рогожиным, Аглаей и Настасьей Филипповной до их конца.

Мы помним конец книги. Аглая, все пережив, ушла прочь от всех, за фанатиком проповедником. Лев Николаевич Мышкин вернулся в лечебное заведение, откуда, вылечась, ехал в начале романа. Он безнадежен. Он стал идиотом.

Нет, это не конец — послесловие. Конец — вот: затемненные окна большой (низкой?) комнаты. Вечер, ночь, утро? На полу, сняв с дивана составляющие его спинку подушки, пристроились — до окончанья веков — Рогожин и Мышкин. Фон — занавесы алькова. Там над чем-то, что было их жизнью, жужжит муха. Там — недвижно.

Заикаясь (один), другой в начинающейся горячке — сидят вместе, шепчась, вспоминая. Тот садовый кривой нож. Ее. И хоть они живы еще, но и их уже нет, как ее. Жива одна муха над телом. И ночь слушает стук двух сердец человеческих над тишиной смерти.

Мы поднялись не чувствуя ног, вместе со всем театром мы вышли в эту московскую ночь. Мы шли по своим судьбам, по своей смерти, по той тишине ночи. Четверка в одну упряжь впряженных коней, мы шли молча, и молча на нас с высоты Большого театра глядела четверка взлетевших, онемевших коней. Мы прошли пол-Москвы, не ища, как проехать, подошли к маленькому парадному домика № 8. Кто-то нажал кнопку звонка. Кто-то нам отворил. Мы вошли. Кто-то снял

* Я на миг отвлекусь: недавно в России, пятьдесят лет спустя, поставили на экране 1-й том «Идиота». Второй — не поставили, без объяснения. Экрану он, может быть, не под силу? Зрители остались в положении, близком к моему в 1911 году. Перервалась участь людей на середине романа. (*Примеч. автора.*)

с меня шубу, повесил. Глаза Миронова неотступно смотрели. Мой Боря или мой второй Боря зажег камин. Только пламя открыло наши глаза, отомкнуло уста. Оно нам сказало, что мы навек обречены друг другу.

Я вернусь назад, я забыла: 2 января 1913 года.

После той встречи двух Борисов и Анастасии в новогоднем гаданье, после маскарада, где Марина и я были в костюме пажей, после недель (месяцев?) дружбы с Борей Бобылевым я написала ему письмо. Это было, помнится, восемь (?) страничек почтовой бумаги, и число — 2 января — стояло в начале. Помню это число до сих пор. Я жалею, что не помню это письмо как надо, потому что это был документ человеческой безысходной печали и нежности, голос Психеи[17], ищущей путь и в него уж не верящей. Это было воспоминанье о трагизме безнадежных бесед, о пожатии рук и тоске юных уст, не ищущих поцелуя. Это была встреча, и это было прощанье. И кончалось оно строчками Блока (которым я не увлекалась никогда так, как многие. Но эти слова мне звучали):

«Но в камине дозвенели угольки,
За окошком догорели огоньки»[18].

Камин — это было сердце нашего дома — Борисова, моего и его двух друзей детства. Это была печать к письму.

Я отослала его — и забыла, среди ежедневных метаморфоз встреч и прощаний, среди печалей и восхищений, забот и усталостей дня. Будет день, когда я его вспомню.

Приходила Маруся, сестра Бориса. Она была полна собой (своим несчастьем)[19]. Прелестна. Она знала друзей брата с детства (думала, что их знала), глядела мимо них, к будущему. Ей, как и многим из нас, оставалось недолго жить. Может быть, человек это подспудно знает?

Потом Боря Бобылев принес мне пузырек с белым порошком. Это был цианистый калий. Может быть, он и я захотим когда-нибудь, скоро? Мы говорили о том, почему

нельзя умереть в вальсе? Исчезнуть, перестать быть? «Опьянение, опьянение...» — слова Милы и Нолли[20] в сказках Вагнера «Кота Мурлыки». Они летели на ланях над пропастью.

Я сижу на коленях перед горящей печкой и сую в нее лист за листом мою повесть[21], любимую, росшую, расцветавшую. Я ее кидаю в огонь, не сказав Бобылеву, который ее читает с восхищением, повесть о всех нас. Я ее жгу, потому что схватила за сердце безумная жалость к моему Борису, холодному, одинокому, которому не могу помочь, потому что он отвергает помощь. Я все реже молюсь, все отчетливее отвергаю Бога, но я чувствую какую-то судьбу вокруг нас и в ее пасть — как непонятное, но несомненное приношение — бросаю то, что мне сейчас всего труднее отдать, — эту стопку листков.

Они скручиваются в легчайшем танце темной воздушной скорлупкой — и их нет. Так не будет и нас. Тютчев. «Бесследно все — и так легко — не быть!»[22]

Я встаю, радостная, с колен.

— Борис, в путанице чувств, лиц, взглядов, иронических и нежных слов я нашла один ясный поступок — отдала, ради вас, свое полюбленное создание. Это было так трудно! Но я решила и делала это в восторге. Это должно вам помочь! Вы разлюбили мои писанья, которые вы так слушали два года назад (еще нет двух!). Но их любит ваш Боря. (Это будет удар ему...)

— Зачем вы сделали это?! — сказал мне, узнав, Боря Бобылев в яростной горечи. Взволновавшись, ходил по комнате. Я просила его надписать мне — его фотографию. Он надписал: «Пусть все сгорит! Б.Б.». Это ли было началом нашей размолвки?.. Как могла меж нас быть — размолвка? Я еще помню слова Бобылева: «Вы думаете, я потому страдаю, что вы стали более внимательны к Миронову, говорите не только со мной, но и с ним? Ася, я могу принять это! Но когда

вы не мне теперь, а ему даете подержать ваш браслет (когда браслет вам на минуту мешает) — вот это мне боль!!» («Как маленькие вещи — больше больших!» — писала я поздней, в моей первой книге…) С браслетом же (бабушкиным, золотым, состоявшим из крест-накрест звеньев то расходящихся, то смыкающихся вплотную, как резной заборчик) было так: я никогда не позволяла то, что легко допускали многие женщины, — чтобы кто-то надевал и застегивал им ботинки. Поза мужчины, ставшего на одно колено перед женщиной и занятого ее обувью, была мне просто комична, безвкусна, немыслима. Я ботинки надевала сама, но в это время браслет, соскользнув к запястью, широкий вокруг него, — мешал; и я, перед тем как нагнуться, привычным движением снимала браслет и давала его Боре. Раза два, может быть, протянула его Миронову. Об этом и сказал Бобылев.

И была еще брошь, скромная, из трех аметистов, которую вернула мне после кражи Андрюшина кормилица. Аметист — по тогдашним календарным поверьям — «спасает от вина». Я не любила, когда Борис с друзьями пили вино. У камина, со мной, одной бутылки легкого десертного хватало на всех, с тортом. Но без меня, одни, молодые мужчины пили больше, могли выйти за предел. Никогда не выходили, но я чуждалась этого, не любила. И я давала Боре Бобылеву носить эту брошь — заколов галстук, «спасти» его от вина. Он был неосторожен: пил валерьянку — целым пузырьком, пробовал составы химических опытов… Так давно жил без матери!

Бобылев не был у нас несколько дней. Размолвка.

Я с Мироновым стою в цветочном магазине на Никитской, выбираю цвет гиацинта: лиловый, голубой, бледно-розовый? Мы едем к Боре, взбегаем по лестнице нового дома. Его нет. Комната не заперта. Мы ставим горшочек с гиацинтом на его стол, я пишу записку: почему не приходит? С радостным чувством, что протянута пальма мира, спускаюсь по лестнице. Мы никогда не говорим ни о чем внутреннем с Мироновым. Он

рассказывает что-то веселое, странное. Иногда — о Сибири... На душе, как всегда, когда кто-то рядом внимательный, — легко.

Марина тончайшим образом понимает различие Бобылева и Миронова. Как я, она нежно заинтересована обоими. Понимает меня с полуслова. Она и Бориса любит, чувствуя всю трагичность невозможности прочных отношений с ним. Иногда она и Сережа приезжают к нам. Все сидим у камина, пьем чай, вино, едим сладкое. Говорим о наших детях, проходим к Андрюше в детскую, смотрим на него, сравниваем его с Алей, рассказываем друг другу о всем новом в них за последнее время. И на час все кажется хорошо, как должно быть, даже весело. Когда оживленное приветливое лицо Сережи, укутанное в высокий воротник дохи и в боярскую шапку, и нежное, как лепесток розы, Маринино лицо, из меховой шубки и шапочки, — все, спеша, исчезает во мгле вечера, — я всхожу по ступенькам парадного хода во мгновенном ощущении, что моя жизнь — фантасмагория, что я совсем одинока...

Туманно помню мое свидание с Галочкой, Галей Дьяконовой[23]. Затем ко мне приезжает гостить из Тарусы подруга моих отроческих лет Кланя Макаренко[24]. Она не понимает сложности отношений всех нас, ей у нас весело, ей нравится моя жизнь, эти милые молодые люди — мой муж и его друзья, я поддаюсь этой целительной простоте, отдыхаю с Кланей, молодею.

В ответ на гиацинт и записку Боря Бобылев пришел к нам; провели все вместе вечер, пили вино из недавно купленных на Кузнецком широких фужеров цветного, отливающего мыльным пузырем стекла; через соломинку. Не могу вспомнить: в этот ли вечер мы почему-то ждали, что Бобылев уйдет (он был смутный, несколько отдаленный, нервный), и после него пили вино — Миронов, Кланя, Борис, я, или был еще один вечер вскоре, когда Боря Бобылев пробыл с нами

до позднего часа, ушел и мы легли спать? Память уж не вернет точности тех дней. Но обиду (за что?) ему этим вином после него – мы совершили. Никогда не узнаю, в последний ли его день.

Утром меня будят. Усталую, сплю. Просыпаемся вместе с Кланей. Голос, меня будящий:

– Вставайте скорей! Борис Сергеевич отравился!

– Какой?! – вскакиваю в ужасе.

– Бобылев!

– Жив?

– Нет. Умер![25]

Хватаю вещи, одеваюсь. Зуб на зуб. Четкое решение, тотчас же – туда. Одной. Опережаю Кланю, Миронова, Бориса, бегу по улице. Пересекаю Арбат, вбегаю в Кривоарбатский. На какой-то этаж. Жизнь оборвалась. Замерла.

Боря Бобылев лежит на спине на кровати. Глаза закрыты, очень опухшие губы. Он отравился цианистым калием, но выпил слишком много. Это сказали студенты, жильцы квартиры – медики. Полтора часа жил, захлебывался кровавой рвотой. У них не было денег на кислородную подушку, и не знали адреса Бобылевых (где-то близ Арбата же) – отец, мать, брат. Ни нашего – переулок по ту сторону Арбата. Горничная нашла мокрый от слез платок на (шкафу, комоде?). Придя поздно от нас, долго играл на скрипке. А когда выпил яд и не умер – вышел к студентам, сказал: «Товарищи, помогите. Я отравился». Сознательно выпил? Пробовал, как не раз уже рискуя, изучая свой организм? Никто ничего не знает.

Он лежит спокойный, как спит. Высокий лоб, над ним высоко темно-русые волосы. Неузнаваем рот, вздуты губы. Его руки! Лежат невинно, на одеяле. Стою, смотрю, слезы льются, побарываю всхлипы. Трясет.

Подхожу к столу, ищу письмо, мое. Чтоб не в чужие руки. Нахожу. Вот оно! Беру. У конца его, вбок от моей подписи,

приписка карандашом, Борина: «Упрекать Асю в том, что она женщина, значит не понимать целой, иной части ее души». Читаю, складываю, возвращаюсь к кровати. Целую ли руку? Лоб? Оборачиваюсь: в дверях Борис. Стал в ногах, смотрит на друга молча, не сводя глаз. Долго стоим. За плечом его — догнал — Миронов. Стоим.

— Ну, с меня довольно! — говорит Борис, поворачивается, выходит. Миронов и я идем за ним. Давно ли мы шли после гибели Мышкина, Рогожина, Настасьи Филипповны? Гибель одного из нас...

Арбат. Почему-то весенний день. Идем тесно, молча.

Было 6 февраля 1913 года.

У нас. Комната моего Бориса. Камин. Мы трое. Кланя? Не помню. Мы сидим, как всегда, и тесная наша дружба, горем спаянная, безмолвная; возросшая нежность друг к другу есть замена присутствия Бори. (Их «Бобылик»...)

Борис подчеркнуто бережно добр ко мне. Я не таила от него любви Бори ко мне и моей к нему. Я не пряталась. Не лгала. Не лукавила. Все было на виду, явно. Все было Борису ясно, любовь его друга Бори ко мне — так понятна, упрекнуть можно было, только если бы мы обманывали или если бы перешли черту. Мы не перешли ее, даже не подошли к ней. Ни Боря, ни я не тянулись друг к другу физически. (Трудно поверить? Но — так. Боря был юноша. Я — и до него, до Бориса так долго отвращалась физической близости. Перешла черту только для Бориса и с ним. В эту область никто мною не был впущен. Жена, я была верна Борису. И он это знал.)

Удивительно: смерть одного из нас бросила нас друг к другу. Мы трое у огня, который увел четвертого, стали драгоценны друг другу, заставив задуматься и опомниться, увидать друг друга. И было странное чувство, что хоть Бори нет, а и он с нами в этом наставшем прозрении, в тишине и добре горя.

В эту тишину пришла вызванная Марина. Бледная, с закушенным ртом, с посветлевшими, заплаканными глазами – она села у огня, протянув к нему – погреть – руки.

– Он похож на Пушкина в гробу, – сказала она, – очень похож. Только – красивей! Его непременно снять надо. Не упустить – туда...

Кто ее свел к нему? Не знаю. Она слушает его смертную повесть, глаза – в огонь, и слезы капают из них неудержно («Состояние раненности, – говорила она годы поздней о себе, – каменное лицо, и по нему истукански, идиотски текут слезы»).

Мы снова у Бори, все. Я не помню тех дней. Кто обмыл и одел его? Мать ли пришла, не любившая, от которой он ушел на квартиру; горничная ли?.. Как может это быть, что хоть полвека спустя – забыла имя ее, к которой потом, когда все стихло, «прошло», – я ходила и ходила по этажам, чтобы посидеть у нее, еще раз вспомнить его, его последнюю ночь, эту скрипку и этот платок, и слова студентам о помощи, и незнание никем адреса его матери и отца, и нашего, пока жил?.. (Узнали, когда умер!) Кислородную подушку, стоившую столько-то (чудится мне, 20 рублей). Мог бы остаться жив? Ходила к ней, потому что она жалела его, больше, чем мать, и я как с его сестрой, близ него жившей, хотела – никогда не забыть эту ночь... Но я ее имя – забыла.

Фотограф снял Борю в цветах. И, по желанию Марины, второй снимок – с одной розой у груди, у сложенных рук, у пуговицы студенческой тужурки. Роза была темна. Он действительно походил на Пушкина, но черты строже. Уже чуть опускался вспухший от яда рот. Сидя у огня, Борис сказал мне: «Ася, вы не виноваты ни в чем. И он вас любил...» Цветочный магазин на Никитской – тот самый, где покупала ему гиацинт. (Гиацинт был еще жив, на окне.)

Марина и я выбрали Боре большой металлический венок незабудок, чтобы долго жил на могиле. Мы все почти не

расставались. Почти не спали. В тот же день, на другой ли? до похорон ли? к нам пришла сестра Бориса — Маруся. Я ее с нами — не помню. Она пришла прямо к брату — «Мне надо поговорить». Мы вышли. Она заперлась с Борисом и час ли, полтора? что-то ему говорила. Затем — ушла. После ее ухода Миронов и я, старая няня — не узнали Бориса: он сидел и глядел в одну точку. Затем взял зеркало и долго себя рассматривал, молча. Его лицо было пристально, что-то отсутствующее, выраженье безумного. Затем он встал и ушел, не сказав куда. И — пропал.

В наш дом пришла Ирина Евгеньевна, мать Бориса. На ней не было лица. Она обратилась ко мне с упреком: «Ася, я говорила вам: не пускайте Марию Сергеевну, она вас разведет с Борюшкой! Вы не послушали, не поверили! Он ушел. Не ко мне! Не приходил! Жив ли он? Я подниму на ноги всех, чтобы найти...»

Она была ласкова и добра ко мне. Верила. Удивлялась, что сын мог поверить сестре.

Я не помню подробностей похорон. Хоронили на Смоленском кладбище, далеко по правой Горизонтальной дорожке. Были ли там могилы их близких? Я помню яму (песок? глину?). Весенний день. Плотную фигуру матери в шляпке, подростка-брата. Много чужих. Отца не помню. Он Борю любил, и Боря любил отца. Был ли на похоронах мой Борис? Не помню.

Если он пропал до похорон, то на похоронах не был, потому что нашли его неделю спустя.

Мы искали его у всех друзей, родных и знакомых. Нигде. С помощью ли полиции? но ведь он не был на том месте прописан! мать нашла его где-то далеко, на 6-м этаже, взял комнату. Денег не было. Питался одной булкой в день.

Мать разубедила его в лжи сестры: та сказала ему, что у меня с Бобылевым была физическая тайная связь, что из-за этой связи он умер. Маруся больше не появлялась к нам.

Боря не возвращался, из-за стыда ли передо мной, что ушел, не спросив, что поверил, что лгу. Жил у матери — очень недолго: слег на операцию аппендицита в лечебницу Руднева (в Серебряном переулке). Я навещала его? Затем память путается. Знаю, что в двадцать лет Борису делали другую операцию — саркомы (на шее). Удачно. Не повторилась. Но, оставшись одна после лжи обо мне мной так любимой Маруси Трухачевой, я осталась с четырьмя дружественными близкими мне, в нашем домике: мой шестимесячный сынок Андрюша, старая няня, Миронов, не покидавший меня после исчезновения Бориса, ставший на мою защиту, и, наконец, утвердившаяся в доме пятая после меня кормилица, средних уже лет Соня, привязавшаяся к Андрюше и хорошо относившаяся ко мне. Среди них я жила мои дни. Но и их мало прошло теперь в квартирке на Собачьей площадке: я не смогла там жить. Так тяжко мне было в тех комнатах, где бывал Боря Бобылев, где я помнила его то на диване, то у стола, то — идущего, улыбающегося, нежного, радостного, слушавшего чтение моих дневников и моей повести, любовавшегося Андрюшей, входившего и уходившего с Борисом... Чтобы справиться с этой смертью и жить дальше, быть матерью сыну, сестрой Марине, надо было переехать с той квартиры. Я сказала Миронову: «Мне надо другую квартиру. И надо — скоро, чтобы папа, придя, нашел уже все устроенным, чтобы не огорчать его ответами на вопросы, слухами. Папу надо щадить. Скажу, что удобней, что тут были недостатки — ему не нравилось, кажется, что все проходное и что окно столовой в потолке. Вы поможете мне, Николай Николаевич? Что Боря умер — папа слыхал».

Мы нашли квартиру — тут же, за углом от Собачьей площадки, в Борисоглебском, дом № 6*. Квартира была большая,

* В нем, но в другом, левом от ворот, флигеле с 1914 г. поселилась Марина, когда я уже **в** нем не жила. Несколько лет назад этот правый флигель сожгли. (*Примеч. автора.*)

шесть комнат, три передних — фасад первого этажа — остались пустые. Я заняла три задних, с выходом во двор. Вещи перевезли. В два светлых окна длинная детская, в два окна темней (смежно) — моя. Полутемная побольше с решетками на окнах — столовая.

Тогда ли? или еще раньше? сын старой няни зачем-то (в семье ли понадобилась?) увез ее к себе. Ее место заняла пожилая круглолицая добродушная, толстая Маша, кухарка. Узколицая, полногрудая Соня с хитрым веселым взглядом носила красавца Андрюшу, показывавшего по ее учебе «где наши птиченьки?» (ручкой на стену, где она повесила игрушечную птичку). Он уже говорил много упорных, неясных полуслов, звонко кричал, сжимал кулачки, сердясь, и капризничал. Я на швейной машинке шила ему байковое пальтецо и шапочку для прогулок — зимой я боялась его выносить. (Я не сказала, что по старинке его свивали, и он был счастлив, выйдя из этих длинных повязок мученья — в платьица и кружевные простынки.) Манную кашу он ненавидел пылко и с ней боролся умело, научась дуть в дудку (на седьмом месяце, в восторге, в ликовании от звука), он дул в кашу, и она разлеталась в лицо нам с Соней и об стену. При этом он ликовал — особенно, и личико его было насмешливо. Его веселая детская залита была солнцем, кажется, розовая. В моей комнате, куда от него вела дверь, иногда было сумрачно, когда солнечных лучей в окнах не было. Там стоял диван, крытый ковром, письменный мамин стол, маленький старый шкафчик старинного образца. На стене — портрет нашей юной бабушки, все те же, что на Собачьей площадке, парижские бра, венецианские бусы. Книги. Казалось, что тут живут — давно. Папа приходил, но я его приходов не помню. Приезжали Марина, Сережа, одобрили переезд, устройство. Марина утешала, входила во все. Любовалась Андрюшей. Весной, в тепло, они встретятся

с Алей. Аля уже больше его, говорит много слов. Кормилица Груша тоже уже прижилась.

Все дни после смерти Бобылева мы — Миронов и я, часто и Марина с нами — ездили на его могилу. Мы смастерили к кресту фонарь и зажигаем каждый раз в нем лампадку; издалека виден мерцающий огонек. На могиле был крест и венки — наш с Мариной голубой, незабудочный, лежал на холмике (или висел на кресте?). Мы мало говорили, Миронов и я. Но знали, что дружба — навек. Ему было, может быть, стыдно за Бориса, меня оставившего. Он покидал меня только на ночь. Он помог с отысканием квартиры, с перевозкой и расстановкой вещей. Мы были очень усталые — от малого сна тех ночей. И мы не могли и тут рано лечь, все ходили по полутемным комнатам взад и вперед, вспоминали Борю, Бориса.

Брат Андрей[26], узнав, что у меня есть свободные комнаты, собирался занять их на время — он купил дом, хотел его перестраивать на свой манер (думал жениться, может быть? Жил с папой в Трехпрудном). Но, сказав, медлил. И Миронов не оставлял меня.

Была глубокая ночь. Мы ходили. Наши шаги отдавались гулко; казалось, кто-то где-то идет, но я ничего не боялась с Мироновым. Я чувствовала, что еще никогда никто не был так добр ко мне, так рыцарственен. Чувство горя о Боре, тоски по Борису, благодарность к Миронову — сливались в одно, наполняя сердце до верха.

(Нет. Я боялась себе сознаться, что я смутно догадывалась, что Миронова я — люблю. Нельзя было теперь думать об этом, понять и назвать это. Могила Бори, исчезновение Бориса затмевали и это.)

Но была глубокая ночь. Маша, Соня, Андрюша спали. Мы были одни. На повороте (бессчетном) по пустым полам передних ночных комнат (путь к ним был через столовую; начинаясь поперечно, — продольно, сбоку), Миронов сказал медленно, тихо, одновременно решенно и безудержно:

— Ася, я должен сказать вам. Я думал. Я не могу ничего с собой сделать. Я вас люблю.

Это было признанье? Или названье беды еще новой? Кажется, так. Но голос его был полон такой силы (слова сознавались — в слабости), что, охваченная ею, как парус захваченный ветром, я ответила — а мы все шли и глядели вперед:

Николай Николаевич! Я чувствую большой восторг от ваших слов, хоть мне — страшно. Мне кажется, что я вас люблю, тоже...

Даже и от самой меня скрыт тот миг. Я не помню его слов мне. Но я знаю, что движенья друг к другу — не было: меж нас была смерть и долг (мой, к Борису). Но мы ходили, и счастье летело с нами, и ночь слушала нас.

Признанье было — прощаньем. Мы это поняли — оба. А на другой день, рассказав все Лидии Александровне[27], Драконне, я, вернувшись, полная ее предостереженьем и требованьем — они и во мне звучали, — сказала Миронову, что он должен уехать. Написать отцу в Сибирь, чтобы тот ему выслал (он занимал пост на железной дороге) — билет. А пока чтобы перешел к Марине и не приходил ко мне. Он не спорил. Согласился. Мы теперь друг на друга не глядели. Любовь и восторг от нее делали все — легким, даже разлуку.

Не возьмусь передать речь Миронова. Марину, Бориса, папу, других — слышу. К его речи прикоснуться не смею — искажу. Без конца говорили мы, ходя по дому, вечерние и ночные часы, когда все утихало; быт, как игральные кости в шкатулку, укладывался, потухал о ночь, все спали. Тогда — днем в недомолвках, во взглядах, в удержанном, в лихорадке, вздохе, просыпался наш разговор. У нас нет настоящего. Мы прощаемся (как тогда с Нилендером[28], когда уезжала с Борисом). И теперь я должна ехать с ним на хутор к отцу. И уеду. Чтоб не появился в минуту его оскорбленности,

одиночества — второй холм на кладбище. Но у нас — за это — где-то во мгле, впереди — цветет будущее!

Через годы? когда? будем вместе!.. И есть прошлое. Тот день моих четырнадцати лет на «Эрос и Психея» с Мариной, тот, за роялем, взгляд, неотвратимый... И медовой струей, в деготь клеветы, в горечь дней, — рассказ Миронова мне о его первой встрече со мной: я вошла с мороза, кудри и снег. Глаза, лицо, голос. Он шел навстречу. Знакомят. Рукопожатие. Борина жена! Нет! «Маленький лорд Фаунтлерой»![29] Любовь с первого взгляда — «Я вас полюбил навсегда, Ася...»

Он переехал к Марине, от нее узнавал обо мне. Ждал билета. Брат Андрей собирался ко мне. Борис выздоравливал (от первой операции). Я ждала к себе в гости папу, обещавшего в этот вечер прийти. Он не шел. На пороге стояла Маша, докладывая, что меня спрашивает пожилой господин.

Маша еще не видела папу. Я поспешила мимо нее — навстречу. В передней стоял грузный старик, мне незнакомый. Он тяжело смотрел на меня, глаза были выпуклые. Мне показалось (в эту ли минуту? позднее?), что он нетрезв. Маша ушла. Мы были одни. Он ступил ко мне, переспросил мое имя. Я подтвердила. Я не догадывалась. Он шел, и я стала спиной к стене, лицом к нему. Это было в пустой комнате, первой, куда должен был, опоздав, войти папа. Полная этим ужасом, я вошедшего — не боялась. Должно быть, это было в лице. Он подошел и долго молча, близко мне глядя в глаза, стоял передо мной. Его старые руки, дрожа, поднялись, и он стал, не отводя взгляда, трогать ими, немного сжимать перекрестно концы накинутого на мою шею боа — плоского, широкого, желтого, из куницы. Я думала только о папе — с ужасом о том, что же будет, если он сейчас войдет! Может быть, это, наоборот, было — недолго? Вошедший вдруг стал снижаться. Падать? Он опускался на колени и — снизу, сжав мои руки:

— Я — отец Бори Бобылева! — сказал он, — я пришел к вам... Я не знал. Нет, я знал! Ася! Боря так о вас говорил... Он говорил: «Ася — святая!» — Он зарыдал. — Я люблю моего сына...

Я подымала его. Мы плакали вместе. Я забыла, что должен прийти папа. Он уверял меня, что Боря прав, я — дитя и он верит, что я...

От него пахло вином. Но я не боялась, я была полна горем. Он говорил, что счастлив, что увидел меня, о которой так говорил его сын. Что мы — «вместе с вами — я и вы — поставим ему памятник на могилу».

Затем — сколько мы говорили? — он ушел. Я ходила теперь в дрожи по комнате. Папа в этот день не пришел. Я еле дожила до утра. Утром я попросила Александру Олимпиевну[30] передать к Марине — Миронову, что я прошу его ко мне прийти. Я больше никогда не видела отца Бори. Я ему раз звонила по телефону — о памятнике. Что-то не состоялось во встрече. Затем — я уехала из Москвы на лето. Потом были другие события и отъезд из Москвы — надолго. От Бориса? или еще от кого я услышала, что отец Бобылева шел ко мне с тем, чтобы меня убить.

Наступила весна. У меня еще был цел пузырек с цианистым калием — я, подержав его в руке, уничтожила.

Сколько у меня пробыл Миронов? Не помню. Он успокоил меня. В его любви, совершенно бескрайной, навек, все стало снова легко. (Без него я уж перестала верить, что он — есть.) Из больницы пришел ко мне Борис. Я сказала ему о Миронове. К нему, как и в иные дни наши с Бобылевым, — вернулась любовь ко мне. Он смотрел на меня глазами 1911 года, уверял, что я не могу его любить (как и тогда). Но это были — часы. Затем он менялся, делался совершенно другой (в нем, может быть, вспыхивало недоброе к Коле Миронову?), но и это проходило, и еще что-то шло на смену. Я уставала

ужасно. Жалость к нему (пережившему еще и физический нож, похудевшему) была вне мер. Я радостно сообщила ему, что Миронов скоро уедет. Говорила, что вновь будем вместе. (Говоря это, я внутренне умирала.) Он не верил. Я начинала плакать. Он смотрел на меня, как Леонардо на чертеж летательной машины или — на, может быть, рассеченный для изучения живой организм. Он ушел однажды наконец, со мной простясь, ласково, но я не пускала, не зная, куда идет, и до двери черного хода шла за ним (не сделает ли что над собой), залитая слезами, еле держась на ногах.

Он ушел. Онемев, устав до предела, я рухнула на диван и заснула. Я проснулась от тихого стука в окно: это был он. Вернулся? Я бросилась открыть. Он остановил меня не входя, на пороге: «Нет, я сейчас уйду. Я только хотел посмотреть, все ли еще вы плачете или уже успокоились? Вы спали. Прощайте. Я ухожу». Я схватила его руки. Он вырвал их. Не слушал. Шаг стихал. Я рухнула в поток слез.

В Столешниковом переулке мою руку взяла цыганка. Насильно. Всплеснулся голос. Она мне сказала, что я пережила смерть, недавно. Умер молодой, светлоглазый. Меня любил... Я шла, вырвав руку. Была сияющая весна.

Брат Андрей переехал ко мне и заболел. Дал мне адрес: Вера Ивановна Т-цкая. «Съезди, скажи, что я болен. Не зови. Как хочет». Я поехала. Высокая белокурая, в слезах вышла ко мне:

— Мы любим друг друга, но у меня муж, ребенок. Приду, но — ...

— Не могу советовать, — сказала я ей, — но я только что пережила самоубийство друга. Берегите его. Обоих! Все очень страшно.

Вечером она приехала к Андрею.

Я не знаю о них ничего.

Из дневника[31].

Это было три года назад. В Москве стояла весна. В тихом Борисоглебском переулке в часовне горела лампадка перед ликом старого святого. Я часто молилась ему, встав на колени у окна, в одной из передних комнат, среди груды книг, лежащих на полу. Мне было восемнадцать лет. Андрюше было семь месяцев. Б. был где-то вдали — не то в больнице, не то у матери — наша жизнь с ним была порвана; во что сложится жизнь, что со мной будет, — я не знаю в своей жизни другой такой смутной поры.

Я была всеми брошена. Миронов, вставший тогда на мою защиту и полюбивший меня, — по просьбе моей только что уехал в Иркутск, и был еще туман от дней, от безумного напряжения разговоров, бывших с ним. И мои восемнадцатилетние плечи вынесли все без малейшей помощи — гибкостью, покорностью, чудом!

— Смотрите, каким цветком распустился шатавшийся стебелек, склонявшийся ниц, к евангелию, к добру, перед лампадкой.

По вашим приговорам, по всеобщему осуждению, я, как по лесенке, взошла наверх, — где прекрасно! — и солнце ласкает атлас моих лепестков, и небо широко надо мной!

Борис и я ходим по тем комнатам, где я ходила с Мироновым. Поздно, темно. Наши шаги раздаются по пустым полам, и кажется, что кто-то ходит в дальней комнате. Мне жутко. Борис бледен. Его тонко очертанный профиль пронизан прислушиванием. Ноздри дышат — в волнении. Я взглядываю на него. Он думает о том же. Холод трогает наши сердца, шевелит волосы. Лицо Бориса становится почти вызывающим. (С таким лицом он пошел потом на войну. Но тут война объявлялась нам — незримо? Только одним слухом слышимая.) Кому из нас стало стыдно, что забыли, какой добрый был Боря, ушедший... Чьей доброй силой мы себя взяли в руки, пришли в себя?

Было 21 марта 1913 года. День отъезда Миронова.

Чудный весенний день. Не помню, как мы встретились, долго ли были вместе. С того пятьдесят один год. Я помню: мы едем на вокзал в автомобиле. Я провожаю. Лицо любимей, нужней всех — рядом. То профиль — большой прямой нос, худая щека, выступ губ; твердый юношеский еще подбородок. Темно-золотой родной глаз. То — поворачивается ко мне лицо нежной юношеской худобы, вверху шире, резко сужаясь книзу. Маленький, твердо и добро сложенный рот. Крылья бровей брошены по надбровью. И ни с кем не сравнимый, упоенный восторгом взгляд. Я не вижу глаз, я утонула во взгляде — их душе. Огромное сердце рядом полно мной. Мы в бездне. Из нее говорит голос:

— Ася, нам нельзя вместе жить, но мы вместе умрем... И где бы мы ни были — мы позовем друг друга...

Комментарии

[1] Ср. стихотворение М.И. Цветаевой «Рок приходит не с грохотом и громом...» (в кн.: Цветаева М.И. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 1. М., «Элис Лак», с. 327). В собр. соч. не комментировано; имеет дату 16 ноября 1916 года. Отличается в записи А.И. Цветаевой первым словом.

[2] Б о р и с — Трухачев Борис Сергеевич (1892-1919), первый муж А.И. Цветаевой. О нем см. в кн.: Цветаева А. И. Воспоминания. М., «Советский писатель». 1984, с. 368 и далее, а также в романе «Amor», с. 155 и далее, под именем «Глеб».

[3] Б о р я (Б о р и с) Б о б ы л е в (1892-1913) — см. о нем в кн.: «Воспоминания», с. 480-488.

[4] М и р о н о в Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1893-1951) — о нем см. в предисловии к настоящей републикации, а также в романе А.И. Цветаевой «Amor» (М., 1991, с. 115 и далее), где он выведен под своим именем.

[5] «Э р о с и П с и х е я» — пьеса польского драматурга Юрия Жулавского (1874-1915), шедшая на сцене театра Корша.

[6] ...с нами едут и Эфроны, и П р а. — Эфроны — муж М.И. Цветаевой — С.Я. Эфрон (1813-1941), его сестры — Эфрон Е.Я. (1885-

1976) и Эфрон В.Я. (1888-1945). Пра – Е.О. Кириенко-Волошина (1850-1923), мать поэта М.А. Волошина.

[7] А л я – Ариадна Сергеевна Эфрон (1912-1975), дочь М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона.

[8] А н д р ю ш а – А.Б. Трухачев (1912-1993), сын А.И. Цветаевой.

[9] П а п а – И.В. Цветаев.

[10] С е р г е й Л ь в о в и ч – С.Л. Толстой (1863-1947), сын Л.Н. Толстого. Старая няня ранее, до службы у А.И. Цветаевой, служила у него.

[11] Эпизод крещенского гадания дан в кн.: «Воспоминания» (1984), с. 486 – одним абзацем, который заключает сдержанное замечание, что на Б. Трухачева и Б. Бобылева встреча эта «произвела какое-то тягостное впечатление».

[12] Е л е н а М о л о х о в е ц – автор широко принятой в русском обиходе кулинарной книги «Подарок молодым хозяйкам».

[13] Эпизод, в котором рассказывается о комическом происшествии, связанном с «задней частью дикого вепря», см. в главе «Дикий вепрь» в «Воспоминаниях о Марине Цветаевой» М.И. Кузнецовой-Гриневой («Россияне», 1992, № 11-12, с. 16).

[14] Упоминание об издательстве «Оле-Лукойе» внесено в «Воспоминания» А.И. Цветаевой несколько в ином контексте (см. с. 485).

[15] К а т о к П а т р и а р ш и х п р у д о в – там А.И. Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Б.С. Трухачевым. Об этом см.: «Воспоминания», с. 367 – «Встреча на льду».

[16] Темой «Идиота» и «Братьев Карамазовых», настроением и тоном Ф.М. Достоевского проникнута юность А.И. и М.И. Цветаевых, об этом часто – в «Воспоминаниях».

[17] «Г о л о с П с и х е и...» – здесь: голос души.

[18] Две строки из стихотворения А.А. Блока «В углу дивана...» (из цикла «Маски», 1907).

[19] Имеется в виду многолетний конфликт Маруси, М.С. Трухачевой (? – 1919), с ее родителями. Об этом см.: «Воспоминания», с. 493.

[20] М и л а и Н о л л и – герои одноименной сказки Н.П. Вагнера (см.: Вагнер Н.П. Сказки Кота Мурлыки. М. «Паллада». 1992, с. 41-53).

[21] Эпизод об уничтоженной повести вошел в «Воспоминания» (с. 486-487). Повесть без названия имела дневниковый, автобиографический характер. Подобная судьба постигла несколько произведений А.И. Цветаевой, среди них – повесть «Скарлатина», книга о В.В. Розанове. Уничтожения эти имели для автора жертвенный характер и являлись кульминациями самых трагических периодов ее жизни в молодости.

[22] Строка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...».

[23] Галя (Галина) Дьяконова (1894-1976) – гимназическая подруга А.И. Цветаевой, будущая жена П. Элюара, затем С. Дали, о ней см.: «Воспоминания», с. 243 и далее.

[24] Кланя Макаренко – одна из подруг детства А.И. Цветаевой по жизни в Тарусе. См. упоминание о ней: Цветаева А. Таруса. – Газ. «Культура», 1993, 11 сентября, с. 12.

[25] Эпизод отравления, самоубийства Б. Бобылева дан в «Воспоминаниях» (с. 487) только в форме фактического упоминания.

[26] Брат Андрей – А.И. Цветаев (1890-1933), брат А.И. и М.И. Цветаевых по первому браку отца.

[27] Лидия Александровна Тамбурер – приятельница матери сестер Цветаевых, их добрая, доверенная подруга, родная душа, советчица. О ней см. у А.И. Цветаевой в «Воспоминаниях» (с. 256) и в очерке М.И. Цветаевой «Лавровый венок».

[28] Нилендер В.И. (1883-1965) – переводчик Гераклита, знаток древних языков и литератур, друг юности сестер Цветаевых; ему посвящены стихи М. Цветаевой в первом сборнике «Волшебный фонарь»; о нем подробнее см.: «Воспоминания», с. 304 и далее.

[29] «Маленький лорд Фаунтлерой» – образ из одноименной повести американской писательницы Френсис Бернет, памятный сестрам Цветаевым с детства. Образ этот стал своего рода «паролем» любви А.И. Цветаевой и Н. Миронова (ср. стихотворение А.И. Цветаевой «Н. Миронову», приведенное в предисловии).

[30] Александра Олимпиевна – экономка в отцовском доме сестер Цветаевых. О ней см.: «Воспоминания», с. 496 и др.

[31] «Из дневника» – фрагмент из второй книги А.И. Цветаевой – «Дым, дым и дым. 1916» (М., 1916, с. 175). Приводится автором без изменений, дословно.

ПЕРВАЯ КНИГА АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

Чувство потери. Рано возникло оно у сестер Цветаевых. Расцветала грусть – каждый миг выпить до дна, каждую каплю заронить па дно души, чтобы не растворилась бесследно. От чувства потери – восприимчивость, глубина памяти, способность входить с головой – в судьбу человека, в книгу, в день впечатлений...

«С первых лет, – пишет А. Цветаева, – мы начинаем разговор друг с другом и с мамой «А помнишь...» У нас (и у мамы, должно быть) сосет тоской по всему, что было, что живет уже только в душе; что – «прошло»[1]. И в четырнадцать лет, наслаждаясь тарусской природой, дружбой, окунаясь в первые, полудетские увлечения, Анастасия Ивановна часто оглядывалась в прошлое, не стремилась в будущее: «Я глядела на себя со стороны, понимая, идет самая лучшая пора жизни. Я не хочу вырастать»[2]. Умение глядеть на себя со стороны – качество высокое, умное. А что углубляет умение это более, чем день за днем заполняемый дневник, бескорыстный друг и исповедник?

Дневник – ларец памяти – сохраняет прожитое. Дневник у человека талантливого – поле самоанализа, причудливый двойник, он всегда – дитя одиночества. Тетрадь за тетрадью вела дневник мать сестер Цветаевых, Мария Александровна. В записи поселялась романтическая душа ее любви, трагической, прерванной во имя долга. Вслед за матерью Анастасия Цветаева с двенадцати лет стала вести дневник. Его первые страницы были – как начинающему художнику этюды с натуры. Они наполнены стремлением заглянуть глубже в зеркало собственной – с собой – откровенности. Но одновременно они – первая проба писать художественно. Я

[1] Цветаева А.И. Воспоминания. М., 1984. С. 25.

[2] Цветаева А.И. Несколько слов о друзьях-писателях // Даугава. 1986, № 11 (113).

спрашивал Анастасию Ивановну о ее дневнике. Она отвечала: «Я не ложилась спать, пока не повторяла (письменно) день, в который многое было пережито. Писала, сжигала себя до рассвета. Днем не было времени писать, нужно было жить...»

Читая старую машинопись «Воспоминаний» Анастасии Ивановны, наткнулся на патетическую речь, к дневнику обращенную: «Как Марина любила тебя! Как она восхищенно слушала твои страницы, всегда неожиданные, вечно — новые, по-сестрински влюблявшие ее в меня... И мы твердо знали тогда, что когда-нибудь позже, может быть в мои зрелые годы (в те, когда «взрослые» женщины знают толк в кружевах и блещут гордой осанкой), я этот дневник издам — начну издавать том за томом и отдам всем мою жизнь день за днем, ночь за ночью, горький хмель юности, любви, расставаний, возрождений, смертей... Воскрешу жизнь, якобы улетевшую, и, конечно, загремит мое имя, как гремело имя Башкирцевой, только крепше, честнее... полнее — потому что я ничего не прячу, все пишу, ничего не приукрашиваю и такого дневника «Еще никогда не было», как сказала о нем Марина. Но Мария Башкирцева тщеславилась. Я — нет. (Мне было горше.)»

С детства, с юности судьба приносила Анастасии Цветаевой испытания. Смерть матери, смерть отца. Всю жизнь — расставания, разлуки с дорогими ей городами, друзьями. Трудный недолгий брак с Борисом Трухачевым — насмешливым, романтичным, отрешенным, неуловимым. И — еще более углубившееся после рождения сына чувство одиночества, оставленности. Вспыхнула зарницей на миг встреча с когда-то любившим ее В. Нилеидером... «встреча-прощание». Налетел шквал чувств к Николаю Миронову, к которому и у сестры неровно билось сердце. Его томный бархатный голос, гитара, нрав порывистый, цыганский, «сумасшедшая романтика преданности». Но и с Мироновым расставаний было больше, чем встреч. Утешала только трогательная, возвышенная дружба с Борисом Бобылевым, студентом-химиком...

В «Воспоминаниях» – эпизод: чувствуя, что брак с Борисом Трухачевым разрушается, она предала огню по живым следам жизни написанную повесть, где героиня – она сама, Трухачев, Бобылев.

Ясна жертвенность ее шага перед предчувствием неотвратимой, еще неясной, но страшной судьбы… Это ее первая, но не последняя книга, которую постигнет подобная участь. Немало их будет за жизнь.

Грусть, безнадежность. Эти чувства близки были и Бобылеву, который пришел однажды к Анастасии Цветаевой, принес яд – предложил вместе уйти из жизни. Говорили о последнем шаге, о смерти. Ушел он один, покончил с собой. Смерть Бобылева потрясла всех, кто его знал. О нем Анастасия Цветаева скорбела до последних дней, а тогда, избегая мучительных воспоминаний о погибшем друге, она переехала из дома, в котором жила…

Молодежь много думала о смерти. Много было разбившихся о скалу отчаяния жизней. Самоубийств. Марина Цветаева собиралась за три года до того, в 1910-м покончить с собой. И темой ее юношеских стихов часто – среди весны, детства – смерть:

…Ты дал мне детство лучше сказки
И дай мне смерть в семнадцать лет!..
…Послушайте, еще меня любите,
За то, что я умру…[3]

Ветер, вечность… Поветрие времени… Дневник-исповедник, продолжаясь, все так же (и еще глубже) оставался для Анастасии Цветаевой размышлением постоянным о смысле жизни. И – все отчетливее в нем мысли… о неверии в Бога. Ослабла до последней тонкой жизненной нити религиозность, которая

[3] Цветаева М. Собрание стихотворений, поэм и драматических произведений: В 3 т. М., 1990. Т. 1. С. 82, 194.

и раньше была в сестрах не слишком глубока. Разве что в детстве, когда жарки и искренни были их с Мариной молитвы в пансионе сестер Лаказ в Лозанне. «Я рисую костер, столб и привязанную фигуру. Это – я. Над костром руки и слово Jesus! Jesus!, – записала о том своем «католическом» времени Анастасия Ивановна[4].

К 1913 году вера стала таять как лед на солнце. Молитвы творились все реже и реже после смерти отца. К 1914 году религия вовсе отступила…

Из дневниковых записей – московских, петроградских, крымских – родилась составленная из размышлений-фрагментов… атеистическая книга.

«Королевские размышления»…

На титульном листе моего экземпляра «Королевских размышлений» Анастасия Ивановна сделала в 1986 году такую надпись:

«Дорогому Ст. Айдиняну, на добрую память о заблуждениях моей юности». Но тогда, в 1914-1915 годах, она твердо верила в идеи, «заложенные» за обложку се первой книги. Спорила со всяким, кто идеи эти считал заблуждением…

«Королевские размышления» – книга большого одиночества и большого отрицания. Когда читал ее, вспоминалось двухстрочие из стихотворения Вячеслава Иванова:

Не по-людски и не по-божьи
Уединенная душа.

Книга «укутана» одиночеством. Чужды те, кто не разделил неверия и мятежного богоотступничества, чужды те, кто не понял, что все – безнадежно… Вслед за Иваном Карамазовым, любимым героем у Достоевского, она, юная девушка, говорит «граду и миру» – «Не принимаю!»

---

[4] Из машинописи первого, не сокращенного редактором варианта «Воспоминаний», с. 155 (см. А. Цветаева «Воспоминания», в 2-х тт, «Бослен», 2008, Т. 1, с. 218).

Ее отрицание искреннее, выстраданное и – детски-логичное. Не удовлетворяет молодого философа сама религиозная идея мироустройства: «Неужели бог, создавая человечество, не мог выдумать для него иного пребывания, чем шарик среди пустоты, который вдобавок еще и летит? Что за нелепость!»[5] – восклицает она, отстраняясь. Бог, как его представляла А. Цветаева, создал людей и забыл о них, унесся куда-то в запредельность Вселенной. Но даже это утверждение – лишь художественный прием, допущенный на пороге полного отрицания...

В книге есть фрагмент: «...Для бога нет ни добра, ни зла. Иная мерка у него ко всему. Следовательно, бог вне нравственности». Прочтя, вспомнил о разговоре нашем с Анастасией Ивановной о «Королевских размышлениях». Я спросил, как отнеслась цензура к выпуску столь смелой тогда книги? «Меня вызвал цензор, – рассказала она. – Сокрушался, что я, дочь профессора Цветаева, имею такой, несходный с отцом ход мыслей. «Батюшка наш не пропустит вашей книги, Вы пишите – Бог выше добра и зла, значит он безнравственен!» Но священник с терпимостью отнесся к противоположному ему мировоззрению, согласился на вариант: «Бог вне нравственности». Книге дали напечататься. За ее выходом следил и правил корректуру В.О. Нилендер. Он и привез «сигнальный», как в наши дни говорят, экземпляр тиража на вокзал, куда прибыла, возвращаясь из Варшавы, Анастасия Ивановна. С розой и книгой встречал Нилендер ее, похудевшую, только что переболевшую скарлатиной...

Это было в 1915 году.

Из Варшавы она привезла не дошедшую до нас, но кратко сюжетно воссозданную в неопубликованном тексте «Воспо-

[5] Цветаева А. Королевские размышления, 1914 год. М., 1915, С. 19. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием в скобках страницы.

минаний» повесть «Скарлатина». Повесть была о бесплотной дружбе-привязанности к молодому человеку, которого героиня называла Дориан. Дориан не был вымышлен, настоящее его имя – Николай Павлович Симанский, молодой офицер. Познакомились в Варшаве, в больнице. Как видим, и здесь принцип творчества тот же – дневниковый, автобиографический…

Зимой 1914 года, когда из дневниковых фрагментарных записей строились, возникали «Королевские размышления», А.И. Цветаева посещала лекции в Народном университете Шанявского. Изучала философию – новую и древнюю. Новую читал профессор Шпет, древнюю – Рачинский. Запомнила из профессоров еще Виноградова.

В ней созрел замысел (неосуществленный) – создать книгу о философах-атеистах и материалистах от времен оных до начала нашего века.

«Королевские размышления» – сочинение философское. Пожалуй, направление полета философского «ядра» книги выражено в таких словах; «…Мое несходство с другими и мое кристальное первенство; моя «бесконечность» не стоит наряду… – «с субстанцией», «волей», «пребыванием», не стоит, потому что я же ничего не разрешаю. Вся моя философская система сводится к констатированию бесконечности. Я в мою бесконечность вмещаю и бога, и разум, и apriori, и эмпирический мир, пребывание и движение, я ни единого учения не отвергаю, я допускаю, что все они правы. Я допускаю (еще глубже), что, действительно, прав кого-нибудь из них (хоть Кант, хоть Платон, хоть Спиноза) – но говорю: вкруг этого бесконечность. И от этого не уйти…» (с. 73-74). Таким образом осознается относительность философского знания перед лицом беспредельной бесконечности.

На пути познания нет границ. Так что для человека никакая идея – не навсегда. Потому что за облаками видятся иные миры, где та же идея – ложна… Или – вариации

истинности бесконечны… Вот на какие размышления наталкивают размышления «королевские».

Именно мысль о бесконечности в «Королевских размышлениях» рождает чувство безнадежности: «Если у неба нет конца, оно бесконечно; если бог есть, он в бесконечности; все — часть бесконечности. Поэтому все безнадежно и бесконечности не уничтожить никогда».

Жажда объять необъятное гаснет в мировой скорби, однако создательница «Размышлений», предчувствуя философскую относительность и своих собственных утверждений, пробует, размышляя, войти в диалог с собою. Ее Ego отрицающее мрачновато названо «Некто». Некто говорит:

— «И неужели не чувствуете вы, что ваше успокоение на лаврах своего сознания тождественно с успокоением каждого философа, против которого…

Я. Знаю и это.

Некто. Потому что каждый, предложивший свой ответ, был для себя богом. Для Гераклита не было ничего, кроме движения. Для Парменида — кроме пребывания. Для Шопенгауэра — кроме воли. Для вас — кроме безутешности. Вы говорите: есть пустота. Были такие, которые говорили: нет пустоты.

Я. Знаю. Все знаю».

Столь последовательна А. Цветаева в отрицании, что если отрицает все существующие системы познания, то, следом за ними, и свою собственную.

Если быть последовательным во вселенском отрицании, надо уничтожить «ценности». Основная ценность — жизнь. Жизнь духовная, душевная, физическая. Отвергая эту основную ценность, А. Цветаева, вслед за Фридрихом Ницше, допускает самоубийство. «Самоубийство — самая естественная смерть» (с. 41), — пишет она. Мы говорили с Анастасией Ивановной о допущении в «Королевских размышлениях» самоубийства. Она сказала: «Макса (Волошина. — *Ст. А.*) я

убеждала, что нас прислали насильно жить и мы имеем право уйти, когда хотим...» И добавила: «Теперь я вижу, что чувство жизни во мне было сильнее, чем все рассуждения».

У сестры ее, Марины Цветаевой с юности в душе жил своего рода процесс – дума о самоубийстве. Именно такое вчувственное думание, размышление о своем насильственном конце, утвердившись в душе, став привычкой, второй натурой, рано или поздно должно в отрицательных условиях откликнуться импульсом – осуществлением. Самоубийством. Так с М. Цветаевой в 1941 году и случилось.

Для Анастасии Цветаевой самоубийство было более теоретическим допущением, одним из постулатов ее философии нравственной свободы и утверждением «пафоса безнадежности». Хотя, не повернись потом ее жизнь в иное русло веры и бытия, – как знать...

В «Королевские размышления» включен полемический разговор с «М. В-нымъ» – Максимилианом Волошиным. Анастасия Цветаева держит в разговоре позицию полного отрицания «жизни после смерти», защищает возможность самоубийства, как волевого и самостоятельного акта ухода из жизни. Волошин, напротив, с позиций антропософских, с верою в бессмертие говорит о тщетности такого шага – «смерти нет, и дальше будешь мучиться тем же, чем ты мучилась, кончая с собой» (с. 26). Анастасия убеждает Макса в обратном – в том, что никто и ничто не заставит ее жить ни по смерти, ни при жизни, если она отвергает существование. На это Макс остроумно ей возражает: «Тебя возмущает то, что видишь, и ты у себя вырываешь глаз. Но ведь это продолжает существовать» (с. 29).

Он говорит об ином понимании Бога. Не как «высшей и чуждой силы», а как чувства бога в себе... Приводит легенду о Браме: перед Брамой явилась новопреставленная душа и Брама спросил душу, хочет ли она быть в следующих воплощениях шесть раз святым или два раза дьяволом... Душа в

ответ: «конечно, дьяволом!» Из легенды следует, что пути достижения различны, цель – одна. И тот, чей путь – отрицание, тоже придет к свету. В легенде призыв – принять зло как ношу, как испытание и преодолеть его в себе. Все тщетно. Из души Аси, друга Макса, его собеседницы, бьет ток неприятия. Ее герой тот, кто отвергает посмертье. И идею искупления мира она не приемлет. У нее своя бесконечность, у Макса – своя.

Разговор для начала века характернейший.

М. Волошин исходит из идей мировой оккультики и антропософии Рудольфа Штейнера, разрабатывавшего пути сверхчувственного эзотерического познания мира, проникновения в иные измерения. В учении доктора (так называли Штейнера) есть элементы раджа-йоги и тайных, «сокровенных» знаний мировых религий. М. Волошин ездил к Штейнеру в Дорнах. Оставил о Дорнахе воспоминания. Правда, не столь обширные, как «Воспоминания о Штейнере» А. Белого... Марина Цветаева в ее известном очерке «Живое и живом» говорит, что Макс был посвященным[6].

В противовес М. Волошину и «сиявшему», как выразилась А. Цветаева, за его плечами Штейнеру, собственные воззрения Анастасии Ивановны тех лет вели по пути сходства к книгам Ф. Ницше. От Ницше в «Королевских размышлениях» бунт против антиномий добра и зла. От Ницше – пафос отрицания, апология самоубийства... Но атеист-Ницше все же устремляет к цели, лежащей вне пределов человека. Его «сверхчеловек», о котором на рубеже веков было столько написано и сказано, это – прежде всего стремление к совершенствованию. Эгоистически-человеческое стремление, но стремление созидательное. Человек должен преодолеть себя на пути к богоподобному, высшему человеку.

---

[6] Цветаева М. Проза. Кишинев, 1986. С. 257.

В дневнике 1901 года Андрей Белый писал: «Сверхчеловек – это тоска. Сверхчеловек – это заря. Сверхчеловек – это соблазн на пути к желанному обновлению»[7].

Только как раз эволютивного начала ницшеанства Анастасия Ивановна не приемлет: «Сверхчеловек уже потому бесцелен, что он путь от человека к богу. От одной бессмысленной вещи – к другой (июль 1914, Коктебель)» (с. 23). Герой Ницше, пророк Заратустра, ей кажется непоследовательным. Не должен он проповедовать будущее, надо исключать всякую надежду. Безнадежностью хочет она увенчать Заратустру. Она решает, и в этом замысле нет ничего невероятного, кроме дерзости, дописать пятую и шестую части «книги для всех и ни для кого» Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», с тем, чтобы в духе позднего Ницше довести Заратустру до идеи «вечного возврата»: все уже было и повторится, нет ничего нового под луной. Заратустра перестал бы звать, он уже не был бы проповедником, но горьким пророком. И последняя грань – в книге должна была быть «прекрасная смерть» и совсем не было бы надежды.

Так она хотела подвести Заратустру к молчанию, к идейному концу. Неизвестно, как сам Ф. Ницше отнесся бы к такой метаморфозе, но в его книге о грустном пророке есть и такие, совсем не «королевские» слова: «Едва родились они, как уже начинают умирать и жаждать учений усталости и отречения... Но только они сами опровергнуты и их глаза, видящие одно лицо в существовании»[8].

Что же Ницше, против? или, может быть, только в последний период жизни и мысли – за?

То, что Анастасия Цветаева намеревалась сказать в недописанных частях «Так говорил Заратустра», она очень кратко дала в «Королевских размышлениях». Я спросил Анас-

[7] Белый А. Юношеские дневниковые заметки // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник – 1979. Л., 1980. С. 125.

[8] Цит. по: Успенский П.Д. Внутренний круг. СПб., 1913. С. 50.

тасию Ивановну, может быть слова о намерении дополнить Заратустру – лишь прием, использованный, чтобы полнее поведать об идее отрицания, отречения. «Нет, – отвечала она, – намерение было серьезно, – но жизнь, наставшая война и трудности помешали. Уже было не до того...» Сказала и замолчала, задумалась о прошлом.

В философской системе отрицания Анастасии Цветаевой Ницше, за отсутствием у него постулата о полной безнадежности, отходит на второй план. Она даже пишет о нем: «Ты пишешь книгу о грозе? Не лучше ли – выйти постоять под грозой? Ницше? Он сам был слаб и неправ. Поняв идею каната над бездной, о ней не надо было писать! Надо было просто скорей начать танцевать на канате, пока не закружится голова» (с. 25). Здесь у А. Цветаевой противоречие, ибо сама жизнь все-таки уподобила Ф. Ницше «канатному плясуну», образу из его же книги о Заратустре. Жизнь «перепрыгнула» философа, шедшего по тонкому канату мысли. Разум его закружился и полетел в бездну. Ницше сошел с ума. А «Королевские размышления» утверждают: «Гениальнее шага, чем сойти с ума, не придумать во веки веков». Так что, соответственно воззрениям самой создательницы «Размышлений», тщетно упрекать Ницше в том, что у него на канате «не закружилась голова». А когда это случилось – не все ли равно?

Отрицание... Отрицание разума... Это на крутом повороте из прошлого в будущее скрипит старое колесо *нигилистики*. Но здесь и новое – безнадежность мира предполагает безнадежность разума и вершина безнадежности разума – безумие!..

Но... несмотря на все декларации одиночества и безнадежности, «Королевские размышления» не окончательно мрачная книга. Напротив, в ней даже задорное, неповторимое обаяние бунтарского, талантливо отрицающего полета в жизнь...

В «Размышлениях» – изящным пером – прекрасный стиль, несколько более строгий, чем в позже написанных

книгах. Книга, при бессюжетности, – неожиданная: посреди рядов и перекрестков отрицания вдруг – идиллическое, аристократическое даже, изображение дома в деревне. Дома для размышлений, «королевских» конечно... Или – падением звезды в темном небе – такое признание: «О как на лесенке моей безнадежности я верю в людей! Никого не проклинаю. Подхожу к бездне и верю в людей. Вижу бездну и верю в людей. И если когда-нибудь полечу в бездну – все так же буду верить в людей». Как видите, никакой мизантропии!

«Люди глубоки и чисты.
Всего – через край.
Счастья, блеску, содержания так много!»

В действительности, если посмотреть беспристрастно, отрицание философски не безнадежно. Те, которые достаточно сильны, чтобы довести отрицание до конца, приходят в результате к отрицанию собственного отрицания, к осознанию необходимости другого, нового отношения к жизни. Вот так отрицание мыслится гипотетически творчески-осветленным прологом в будущее. Главное – сохранить душу, энергию. И душа, энергия из жизненного круга притянет и идею, и цель...

Мальчишеский негативизм проходит, как детская болезнь. Через годы Анастасия Ивановна говорила о своей первой книге: «Я пыталась вместить Бога в мою голову. Он туда не помещался, и я объявила его несуществующим».

«Королевские размышления» написаны в то время, когда мосты в прошлое сожжены, а в будущее не построены. Человек в одиночестве с башни собственного разума смотрит, как мечется страдающее, ищущее его «Я».

Конечно, такие книги характеризуют эпоху, накал интеллектуального поиска. Они – как в свете молнии – освещают порывы мысли – от самого астрального идеализма до крайнего материализма. С другой стороны, такие сочинения

противоположны эпохе в смысле стремления не идти слепо на поводу уже созданного, они – взмах крыльев молодости, они – бег вперед, пусть даже путь ведет в бездну...

В раздумьях над «Королевскими размышлениями» я удивлялся уму двадцатилетней девушки, создавшей, несмотря ни на какие «но», философски самостоятельную концепцию атеистического нигилизма. Эллис, бывший другом А. Цветаевой и вскользь упомянутый в книге, говорил, что «Ася умна, как три самых умных сорокапятилетних мужчины». И был прав.

Нельзя забыть упомянуть о том, кому «Королевские размышления» посвящены. Маврикию Александровичу Минцу, второму мужу А.И. Цветаевой, мягкому, умному, образованному человеку, самому преданному из друзей жизни Анастасии Ивановны. Он разделял убеждения «Королевских размышлений», восхищался ими. Прожили супруги вместе очень недолго. В 1917 году Маврикий Александрович умер внезапно от гнойного аппендицита.

Уже в 1989 году, когда оттенком удивления проскальзывало во мне осознание, что говорю я с автором книги, вышедшей во время Первой мировой войны, Анастасия Ивановна сказала, что позже, в 1919 году, написала книгу-опровержение на «Королевские размышления». В ней было не отрицание, наоборот – утверждение духовной стороны жизни... Но напечатать это своеобразное «обратное» продолжение к «Размышлениям» так и не смогла. Война, потом – революция...

Ответ на королевские по пафосу и детские по неприкаянности «Размышления» исчез, не войдя в наши дни. Но сами «Королевские размышления» в потоке русской философской прозы начала века – одна из блестящих, звонких, трагических Капель.

О ГЛАВЕ «АЛЕКСАНДРОВ» ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

«Воспоминания» А.И. Цветаевой всесторонне уникальны. Поэт Павел Антокольский сравнивал их с «Детством Отрочеством Юностью» Льва Толстого. По художественным достоинствам, по психологической тонкости, они занимают особое место в русской литературе; наряду с мемуарной трилогией Андрея Белого, считаются особым, неповторимым опытом прозы среди многотомного наследия мемуаристики, отразившей Серебряный век.

«Воспоминания» выдержали несколько изданий. Впервые фрагменты были опубликованы в «Новом мире», в №№ 1 и 2 в 1966 году, потом последовало ставшее сразу элитарной редкостью первое издание, вышедшее в издательстве «Советский писатель» в 1971 году. Многие стремились его прочитать, поскольку для выпуска были выбраны те главы, где в фокусе повествования главной героиней выступает Марина Цветаева. В те годы творчество поэта было полузапретным, «нерекомендованным» идеологическими государственными инстанциями. Все, что касалось поэзии и судьбы старшей сестры Анастасии Ивановны, было окружено притягательным ореолом таинственности, отмечено роком загадочной гибели… Однако уже тогда было понятно, что эта книга – не просто «свидетельские показания» о судьбе старшей сестры, а нечто художественно большее…

Второе дополненное издание 1974 года текстуально особенное, так как отличается от первого и от последующих некоторыми страницами, главами.

Третье издание, дополненное еще более существенно, было издано стотысячным тиражом в 1983 году. В году следующем, 1984-м, «Советский писатель», не меняя ничего, кроме даты выпуска и выходных данных, вновь предпринял дополнительную допечатку, считающуюся изданием четвертым. Интерес

ко всем тем изданиям был огромным, и они расходились мгновенно. В третье (и четвертое) издания включены наряду с совершенно неизвестными и главы, выходившие в периодике, в журналах «Москва» в №№ 3, 4, 5 1981 года, «Даугава», № 7, 1980 года...

Через более чем десятилетие, в 1995 году, издательство «Изограф» в содружестве с Домом-музеем М.И. Цветаевой в Москве выпустило на долгие годы наиболее полный 860 страничный свод «Воспоминаний» против 768 страничного предыдущего.

Однако и это далеко не полное издание. В издание последнее не вошла, например, глава «Николай Миронов», она появилась отдельно в «Новом мире» в № 6, 1995 года. Существали и другие части, не публиковавшиеся. К их числу относилась глава под названием «Александров», охватывающая события с осени 1915 по лето 1917 годов. В пятом издании 1995 года этот период представлен в разделе «Молодость» маленькими главками – «Александров. Развод с Борисом» с. 602-604, «Алес Закржевский. Мое горе» с. 604-607, «События. Майя. Марина и Мандельштам. Борис и фронт» с. 607-610, «Поездка в Петроград. Смерть Маврикия и Алеши», с. 610-612. Итак, весь период, вмещенный в главки, как видим, насчитывает всего десяток книжных страниц, в силу сокращения вольно и невольно переработанных, информативно сжатых, лишенных цветаевской эмоциональной изобразительной широты...

Редакторская работа и сокращения повторяющихся мотивов в огромном полном тексте мемуаров были, конечно, необходимы. Но, по словам М.И. Фейнберг-Самойловой, редактора всех первых пяти изданий «Воспоминаний», сокращения большей частью были вынужденные, так как делались по требованию издательства, строго диктовавшего лимит объема. Маэль Исаевна, будь ее воля, не исключила бы из текстовой протяженности целые прозаические «мили», насыщенные

жизнью, высокими накатами «девятого вала» чувств, без которых немыслима проза сестер Цветаевых…

Глава «Александров» – воссоздает дух предреволюционной эпохи и образы представителей семьи, чьи труды и дни высоко значимы для русской культуры. Передано ощущение вторжения в размеренно-спокойную провинциальную жизнь серого, тускло-свинцового налета военного времени, который героиня преодолевает силою своих сердечных влечений, напряженной душевной жизнью. «Александров» – своего рода застрочный изобразительный камертон, настроение текста, его доминанта, скрытая в названии того места, «…где века назад Иоанн Грозный убил сына-царевича»… Действие из Александрова переносится и в не далекую Москву, откуда приезжает к Анастасии Ивановне сестра Марина, тут же дана и поездка в Петроград, эпизодически мелькает в конце и Феодосия, – Крым…

Для цветаеведения важно свидетельство о том, что Марина Цветаева находилась в Александрове в мае 1917 года, куда Анастасия Ивановна приехала после смерти ее гражданского мужа М.А. Минца вместе с мужем его сестры, Лихтенштулем. В устных рассказах писательницы было больше ярких подробностей того во многом трагического для нее посещения. Впрочем, упоминание о нем есть и еще в одном из неопубликованных текстов мемуаров, где тени случившегося встают в разговоре со старшей сестрой… Таким образом определенно ясно, что М.И. Цветаева бывала в Александрове и после лета 1916 года, которое для нее было, как известно, творчески, поэтически плодотворным.

Вошедшая в последнее, наиболее полное, двухтомное издание «Воспоминаний», вышедшая в издательстве «Бослен» в 2008 году, часть мемуарного наследия Анастасии Цветаевой уникальна и тем, что по ходу повествования иной раз приводятся варианты отдельных строк известных стихотворений старшей сестры, классика русской поэзии.

О ВТОРОЙ КНИГЕ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

Вторая книга Анастасии Цветаевой «Дым, дым и дым. 1916», в основном составленная из дневниковых записей, вышла летом года, запечатленного в названии. Тысяча экземпляров в «мягком» переплете, тиражом вполовину большим, чем «Королевские размышления. 1914 год» – первая книга, опубликованная в 1915-ом. Полные названия первых двух книг звучат именно так, в названия включены года, в которые преимущественно делались записи. Подобно тому, как романтики приписывали себе лишь публикацию якобы найденной или забытой неизвестным рукописи, А. Цветаева пишет что «...это – вовсе не дневник, как сказали ошибочно про мою первую книгу» (с.7).[1] Судя по тому, что далее говорится о необходимости последовательного чтения, автор имеет в виду прежде всего то, что последовательность фрагментов, намеренно выбранных из прозаического континуума и связанного с ним контекста, должна создать иное, чем в дневниках, впечатление. Это – автобиографическая проза, полная «сердца горестных замет»...

Книга создавалась – составлялась в городе Александрове из записей, сделанных в Москве, в Александрове, в Феодосии, Коктебеле, местами же в ней замечается отнесенность к событиям детства, упоминаются Таруса, Нерви... Она говорит о прошлом, как о единственном незыблемом богатстве человека: «И я... не понимаю того, почему все молчат – о прошедшем. Ведь жизнь больше никогда не повторится, ведь это наше единое достояние» (с. 152).

Орнаментальную обложку к «Дыму...» создал художник Александр Николаевич Малиновский; он жил в Александрове, там же, где А.И. Цветаева со вторым гражданским мужем Маврикием Александровичем Минцем снимала сначала квартиру, затем деревянный дом.

Книги, заказанные в «Скоропечатне Поставщика Его Величества, Товарищества А.А. Левенсон в Москве», были,

как рассказывала их создательница, нескольких цветов – бежевый, светло-серый, темно-серый и лиловый.

А.И. Цветаева дружила с 20-х годов с Б.Л. Пастернаком. У него вышла книга «Темы и вариации», меньше размером чем «Дым...», цвета лилового. Анастасия Ивановна подарила поэту в 1924 году темно лиловый выпуск «Дыма, дыма и дыма» и он, ответно, тоже лиловые, «Темы и вариации», и подписал – «В час веселой встречи двух лиловых книг – Б. Пастернак»...

«Дым, дым и дым» даже в большей степени, чем «Королевские размышления» – предтеча знаменитых «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой, куда взяты оттуда прямые обширные цитаты. Обе ранних книги написаны почти на одной тональности, но «Королевские размышления» – книга одинокого ума, вторая же книга – это книга одинокого сердца... Ф.М. Достоевский, чье творчество столь «звучало» А.И. Цветаевой в ту пору, и чье имя не сходит с ее страниц, открыл человечеству тревожные, больные бездны людского существа и воплотил их в свои творениях, где герои опускаются каждый в свое «подполье», в поисках ответов на проклятые вопросы.

Дымные горестью эссеистические фрагменты А.И. Цветаевой в «Дыме» раскалены беспощадным самонаблюдением, в них воплощена сфера чувств, причудливо переплетенных с мыслью – чувств откровенных и противоречивых. Вслед за Достоевским и вслед за В. Розановым, А. Цветаева касается самых запретных струн, и в обманчивой плавности речи всплывают отрицательные утверждения, что – «...ничего нет преступного» (с. 15), что любимый герой Достоевского – Иван Карамазов, а не Алеша. Ее привлекают те, кто освободил себя от всех запретов, кто отвергает помощь свыше, кому все позволено, кто не покаянен ни перед кем.

И – следствием – из все той же бездны – признание: «...Иногда мне кажется, что я гнусней Смердякова. Какие мысли, какие минуты бывали. И как я рвусь от каждого

горя – скорее, в тепло к себе! Я так раздражаюсь, когда мне надо быть человеком. Я так восхищенно встречаю галоп событий! Какие тайники у меня есть...» (с. 213). Кажется, – это самоосуждение, которое приведет к покаянию, но – как будто по Достоевскому, А. Цветаева отступает с порога: «...Не думайте, что эти слова – раскаяние, что за них мне «простится». Нет! Я не очень поражаюсь тем, что я «хуже всех». Не бьюсь головой об стену. Не повешусь, как Смердяков». (Там же, с. 213.) Утвержденность в себе звучит в «Дыме...» прямо. «Я никогда не полюблю человека больше своей души. Я люблю: вечность, тьму, тишину, тихое движение времени – и среди всего этого – себя... И что я смогу сделать, если я это – всего сильнее люблю!» (с. 214).

Подобная «аристократическая» эгоцентричность влечет за собою опыты, подобные тем, что измышляют над собой герои Достоевского. Анастасия Ивановна рассказывала автору этого текста об эпизоде, отраженном в «Дыме...» – «Это было время, когда я занималась экспериментами. Я поглядела на кольцо, которое мне подарил Сергей Эфрон, – из четырех камней состоящий оригинальный перстень и подумала: Ну вот, ты ценишь эту вещь, тебе этой вещи жалко, а если нет, то выброси ее в окно поезда, пусть ляжет где-то на полях Царства Польского, где может его никто никогда не найдет. Взяла и выбросила, чтобы доказать себе, что мне не жалко». В «Дыме» к тому же есть прибавление, что мотив поступка был и – тут отличие от мотиваций Достоевского! – «аристократическим»: «...из-за сознания красоты этого бесполезного жеста, чтобы его вспомнить...» (с. 88).

Еще А. Цветаева пишет: «Моя жизнь – это взлеты, падения, страшная тоска, постоянная мысль. Горечь без дна и без края! И все ж – я совершенно счастлива!» (с. 20).

Безнадежность и... счастье?! В «Дыме...» все построено на убедительных, вполне реальных противоречиях. И в «Королевских размышлениях» и здесь, в сущности, отрицая

бытие, стоя на метафизических обломках, одинокая молодая женщина способна ощутить полноту жизни. Во всю книгу единственной ценностью, которая выше авторского «Я», выше «Аси» объявляется именно Жизнь. Я так люблю жизнь, что знаю: кто больше, Ася или Жизнь? — Жизнь. Это — единственный случай, когда я не отвечу «Ася» (с. 33).

Вспомним из «Размышлений...»: «Люди, будьте добрей! Будьте проще, не надо ни гордости, ни вражды! Не надо.. К ненавидящему вас — простирайте руки! Оскорбившему улыбайтесь влюблено! Живите пламенней! Дышите глубже! Будьте, как птицы небесные!» (с. 79).[2] Пафос полноты, радости, почти гедонистического мироощущения. Но и мотивы христианские — непротивление злу и проповедь любви...

Да, героиня способна забыть отчаяние брошенности, отдаться возвышенному чувству, налить до краев солнечную чашу, но вино молодое, хмельное, бурное выпито, и на дне вновь осадок горечи. Он-то и оседал в ее записях.

Талантливо выраженными аккордами тоски она зачаровывала многих, но... быть долго вместе, объединенными идеей бессмысленности бытия и самоценности смерти — невозможно. Эти идеи, каким бы ароматным дымом ни были овеяны, как бы великолепно-скорбно, королевски ни были выражены, не способны одушевить надолго, в них нет ни перспективы, ни будущего, ни мечты. И многие умные, тонкие, покоренные слушатели дневника, со вздохом отступали.

Единственный, кто не отступил и дошел тогда до конца идеи безнадежности и любви к загадочной и трагичной Асе, это Борис Бобылев[3], с которым были чистые, платонические отношения, встречи, он, экспериментатор более жесткий, чем его подруга, предлагал вместе отравиться, уйти. Она отказалась. Он — покончил с собой. Это на его могиле А. Цветаева в «Дыме...» стоит на коленях перед лампадкой, целует влажный песок могильного холмика (с. 177).

Итак, героиня «Дыма...» сама очертила себе свой замкнутый круг. Тот, кто не верит в бессмертие души, удел того – тоска смертная, от которой спасает только – любовь. Какой бы грешной она ни была...

Прислушайтесь даже к самым рискованным страницам юной писательницы, к их звенящему камертону, вы услышите мотив весенней жажды, не телесной, именно душевной! Здесь далеко от «взрывов» плоти в духе Арцыбашева и Нагродской, песнь и речь – о Любви.

Через пройденные «пробы и ошибки» любовь пришла к ней в образе скромного человека, который все понял, все принял. Это Маврикий Александрович Минц. В книге он – М.А. Однако, в тихом омуте их ночных разговоров, поданных в книге лирически, внимательный читатель различит без труда расходящиеся по поверхности все те же опасные круги, и окажется, что Маврикий Александрович, по-домашнему, Мор, или Морек, сам недалек от бездн достоевских. Не Иван ли Карамазов встает из-за спины его, когда он говорит: «Сильный человек должен взять жизнь – так в руки, чтобы... пьянеть от нее!»

И далее: «Он говорил о своем непонятном равнодушии к жизни, и о том, что ему было бы очень легко убить себя, и что, кажется, он не может себе представить возможность почувствовать какое-нибудь настоящее горе. Он очень умен. Очень тих. Очень обаятелен. Очень неизвестен – «Я, пожалуй, иду к тому, чтобы брать жизнь в руки», сказала я, «по крайней мере, вот уже год, как я делаю всегда только то, что хочу...» – «И продолжайте так поступать!» – сказал он серьезно...» (с. 104). Именно такого человека она и могла тогда полюбить.

В них обоих тлели неразрешенности, противоречия, люциферическая взволнованность.

В ней безнадежность и надежды сменялись как волны океана жизни, не отсюда ли лирическое, любимое ею выражение – «Девятый вал тоски»?

Маврикия Александровича она привела еще к трагическому пределу. Маятник качнулся в нем от искреннего чувства – к ней, до желания ее – убить... Ибо, когда он узнал силу своего соперника, Николая Миронова, которого еще до встречи с ним, Маврикием, А. Цветаева любила, и чем дальше во времени, тем с каждым его новым появлением влюблялась более страстно, Минц, совершенно в духе Достоевского, вознамерился дать их маленькому сыну Алеше, себе и ей яду!

Вот чем обернулся «холодок в сердце», об этом холодке в эпиграфе из В.В. Розанова, с которого начинается «Дым...». – «Холодок в сердце. Знаете ли вы его?». Нет, скорее не холодок, не холод, не рассудок и рассудочность!.. Льдом и пламенем этих страстей опалены созданные годы и годы спустя автобиографические страницы ее романа «Amor»[4], где в главе «Морек и Миронов» она рассказывает о том, как Маврикий Александрович сдержал себя, не совершил преступления. Миронов тоже проходит эпизодически по «Дыму...» (На с. 175, «М» – это Н.Н. Миронов).

Как тут окончательно не согласиться с утверждением А.И. Цветаевой, что: «Господь послал мне курс жизни по Достоевскому» (с. 229).

По страницам «Дыма...» скользят, скрытые под «литерами» персонажи, некоторые из которых весьма значительны. Например, под обозначением «М», бывает скрыт не Н. Миронов, не М. Минц, а О.Э. Мандельштам. Впрочем, если быть точным, поэт не столь уж скрыт, поскольку избранные страницы из «Дыма...», ему посвященные, были включены в «Воспоминания» (см. главу «Осип Мандельштам и его брат Александр» и далее). Однако то, как они представлены в «Дыме...» производит иное впечатление.

Об очень эгоцентричном и своевольном О. Мандельштаме А. Цветаева говорила, что он был похож одновременно и на «ощипанного птенца и на принца в изгнании». Может быть, он тоже жизненно сопределен с кем-либо из героев Достоевского?.. Но – камертон книги время от времени

меняет звучание. Героиня – трагическая и лирическая, – по бесплотной симпатии к поэту бросается в быструю помощь ему. Это несмотря на то, что зарекалась кому бы то ни было помогать (см. с. 55). Она готова бежать куда-то, доставать еду одаренному и беспомощному, капризному Мандельштаму. Куда девались – самоупоенность и аристократизм, где – прищур на всех сквозь снисходительно-презрительный лорнет?.. Все ушло на глубину. Вместо этого – без влечения, без страсти – чистая увлеченность человеком. В этом направлении со временем разовьется личность А.И. Цветаевой... С 27 лет она сознательно-жертвенно станет по-христиански служить людям.

Искренняя доминанта «Дыма...» несмотря на весь «плен» эпохи, привела к некоторым пророческим прозрениям, которые потом сбылись – например, впоследствии удивлявшее саму А.И. Цветаеву утверждение о будущей смерти старшей сестры, о том, что М.И. Цветаева уйдет из жизни первой. Далее уверенное утверждение – уже тогда! – «Всю жизнь буду жить одна. Поняла это. Потому что обожаю тишину, и себя в ней... Жить вдвоем – нельзя. Но когда покидают – тоска» (с. 21). Не в тюремном и лагерном заключении и не в ссылке, после того, что прошла их, – последнее двадцатипятилетие своей долгой жизни, даже когда ей было уже глубоко за девяносто, Анастасия Ивановна жила одна. Поскольку ей, писателю, насущна была тишина, но и потому, что она неустанно принимала людей, и у нее был до конца широкий круг друзей. Следующее утверждение, тоже близкое к пророчеству, скрыто во фразе об О. Мандельштаме: «Покончив с собою, или скончавшись пристойно, Вы будете под землей – тьма навек, как не удалось Вам, и как уже случилось со многими» (с. 41). На одном из немногих сохранившихся экземплярах «Дыма...» рукою А.И. Цветаевой – надпись: «Пытался (покончить с собой. – *Ст. А.*), сбросившись с лестницы, в 1936 году, кажется...» Как тут снова не оглянуться, хоть

«боковым зрением», на Достоевского?.. Идя той же тропою, приходим к еще одному костру, от которого жар давней связанности с семьей Гали Дьяконовой, гимназической подругой Анастасии Цветаевой по гимназии Потоцкой в 1907-1908 годах. Галина Дьяконовна – героиня «Воспоминаний», впоследствии жена и постоянная модель – Гала – легендарного классика-сюрреалиста Сальвадора Дали. К семье Г. Дьяконовой имеют отношение те фрагменты, герои которых – под литерами В. и Р. Это отчим Гали, Дмитрий Ильич Гомберг, крупный присяжный поверенный, так тогда назывался адвокат. С ним у А. Цветаевой уже в молодости была тайная (ото всех и от Гали) недолгая связь, в которую она вошла, по ее словам, из любопытства, ей хотелось узнать – писательски и жизненно, как это бывает со зрелым, деловым человеком. Потом, когда она познакомилась с М.А. Минцем, и они расстались, она была благодарна Гомбергу за то, что тот повел себя благородно и сдержанно, не преследовал ее... Еще один эксперимент...

Не по иронии ли судьбы после приезда из Крыма, уже в 1921 году она поселилась у родителей Гали, в их превращенной в коммунальную квартире (см. в «Воспоминаниях» главу «У родителей Гали Дьяконовой»). Опять поворот судьбы «достоевский»... А если по этой колее спустится еще глубже, то и у самого знаменитого избранника Гали, Сальвадора Дали находим смертельно-эксперементальное свидетельство о его холодной и загадочной Гали: «Лицо Галы, изобличало неприклонную решимость. Я обнял ее и спросил: Что мне делать с тобой? – Она хотела ответить, но от волнения не сумела вымолвить ни слова и, наконец, тряхнула головой. По лицу ее текли слезы. Но я не отставал: «Что мне сделать?» Гала наконец решилась и жалобным девчоночьим голосом проговорила: А если я скажу и ты не захочешь, ты никому не скажешь? Я поцеловал ее в губы – впервые в жизни я так целовал. Я и не подозревал прежде,

что это такое. Я схватил ее за волосы, оттянул назад ее голову и заорал скрывающимся в истерику голосом: Скажи, что сделать с тобой. Скажи внятно, грубо, непристойно, чтоб стало стыдно! Скажи! У меня перехватило дыхание. Я ждал, глядя на нее во все глаза, чтобы не упустить ни слова, чтобы впитать их все, выпить до капельки, упиваясь агонией, ибо страсть меня убивала. И тогда лицо Галы озарилось неземной прелестью, и я понял, что она меня не простит и не пощадит – она скажет. Вырвавшись на простор безумия, страсть моя бушевала. Я понял, что времени мне отпущено ровно на одну фразу, и вскричал, тиранствуя и издеваясь: Что мне сделать с тобой? – И Гала – лицо ее вдруг стало суровым, светлым и самовластным – приказала:

Прикончи меня!

Сомнений быть не могло: она сказала именно то, что сказала. И осведомилась:

Сможешь?

Я был ошеломлен, растерян, подавлен. Вместо приказа любить, которого я ждал, и страшился, затягивая отсрочку, я услышал совсем другое – как дар Галя возвращала мне мою страшную тайну!»[5]

Лезвие, грань ада и рая в этих строках, когда женщина искушает влюбленного в нее художника на смертный грех, на убийство. «Ее настоящее имя, под которым ее крестили, было – Елена. Галя, – это она себе сама придумала, – говорила А.И. Цветаева, она холодна была как человек...» Тот же «холодок в сердце» по Розанову, холодок пограничный снежным бурям и дымным водопадам страсти...

Как все рассказанное С. Дали глубинно – психологически созвучно «Дыму...», в котором: «Я постоянно жила на самом краю души. Это была лихорадка. Я тогда знала только слова, как: «смерть, любовь, безнадежность. Моей жизнью были: нестерпимая красота – и смерть» (с.166).

В «Дыме...», струящемся горечью и жаром юности, под заглавными литерами всегда скрыты реально существовавшие личности. Не забудем, что непременная черта произведений А.И. Цветаевой – автобиографичность.

Например, в поезде из Варшавы в Москву едет А. Цветаева с «Р», тое есть с Д.И. Гомбергом. В коридоре вагона она встречается с паном Н., то есть который при встрече назвался ей паном Ноэлем, – обратное почтение от «Леон». Это Лев Матвеевич Гринблат, варшавский архитектор. Она протягивает ему коробку конфет, и они знакомится. В Москве продолжается их знакомство, не роман, именно знакомство и с его – легкой ли? – руки Анастасия Ивановна сдружилась, а затем и связала жизнь с М.А. Минцем. История эта варьируется в «Дыме...», в «Воспоминаниях», в романе «Амор». Заметим, что М. Минц, Л. Гринблат и Н. Плуцер-Сарно – все друзья, все польские евреи, знакомые по Варшаве.

Довольно много в книге говорится об Г.Н.С., так зашифрованы инициалы Николая Сергеевича Трухачева, родного брата первого мужа А. Цветаевой – Бориса Сергеевича, в книге Б.С. Трухачев – Б., или Б. – в, или Борис Т. О Николае Сергеевиче – в ранней редакции «Воспоминаний»: «Перечла. Так много о брате Бориса, Николае Сергеевиче. Как четко я поздней сравнивала его с Иваном Карамазовым! Сходство было, несомненно... Каждый раз, как я встречаюсь с ним, я во власти очарования... Он очень умен. Вдумчиво-печален. И идет от него холодок».

О Н.С. Трухачеве Анастасия Ивановна рассказывала, что был он офицером русской армии. В 1919 году уехал за границу. Последний раз она видела его в Крыму, в Феодосии, от нее он узнал о смерти своего брата, Бориса Трухачева. В эмиграции он женился на также уехавшей из России Алисе Лагерстрём, от нее у него было два сына, жили они потом в Канаде. Когда Анастасии Ивановне и маленькому сыну ее

Андрюше Трухачеву, о котором тоже достаточно упоминаний в «Дыме...», Н. Трухачев прислал из Германии посылку; Анастасия Ивановна, зная, что он за границей живет трудно, получив одну, поблагодарила и письменно отказалась от следующих посылок в пользу его отца. О семье Трухачевых подробнее написано в «Воспоминаниях».

Еще из литерами обозначенных, отметим Николая Ивановича Хрустачева. В «Дыме...» он выведен как Л. Портрет А. Цветаевой его кисти, написанный в мастерской, в Феодосии, украшал комнату писательницы в Москве, до 1937 г., потом был конфискован при ее аресте, дальнейшая судьба портрета неизвестна. Н.И. Хрустачев был близок «Миру Искусства», написал портрет М.А. Волошина.

Интересна беседа А. Цветаевой с Т. – то есть с Толей, – Анатолием Корнелиевичем Виноградовым. Со временем он станет писателем, автором историко-биографических романов «Три цвета времени», «Осуждение Паганини», «Братья Тургеневы». Во время Первой мировой войны он был на санитарной службе – полгода пробыл на передовой линии германского фронта. Имел георгеивские награждения за то, что вывозил раненых под огнем, направленным исключительно на него. Был контужен. С фронта вернулся в Румянцевский музей, где занимал до войны скромную должность младшего помощника библиотекаря. А.К. Виноградов[6] – герой «Воспоминаний» А. Цветаевой, но герой порой отрицательный. Там описан такой эпизод – А.И. Цветаева пришла к нему, ставшему директором Румянцевского музея, просить работы, он не помог. Она не знала, что он подвергся травле за то, что не снимал с работы «бывших дворян», а тут приходит дочь «царского» профессора-директора и просит принять ее в музей. Еще недавно он принял на работу своего друга, поэта-младосимволиста, С.М. Соловьева, рукоположенного до революции в священники, а тот стал служить в музейской

церкви, которая осталась при советском (!) учреждении. Чем это грозило директору, можно себе представить. Шли революционные акции террора против духовенства, на расстрелах священников настаивали Троцкий, Сталин и сам Ленин[7]. А тут священник служит в Румянцевском музее буквально напротив московского Кремля... М.И. Цветаева, обиженная за сестру, не принятую в музей на работу, тоже написала отрицательный очерк об. А.К. Виноградове, назвала его «Жених». Писала уже в Париже, в сентябре 1933 года; там он выведен под фамилией Тихонравов. Узнав много позже обо многих «сопутствующих обстоятельствах», А.И. Цветаева написала текст, озаглавленный «Об очерке моей сестры Марины «Жених»[8], где старается восстановить по возможности справедливость. «Шли разговоры, будто бы между Толей и мной целое прошлое», – говорила Анастасия Ивановна. На самом деле меж ними были только дружба и воспоминание о пережитом когда-то отроческо-юношеском весеннем увлечении, когда ей было только четырнадцать...

В конце жизни Анастасия Ивановна сожалела, что она собственным пером несомненно дала повод предположить, что все описанные во второй ее книге люди с нею были интимно связаны. По декларированной свободе ото всех запретов, по рискованным откровениям создалось несколько преувеличенное впечатление о раскованности «лирической героини». Дорого ей эта раскованность порою давалась. В «Дыме...» есть литеры – С.И. Это Сергей Иванович Ковалев, студент-химик, петербуржец; познакомились они в Коктебеле, когда она была в гостях у М.А. Волошина. Он страстно откликнулся на еще не опубликованные страницы «Королевских размышлений». В выборе – Зосима или Ивана Карамазов, он, как и А. Цветаева предпочитал последнего. Ковалев вызвался быть ее учителем философии... Но на следующий день после столь интеллектуального торжества в нем проснулась жажда тож-

дества физического. «Он почти клянется в страсти ко мне, почти молит о близости». И она, стиснув зубы, преодолевая отвращение, решает: «сдаться на этот проклятый закон над ним так колдующий.... Пусть насытится этим во мне раз ему и это во мне надо – лишь бы не утерять мне философа, палату ума, собеседника!» (В ранней редакции «Воспоминаний»). Именно Ковалеву были первоначально посвящены «Королевские Размышления», позже переадресованные посвящением М.А. Минцу. Как уже было сказано, Анастасия Ивановна не хотела мириться с прочтением книги, как перечня ее «привязанностей». И вот почему: в «Дыме, дыме и дыме», по ее мнению, есть чистый живой родник, мотив, воспринятый у И. Тургенева и С. Надсона – «Только утро любви хорошо, хороши только первые встречи...». Жизнь Анастасии Цветаевой подтвердила это утверждение сполна. Особенно в случае ее первым мужем, Б. Трухачевым, влюбленным до исступления в нее, девушку, и потом скоро охладевшим к ней – женщине.

На принадлежащем автору этих строк экземпляре «Дыма...» А.И. Цветаева сделала в надпись: «Дорогому Стасику Айдиняну – мою молодую, но еще звучащую мне книгу, которая была «misunderstood», (т.е. по-английски – «не понята». – *Ст. А.*) Леонидом Андреевым, ибо ее истинное credo – «только утро любви хорошо»!.. С уважением к Вашей весьма нестандартной молодости и теплым чувством благодарности за помощь моей старости. Анастасия Цветаева. Москва 7.11. 1985 года».

Почему же книга была «не понята» Л.Н. Андреевым, как пишет Анастасия Ивановна, используя английское слово? Дело в том, что существует рецензия Л.Н. Андреева на «Дым, дым и дым», «Печаль наших дней» («Русская воля» 1917, № 36, 6 февр., с. 7) в которой был лейтмотив – «Кто-то погибает». Этой фразой рецензия заканчивается.

Сама Анастасия Ивановна тогда не достала эту рецензию, ей друзья рассказали, что там вроде как в тексте было сказано: «Кто не знает Цветаеву, эту высокую брюнетку (?) с желтой розой у пояса, что громче всех кричит на благотворительных вечерах». Анастасия Ивановна была удивлена таким, совершенно не соответствующим ей портретом. Ведь она была небольшого роста, очень скромно одевалась, никогда не носила роз у пояса, и никогда деятельно не участвовала ни в каких благотворительных балах, вечерах. И тогда она решила, что пойдет к своей подруге Зосе Балавинской, у которой бывал Л. Андреев. С Балавинской уже условились – она позвонит, когда Андреев у нее будет. Решила – она познакомится с писателем, будет представлена ему Трухачевой, под фамилией первого мужа, проведет вечер чинно, в тонкой беседе. А потом, в конце скажет: Да, кстати, Вы обо мне писали!.. Моя фамилия Цветаева! И напомнит о рецензии, где она – портретно нисколько не похожа на себя. Но, пережив сцену и предполагаемое замешательство Андреева в воображении, она все-таки не осуществила задуманного, потому что надо было оставить на кого-нибудь грудного еще, второго ее сына Алешу, а это было по ее словам нежелательно и сложно, и она никуда не поехала.

Справедливости ради скажем, что образа «высокой брюнетки с желтой розой у пояса» мы не найдем в беспощадно резкой рецензии Л. Андреева. «Какая-то розановщина, где циничная откровенность о себе переходит границы... – восклицает там писатель и продолжает, – «Талантливо это или бездарно? Ни то, ни другое. Все признаки, определяющие художественное произведение, отпадают перед этой печальной книгой. Язык литературно правилен, кое-где на 250 страницах попадаются недурные образы, занятно, под влиянием модернистов, построенные фразы – это пишет интеллигенция российская. Но творчество отсутствует... Умно это или глупо?

Ни то, ни другое. Какая-то серединная плоскость... При всем том, на книге надо остановиться, как на печальнейшем явлении нашего беспутного времени. Тут дело не в одной разительной потере всякого уважения к литературе, приведшей к тому, что печатание произведений сводится к безответственному набору типографских знаков. Начатое в реакцию 1906-1908 годов, дело разрушения литературного пиэтета <sic!> продолжалось руками Розановых, Каменских, Вербицких и прочих старо- и ново- футуристов, и ныне может считаться благополучно законченным... В этом смысле г-жа Цветаева ни хуже, ни лучше других...» («Русская воля» 1917, № 36, 6 февр., с. 7).

Так что Л. Андреев отвергает не только А. Цветаеву, но ее и ее друга В. Розанова, смешивает с чувственной беллетристикой Анастасии Вербицкой и подобных ей других... Многого не разглядел тут автор «Анатэмы». Да, видимо, и не мог разглядеть.

Заметим еще попутно, что и без рецензии нечто отталкивало Анастасию Ивановну от Андреева; скорее всего его эмоциональная отвлеченность, несколько «абстрактный» символизм. В «Дыме...» есть фраза – «Но бросим Андреева и с ним всех писателей мира» (с. 112). А в «Королевских размышлениях» (с. 59) – «Прочла «Елеазар» Андреева... – вымысел, ложь, фальшивая нота. Ибо смерти не знает никто, и не знает Андреев». Читал ли Л. Андреев «Королевские размышления»?.. Нет, не читал, об этом он говорит в начале статьи. Или все таки читал и возмутился словами Цветаевой...

Кроме этой была еще рецензия, из которой Анастасия Ивановна помнила к концу жизни лишь строку – «...автор обладает большим и жизненным талантом». Принадлежала она перу критика П. Сурмина и опубликована была в рубрике «Литературный субботник. Новые книги» влиятельной в те годы газеты «Утро России», (№ 35, суббота, 4 февраля 1917 г. с. 7). Ввиду небольшого объема этой рецензии, мы имеем возможность привести ее полностью:

«А. Цветаева “Дым, дым и дым”. Москва, 1916»
(Рецензия)

Книга «Дым, дым и дым» – ряд отрывков – впечатлений, эпизодов и рассказов, – основная тема которых жизнь чувства автора, его исповедь сердца.

Это – вторая книга А. Цветаевой. У нее сжатый, лаконичный, оригинальный стиль, слова, – острые, как стрелы. Но мыслит она «играючи»: ее цель не истина, а парадокс.

Мысли у нее будто словесные маски, она меняет их одну за другой – это ее забавляет, опьяняет. Но порой она ощущает «холодок в сердце» и тогда страницы ее книги говорят о безнадежной грусти о мучительном страдании.

Холодок проходит и она снова готова весело обнажить свою душу. Но это чувства «современной души» – Цветаева прошла хорошую школу. Духовных учителей и родственников она, кажется, нашла, главным образом, в лице Розанова и Шестова.

Книги Розанова «Уединненное» и «Опавшие листья» очевидно помогли ей найти внешнюю форму для переживаний.

Также как и Розанов, она не признает никаких логических и этических норм; как Розанов она часто пишет о том, о чем «не принято писать».

Наконец, с Розановым ее сближает и «чрезмерная интимность страниц». Шестов укрепил в ней дух противоречия, научил не бояться логики.

Но это духовное родство, конечно, не уничтожает оригинальности Цветаевой.

Исток ее творчества несомненно личные переживания – «Мои всевозможные чувства», – как выражается она. В них неизменна одна черта: Цветаева к противочувствиям привычна. «Противочувствий странных сеть» и образует основное содержание ее книги.

Она чувствуют жизнь как что-то неуловимое, неосязаемое, слишком летучее, как дым, что тает в небе. Она и себя готова

счесть за призрак. «И, может быть, меня нет!» – вот последние слова ее книги.

Но этот «призрак» мыслит, чувствует, пишет. Возможно, права Цветаева, когда она, – женщиной, – ощущает себя как загадку и призрак. «Кто я?» «Удина?» «Ирина», «Ася»? Я совершенно не знаю». Но как писательница, она обладает большим и жизненным талантом.

Цветаева в предисловии обещает: «А мои дневники впереди.

Они выйдут лишь много позднее».

В них снова будет рассказывать о своих «предчувствиях», блистать парадоксами, акварельно зарисовывать миги своей жизни, но здесь ей грозит одна опасность – не повторит ли она себя?

Интимное, слишком интимное ограничено. Личная тропинка узка и коротка. Но может быть Цветаева научится ходить по большим дорогам жизни; лишь там для нее возможно будет заметное движение вперед.

П. Сурмин».

Книга нашла в дореволюционной России своего читателя. К Анастасии Цветаевой приходила одна из поклонниц-читательниц. Фамилия ее была – Гивенкман, советовалась – как жить... Ей тоже звучала тема об «утре любви» по Тургеневу. Без чтения страницы «Дыма...» не выходила на сцену М.И. Кузнецова-Гринева, актриса театра и немного кино. Она писала в воспоминаниях: «...Во все поездки со спектаклями, во все города я брала эту книгу с собой. А когда мне предстояло играть очень драматическую сцену, я в антракте прочитывала в Асиной книге о Стеньке Разине и персидской княжне, это помогало мне поднять зрительный зал до высокой ноты волнения», – это высказывание находим в книге «Воспоминания о Марине Цветаевой» (М., «Сов. писатель», 1992, с. 67).

Ко времени выхода «Дыма...» М.И. Цветаева была автором двух ранних поэтических сборников – «Вечернего альбома»

(1910), «Волшебного фонаря» (1912) и выборки любимых стихов из них – «Из двух книг» (1913). У нее и младшей сестры поэтически, писательски и жизненно все было еще впереди...

«Посвящается моей сестре Марине Цветаевой» – читаем на отдельной странице, предваряющей книгу. Таким образом это была самая первая из всех книг, с посвящением Марине Цветаевой. На вопрос, почему книга 1916 года посвящена старшей сестре, Анастасия Ивановна ответила совсем просто – «Марина любила мой «Дым...», я его потому ей посвятила...»[10]

Примечания

[1] здесь и далее цитируется по изданию А. Цветаева «Дым, дым и дым. 1916 год» Москва, 1916.

[2] здесь и далее цитируется по изданию А. Цветаева «Королевские размышления. 1914 год», Москва, 1915.

[3] см. А.И. Цветаева «Николай Миронов», /предисловие, подготовка текста и комментарии к публикации Ст. Айдиняна // «Новый Мир», – 1995, № 6, с. 144-160.

[4] см. А. Цветаева «Amor», роман, М., Изд-во «Современник», – 1991.

[5] см. С. Дали «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим» Изд-во Axul-Z, Кишинев, 1991, с. 157.

[6] см. о нем Ст. Айдинян «100 лет писателю А.К. Виноградову». // «Памятные книжные даты». Ежегодный альманах. – М., «Книга», 1988, с. 150-152.

[7] см. об этом: Н.Н. Покровский Политбюро и церковь. 1922-1923. Три архивных дела. // «Новый Мир», 1994, № 8.

[8] Машинописный текст упомянутого очерка хранится в архиве Ст. Айдиняна.

[9] здесь и ранее использованы фрагменты магнитозаписей разговоров Ст. Айдиянна с А.И. Цветаевой, сделанные с 1984 по 1993 г.

[10] Там же.

КРЫМ В «ДЫМУ» ВОСПОМИНАНИЙ, ИЛИ ВСТРЕЧА С ФЕОДОСИЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Крымские страницы Анастасии Цветаевой. Их немало в ее «Воспоминаниях», романе «Amor», в книге очерков и рассказов «Неисчерпаемое» – «Ночи безумные», «Зимний старческий Коктебель», «Маруся Волошина», «Сон наяву, а может быть, явь во сне?»... Однако задолго до очерков, новелл, «Воспоминаний», написана вторая книга младшей Цветаевой – «Дым, дым, дым» (1916), где вдохновенной россыпью – страницы, запечатлевшие изящным пером прихотливый узор мыслей и чувств. Название было своеобразной изящной реминисценцией к классическому роману «Дым» И.С. Тургенева. А. Цветаева видела сходство в характерах, в устремленности героини книги Тургенева и собою в те годы.

Именно в книге «Дым. дым, дым. 1916» находим дневниковые записи 1914 года. Салонная атмосфера избранного круга в доме Айвазовского, нынешней Феодосийской картинной галерее. Именно там жил, занимая квартиру, друг сестер Цветаевых и Максимилиана Волошина, внук И.К. Айвазовского, Петр Николаевич Лампси, феодосийский судья, поэт, чье поэтическое наследие сохранилось в «недрах» Российского государственного архива литературы и искусства. У него в Крыму было имение, которое называлось Шейх Мамай. Имя П.Н. Лампси зашифровано в книге «Дым, дым. дым» начальными инициалами – «П.Н.». Надо сказать. что все герои книги скрыты под литерами, но литеры далеко не всегда совпадают с инициалами настоящих имен, вымышленных героев в «Дыме...» нет.

Анастасия Ивановна, в один из наших вечеров, листая созданную в годы Первой мировой войны книгу, раскрывала тайны литер, снимала покровы с героев, которые к тому времени все уже были в ином мире. Лишь одна «лирическая героиня», Анастасия Ивановна, оставалась на страже памяти последним «часовым» Серебряного века.

Она вспоминала: – «Петр Николаевич пел, аккомпанируя себе на гитаре романсы и песенки на слова Игоря Северянина, я писала об этом… «К.» вышел в соседнюю комнату, унеся с собой свечи…» А «К.» знаете кто? Это у Петра Николаевича был помощник по судейской части, Коля… его имя…». Она задумывается на секунду и с радостью, что вспомнила, – теплым голосом, воскрешая из небытия: «Николай Михайлович Беляев. Он, как и Петр Николаевич, потом, году в двадцатом, уехал в эмиграцию.»

– А кто был «князь М.»? – спрашиваю я.

– Просто приятель Петра Николаевича, князь Микеладзе.

Именно к князю Микеладзе обращена во фрагменте из «Дыма…» женским своим существом героиня. Именно благодаря «мимолетностям» этой устремленности мы узнаем тонкие мотивы поведения молодой светской женщины.

«Но m-me B. трогает клавиши», а тут, – пояснила Анастасия Ивановна, – вскользь имя мадам Бленар, русской, жены француза.

Целая галерея лиц живших, дышавших морским феодосийским воздухом!… Страницы перевернуты. От них – чуть горький «дымок», как от покинутого кем-то в горном осеннем лесу костра, тлеющего оставленной, но еще не отгоревшей жизнью.

В следующих эпизодах, относящихся также к 1914 году, иные герои. Об основном из них, скрытом под литерой «Л.», в «Воспоминаниях» есть глава «У художника Хрустачева. Мастерская Волошина. Вересаев». Там сказано, что из мастерской Хрустачева открывался вид панорамы Феодосии с горы Карантина. Художник, автор портретов М. Волошина, К. Богаевского, создал и большой портрет Анастасии Цветаевой, висевший в ее комнате в Москве много лет и пропавший только при ее аресте в 1937 году, когда вместе с творческим рукописным архивом и всеми вещами он был также конфискован и вывезен неизвестно куда.

О Николае Ивановиче Хустачеве (1883-1962), как помню, Анастасия Ивановна рассказывала, что подружилась с ним в 1914 году, когда они с сестрой Мариной Ивановной зимовали в Феодосии. «Он не был красив, – говорила она, – маленький, легкий, худенький, легкое лицо. Был старше, потому называл «дочка». К нему у меня возникло сильное чувство, но далеко не роман, только увлеченность, – бродили, потеряв от друг друга голову, но он только целовал мои руки, – говорили, гуляли…»

Хрустачев – герой нескольких эпизодов «Дыма…», в том числе эпизода, в котором художник ясновидчески почувствовал на расстоянии, что Анастасия Ивановна думает о нем,– сердцем, а не разумом, услышал ее сомнения – она решала, идти к нему или нет. Он встал со стула в педагогическом совете, где был, и начал взволнованно ходить, не понимая, что с ним.

Сохранилась еще, по свидетельству Г.К. Васильева и Г.Я. Никитиной, собирателей автографов А.И. Цветаевой, авторская надпись на авантитуле первой книги писательницы – «Королевские размышления» (1915): «Милому, дорогому Николаю Иван[овичу] в память весны 1914 г. Ася Ц[ветаева]. Москва. 1915 г., март. Акации еще не цветут?»

В настоящее время автограф принадлежит внуку художника, Д.Н. Ряузову, у которого имелась существенная часть художественного наследия Николая Ивановича и материалы его биографии, среди которых: данные о его участии в выставках «Мира искусства» в 1912 и 1916 годах в Москве, в 1913 – в Петербурге, в 1907 – в салоне «Золотого руна». Из того же источника известно, что в 1903 году его картину «Зима» приобрел А.П. Чехов.

Уроженец Сергиевого Посада, Николай Иванович много лет прожил в Крыму, с 1913-го по 1922 год – преподаватель искусств в Феодосийском учительском институте. Организовал в Феодосии народный театр, художественную школу. В Феодосийской картинной галерее хранятся его работы. Портрет

А. Цветаевой, написанный Н. Хрустачевым сохранился до наших ней. Однако на нем, по нашему мнению, художник невольно свел воедино черты двух сестер – и Анастасии и Марины. Да и на самом портрете, на оборотной его стороне, автором не было указано, кто на нем изображен.

Еще одна литера, запечатленная в очередном эпизоде книги «Дым, дым и дым. 1916» – «...мне пора идти к С.». Это – Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой. Его и сестру Анастасия Ивановна не застала дома – «но их нет», она догоняет провожавшего ее Н.И. Хрустачева и их прогулка снова длится в увлеченной, тонкой беседе...

Ст. А.

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

Из книги «Дым, дым и дым»

Как легко бы могло случиться! Закрываю глаза, думаю:

– Клубы дыма, запах папирос, кто-то жмет мне руку, князь М. эластичным своим и стремительным шагом подходит ко мне. Я на него не гляжу, протягиваю ему руку, он, осторожно и крепко сжимая ее, подносит к губам. И уж через 10 секунд продолжает прерванный разговор с кем-то взявшись за спинку стула; его рассказ образен и горяч, как всегда, но быть может и его голос стал сейчас – и мягче, и звонче. Он во внезапном жесте своем застыл, облокотясь о стул коленом, его ботфорты блестят, – какая неотразимая грация!

П.Н. подходит к потонувшему в темноте клеенчатому дивану, взяв гитару, перебирает ее – гулкие звуки. К. вышел в соседнюю комнату, унеся с собой свечи, стало полутемно. Под самым потолком старинного кабинета – синее пламя лампадки; бледно блестят стекла овальных портретов, здесь и там слабо мерцает золото – ободок какой-нибудь рамы, золоченый фарфор, пышная люстра. П.Н. напевает:

«Je crains de lui parle la nuit,
J'ecoute trop tout ce qu'il dit,
Il me dit: «je Vous aime...»
Et j'entends malgre moi,
J'entends mon coeur qui bat, qui bat,
Je ne sais pas pourquoi...

Я сижу в вольтеровском кресле, у меня бьется сердце, — я чувствую, что князь подошел, неслышно, ко мне, и стоит, облокотясь о высокую спинку.

Рокот струн. Знакомый мотив — что это? Ах, это песенка из Островского, — помню, девочкой, в театре Корша, я видела его пьесы. Буфетные, девичьи, липовые сады, вышивки, тяжелые бусы...

«Ты изменил, и льются слезы,
И я в тоске не вижу дня,
Упреки, жалобы, угрозы
В душе бушуют у меня...

Твоя улыбка открывает
В моей душе — блаженства рай,
И я с тоскою повторяю:
«Не изменяй, не изменяй!..»

Помню: невеста медленно поднимается, все с гитарой в руке, смотря в упор на приезжего барина, глаза горят, ручки еле трогают струны.

«Нет сил таиться, я рыдаю,
Хоть гордость шепчет мне «скрывай»,
И в страшных муках повторяю:
«Не изменяй, не покидай...»

Гитара ее тогда, зазвенев, покатилась на пол, и уж я — не я, я — она, но гитара спокойно звучит, и вот уж мотив меняется, и я поднимаю на князя изнемогающие, прекрасные мои глаза!

Но m-me В. трогает клавиши. О как «непосредственно» и стремительно я подхожу к ней, прося спеть мою любимую песнь; разговор замолкает, и, звеня расширяется ее голос, наполняет, наполнил комнату и уж переполняет ее.

«Андалузская ночь хороша, хороша,
В ней и страсть, и немое бессилье
Так что даже спадает, спадает с плеча
От биения сердца мантилья».

И (я чувствую это, застыв у рояля в моей всегдашней слушающей позе) — тихо подходит князь и становится подле меня…

И тут — я напрягаю все силы свои, чтобы не спасовать и ответить: я повертываю к нему лицо, и встречаю взглядом его взгляд. И ничего больше. Я снова смотрю в рояль и слушаю пение, но вся почва души моей, заколебавшись, бросается из-под ног, и что будет потом, я не знаю: ветер ли у моря, и я перед ним, смотрящая в лорнет, в тоске, на далекие огоньки, над черной водой, и там далеко-о, один красненький, и разбившийся столбик под ним… Или — то же море, но мы вдвоем? Я ничего не знаю! Я… Князь — знает?

«В винограднике чьи-то шаги шелестят,
И мелькает огонь от сигары…»

А через 3 часа — стукнет за мной дверь, и ветер рванет на тоненьком шнурке мою сумку; золотые огоньки на горе разбросаны реже. Плотно обнимает пальто с невысохшим воротником. Я стою на ступеньках, слушая, как кто-то из оставшихся трогает клавиши, я в тоске хочу: только заснуть и долго-долго не просыпаться, — до следующей встречи. О буря,

«О, ночь, о, глаза!»*

*) Из сказок Шехерезады.

— Князь. Если б Вы вышли сейчас, и, взяв мои руки, сказали «едем со мной?» — я бы кинулась к Вам, и, может быть, в первый раз…

Но ночь тиха. Дверь не стучит. Вы не идете. И как кружится у меня голова!…

Сегодня какой-то поразительный день.

Кратко: я счастлива.

Так много, что ничего не могу рассказать! Всю ночь говорила с Л. В итоге этой бесконечной беседы мы вывели странную вещь: мы друг друга не любим. Но по странной игре судьбы, мы все же никак, никак не могли проститься, все держали друг друга за руки, и он целовал мои. Мой вчерашний день: неожиданно раздался звонок (я … забыла лорнет у него, он… принес, и хотел тотчас же уйти, я за ним послала, его вернули); мне пора идти к С., он провожает меня, но их нет, и я догоняю его на углу. Мы гуляем по молу, с корабля сияет прожектор, по взволнованным. бурным волнам — лодочка, и матросы гребут, и их белые костюмы — в луче прожектора ослепительны. Пахнет рыбой, канатами. В 10 часов мы прощаемся у моих дверей. Но я иду его провожать, курим, пахнет акациями, ночь. Мы тихо возвращаемся ко мне. И потом говорим. говорим, говорим. прощаемся и снова бродим кругом, и снова подходим к моим дверям, сидим на ступеньках, и все идет по ступенькам, тихо и сладостно, лорнет — «был слабость», он думает обо мне, когда я о нем думала, в тот же час,

а я —

ах, мне его лицо мило, бесконечно мило, «но только потому, что недавно и ненадолго»; «я ни в чем не хочу — легчайших цепей, ни себе, ни другому, я очень сознательна, очень серьезна, очень — ребенок»; наконец, — «мы друг друга не любим»…

«Но почему если так…»

Когда я вошла в свою комнату — уже рассветало.

И весь этот день, как облако золотое, проносится над взволнованной головой моей, над синим заливом Феодосии, над 19-тью годами, — в силе и славе своей!

Страдаю ли я? Нет, может быть.

Я весь день сегодня на людях. Жизнь сегодня идет галопом — точно помогая мне. Но... все висит на ниточке. Мне страшно и радостно.

Что это было? Но сегодня более, чем когда-либо я обожаю жизнь.

«Деточка...». «Дочка моя»... Все пройдет, а все могло — не пройти.

В окне напротив — слабый отсвет зари. Я вспоминаю тот вечер у Л. тот заход солнца, — о как я люблю все это, и как я к этому еще близка! Мне хочется набросать, поскорее: в сером легком платье я стою перед ним, наводя на него аппарат и спеша, и жалея, что вот уже садится солнце. И так мало осталось пленок... Яркий последний свет к западу идущего солнца ослепительно залил его милую комнату с картинами по стенам; на столе милый и частью мной причиненный беспорядок, среди его вещей — моя сумка, лорнет; мы курим; маленький стакан с розами, они осыпаются, а вода блестит серебром и прохладой, — все это горит в последних лучах нашего, должно быть, последнего, общего дня! Ни он, ни я не касаемся сейчас этих вопросов, и, быть может, обоим нам кажется, что вся их трудность — нами изобретена.

Я только больше хочу снять сейчас, вот так — interieur, это окно, розы, и его у стола; он уговаривает остаться, но я бросаю на стол папиросу, и, говоря, что «скоро, скоро, сейчас», галопом сбегаю по крутой лесенке и галопом же мчусь по горе до угла, до зеленого сада, где сажусь на извозчика и еду в город. Кое-где, в домах, в мелькающих по бокам, переулках, ярко горят окна, — закат — ветер рвется порывами, шумят колеса, вот Итальянская, легкое платье мое волнуется, я соскакиваю у магазина, заряжаю и еду назад. Солнце еще

ниже и ярче, и все уже зажжено и розово, и еще нежней тополя...

Ворота. Лай собак. Я вхожу. Я снимаю. Вот он стоит передо мной, заложив назад руки, и улыбаясь так мило, что я никогда не смогу этого передать. Его острое больное лицо, маленький рост, русые волосы... Потом interieur. Эти розы.

Солнце еще не село! Последние его, свежие и пронзительные лучи освещают нас!..

Маленькое воспоминание: в тот час, когда я решала, ехать к нему или нет, он вдруг порывисто встал со своего стула на совете и стал ходить взад и вперед по комнате, не зная, что с ним...

Выходим на крыльцо, где море и огоньки, и я предлагаю пройтись. Ночь прекрасна. Под гору сходим мы мимо Венеры к морю. Я предлагаю дойти до вокзала, проводить Л. У меня сердце бьется. Четко звучит наш ускоренный шаг, четко бросил лорнет мне в глаза — волны и огоньки; я иду — на что — я не знаю: быть может на то, чтобы перечеркнуть Ирину из «Дыма», на ходу уже — впрыгнуть в поезд, кинуть руки на плечи...

Мимо нас, очень быстро, с грохотом, в дыме, и сияя огнями, проносится пассажирский поезд!..

Мы все же доходим до вокзала, раза два прогуливаемся по платформе, я с жадностью гляжу на те доски, по которым он только что проходил... Он быстро мчится сейчас; может быть, стоит на площадке... Не судьба!

Ах, как я была права, говоря, что любовь никогда не кончается! И хотя и невозможно и ненужно мое возвращение к нему ради узнания «белого и черного», как он мне тогда говорил; хотя я неопровержимо знаю это «белое» и это «черное», вернее знаю, что ни белого, ни черного нет, но вот, без этих и вообще без всяких вопросов — тоска легкая и глубокая, и я все помню, все до последнего слова; все до последнего жеста, и эту папиросу из его рта, которую мне было так сладко, так сладко курить...

И акации.

И его голос дразнящий и нежный, какую-то игру в любви, какую-то прелестную улыбку над тем самым, что для меня и для него – было серьезным. Навек я запомнила мои утра у него, и затем его вечера у меня, и тот вечер на море с прожектором, и булочную, где я ела пирожки и пила молоко по дороге к нему, в серебристом платье, с челкой моих русых волос. Да, конечно, это теперь уже прелестный рассказ, это уже сбоку от пути моего. Но... повторяю: любовь никогда не кончается. И затем: все что было, было: и горько, и глубоко!

Той минуты, когда я сидела на подоконнике утром 17 мая, простившись с ним, и, перевесившись в окно, глядела, как он уходит, и не чувствовала под ногами никакой почвы, и не видела никакого будущего, этой минуты, которой никто не измерил, и которой ничем не вернуть, – этой минуты я никогда не забуду!

До следующей минуты тоски, Л., я прощаюсь с Вами, до следующего раза, когда я вновь пойму, что любовь никогда не кончается. Тихо и легко, серьезно и в то же время играя, я губами касаюсь Ваших волос, и где-то земля для нас все-таки «вертится» и я настаиваю на этом, – и значение этих слов понятно только Вам!..

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА В СУДАКЕ

О пребывании сестер Марины и Анастасии и Марины Цветаевых в Крыму немало написано – писали о них, и сами они оставили о тех годах – 1911-21 немало страниц... Однако мне хотелось бы вспомнить о неизвестных и малоизвестных фактах пребывания А.И. Цветаевой в Судаке. Особенно в 1919 году... Они почерпнуты большей частью из наших бесед за те девять лет непосредственного общения, когда я был в период 1984-93 гг. литературным редактором и секретарем

старейшей писательницы России, проза которой относится к классике российского мемуарного жанра. Такая оценка ее наследия стала особенно явственна, когда ее знаменитые «Воспоминания» нам удалось в 2008 году опубликовать в ныне уже не существующем издательстве Бослен, подразделении известного «Вагриуса» – в двух томах, первый – 816, второй – 800 страниц, с комментариями и предисловием.

Итак – расшифровка магнитофонной записи нашей беседы о давних временах пребывания Анастасии Ивановны в Крыму... Далее – по моим выпискам и заметкам, в которых звучит живая разговорная речь... И немного – по тексту мемуарной прозы писательницы, и по страницам исследователей той эпохи.

«Вот когда я осенью 1919 года переезжала из Коктебеля в Судак, потому что мне сказала Пра (Елена Оттобальдовна Киреенко-Волошина, мать М.А. Влошина): – Ты тут зиму не проживешь, мы с большим трудом, таким трудом достаем дрова зимой, ты, у которой ребенок на руках, – мы еще взрослые, – лет семь Андрею, – тебе же нужно тепло для него, а ты не сможешь это ему достать, никак – поговори лучше с Герцыками, может они найдут тебе помещение, поезжай в Судак на зиму. Я так и сделала. Герцык мне нашли две комнаты там, у соседей, Капнистов. Они тогда, естественно, не были еще расстреляны и жили себе спокойно, а рядом с ними жила старуха, Крыжановская... Дочь ее была в отъезде, где-то... Работала ближе к военным действиям, а старуха жила одна. У нее была дача в несколько комнат, вот она согласилась мне две сдать, Я решила туда приехать, – а мы с Пра уже в это время посолили на зиму капусту, а потом опомнились, что будет с дровами. Муки я достала, купила много бутылок подсолнечного масла на зиму и, кроме того, такой квадратный, как бывает, такая канистра, полная подсолнечного масла на один пуд, это было 16 килограмм.

Когда я ее, между прочим, подняла, приехав в Судак, я ее подняла одним пальцем, потому что она стукнулась о какой-то болт на телеге и «улила» этот пуд на всю дорогу, я приехала — он был пустой, но у меня были еще бутылки. Дело было осенью. Со мной поехал молодой человек, так как он был не татарин и не еврей,.. то он начал пить с того времени, как мы тронулись и в каждом месте, где только была какая-нибудь там возможность, он пил, пил и пил. И вот когда мы до гор доехали, он был уже совершенно пьян. Дорога шла по шоссе.

И вот когда мы... Ночь была, мы выехали днем, но он все время так долго пил, бедняга, везде, мне приходилось ждать... А у меня мажара была вся нагружена, на целый год всего накуплено. Значит, я все это везла, например не ведерко, а корыто с накрошенной туда уже посоленной капустой, так ее и везли, но так как оно хлюпалось вот так, и потом, наверное, где-то просачивалось, я уже не сообразила, потому что лет мне было не очень много, в хозяйстве я не была очень опытна, и сок капусты проливался на муку. Потом картошка, один мешок картошки тоже где-то там разорвавшись, высыпался, может быть там не целиком, но много очень картошки высыпалось в осеннюю грязь, и так я не хотела оставить картошку в этой грязи, что пожертвовала подкладкой зимнего пальто, темной, и мы ходили из грязи ее собирали и клали в эту подкладку. Потом спасенную картошку мы завернули рукавами этой шубы, которая была бархатной и так везли. Вот... Но когда мы доехали до Коз, было уже темно, а он полез, там, наверху, была еще какая-то таверна, и он полез наверх, а лез он очень плохо. потому что он был очень пьян, как он не свалился, не знаю, наверное от желания выпить и поэтому он все-таки шел, но там, когда он выпил, он, вероятно, уснул. Луна взошла, и мы с Андреем сидим, — а Андрей, — это, положим, уже позднее — у него были философические изречения в семь лет. Он держал судорожными лапками какую-то вещь, которая

на него падала, а меня утешал, говорил: – Но ведь это когда-нибудь же кончится! И вот в это время я мечтала, думаю, хоть бы зеленые появились. Они выпрягли бы коней, они нам все равно не нужны, они нас никуда не везут, пусть они возьмут коней, я бы сказала, берите коней, но как-то и куда-то нас довезите все-таки. Довезите, а потом берите за расплату коней, довезите нас до Судака и вообще я фантазировала, что я буду им говорить, когда они появятся, потому что было известно, что в Козах нападают зеленые. Но они от какого-то упорства почему-то не напали. Все-таки мы под утро, ну глубокой ночью, еще темной, увидали спускающуюся, качающуюся фигуру нашего этого (кучера)... И вот, не помню, тут или где в другом месте он мне сказал: – А как ты есть жидовка, то я тебя дальше не повезу! То, что я человек этой национальности он, видимо, решил потому, что я одела в дорогу такой серый халат, теплый, который был немножко похож на пальто, тут были такие кисти, а у меня были кудри почти до плеч и такая ермолочка на голове... (...) И длинный рюш, и он решил, что я еврейка и никак не хотел везти дальше, так что мне пришлось вынуть крест. (...)

Тогда он понял, несмотря на пьянство, что крест – значит не еврейка, и повез нас дальше. Но когда мы приехали туда, мне пришлось вспомнить Мирабо, который говорил, давал такие указания, что если на вас нападает собака, то ей надо глядеть прямо в глаза и она перестанет нападать. Я не очень верю в это, но все-таки подумала – попробую. А пришлось пробовать в таких, значит, условиях: мы доехали до Кржижановских, знаете, фамилия была такая – Кржижановские, но там было темно, уже в Судаке, мы повернули к Алчаку, это было недалеко от Алчака, к морю доехали и там ее последний дом, по-моему, к морю был Кржижановских, не у самого моря, но на подступах к Алчаку. И вот мы стучали, кричали ей, он стучал в окна, никакого движения. Я не знала, и никто не мог знать, что она в гостях у Капнист, у соседей, но к ним, почему-то наш стук не доносился. А он

пошел стучать, постучал-постучал в окно, никто не отворяет, он лег под окном и уснул, а я их обнаружила позднее... Было, в конце концов холодно, Андрей у меня простудится, что я дальше буду делать и как мне стоять дальше?.. А лошади уже копытами разбивали ледок, потому что это было уже в октябре, холодно было, или в ноябре... И вот, когда мне пришлось вылезти, потому что я поняла, что он уснул, потому что я звала, как его там звали, он не отзывался, и я поняла, что мне придется мимо собаки проходить, а собака эта, будущий мой друг, я его называла в дальнейшем Марсик, порядочная такая собака, черная, очень агрессивная, она на него кидалась страшно, он ее ткнул чем-то и пошел и скрылся за поворотом, где были окна и там он начал спать и перестал стучать. А я... Мне нужно было идти мимо пса, у меня ничего не было, чем защищаться от собаки и, вообще, что делать с собакой, И вот я вспомнила Мирабо и стала вот так глядеть на эту собаку, боялась я смертельно, я чувствовала, что у меня уж ног нет, как говорил один человек, который увидел медведицу и сказал, что когда ее увидел, – он был честный, – не врал про себя, про храбрость, а сказал, что у меня от колен ног не стало, я когда увидал ее. Так и у меня, я чувствовала, что и у меня от колен ног нет, я иду, сама не знаю как... и все на него гляжу и все никак... А он, пес, как-то удивился, видимо, и, представьте себе, действительно, перестал, а, может быть, презирал, что я женщина, не знаю. Перестал (по-собачьи) орать и как-то ворча, ушел вглубь. Тогда я уже расхрабрилась, дошла до этого окна, мне неведомого, разбудила его (возницу), растрясла, и подняла его и так под руки мы с ним, он меня валил, я чуть не падала... Так я довела его до нашей (мажары)... Вот тут Андрей вцепился в какой-то кофейник, который на него летел, и сказал мне успокаивающе: – Ведь это когда-нибудь кончится!

А когда дома, он мог ныть от любого, в 5-6-7 лет от всяких пустяков, а как только наступало какое-нибудь испытание, которых у нас было много, он вел себя совершенно мужест-

венно. И вот он опять сел, этот возница, и повез нас через четыре километра этой долины, повез в сторону, где жили Герцыки. Я не хотела с вечера их будить, когда мы ехали. И потом, я же знала, что мне все равно ехать к Алчаку, так что я правильно сделала, но там ничего нет, значит пришлось… И мы ехали, чавкали по этим ледкам, доехали до Герцыков. Они жили как раз с противоположной стороны, близко от камней… Есть там такая Сахарная Голова, маленькая такая гора, крутая, как сахарная голова… Ну, проехали эту Сахарную голову, доехали до их двора… Тут прямо под ноги он и свалился и уже не встал… Тогда их работник его отставил в сторону, распряг коней, повел их кормить, поить и так далее, ну а меня решили оставить на вещах. Тогда мне… Там была такая теософка, мачеха (Аделаиды и Евгении) и мать еще одного ее брата Владимира Казимировича Герцыка. Она мне принесла свою ротонду, а ротонда, это надо вам объяснить, а «Ротонда» это есть в Париже такой ресторан, а эта ротонда — та, о которой мы говорим, — это такая особая была в прошлом веке одежда без рукавов. Она надевалась прямо на плечи, тут она застегивалась и обнимала плечи, грудь, бока, живот, мы были как вшитые и всегда это было самым низом обшито бархатом и на подкладке. Вот такую ротонду она мне принесла, я в нее закуталась и заснула до утра. Андрея взяли от меня в детскую. Видите ли… Вот такое приключение у меня было…»

Помните, как говорил Станиславский: — Если не выстрелит ружье, то не надо о нем говорить… Тут так было… Помните, я сказала — дочь ее (Кржижановской) была я отъезде. Еще пока я у нее жила, потому что потом я переехала от нее, приехала ее дочь откуда-то из гущи событий, ну мы не спрашивали у нее ничего, рады, что она приехала. Я с ней очень подружились, веселая, милая девушка, кареглазая, невысокого роста, веселая, остроумная, очень приятная. И мы с ней начали соревноваться, кто лучше шьет кошек из кусочков бархата. Мы шили маленьких кошек, сидели у

печки, разговаривали. Андрей в это время наверное, что-то рисовал или даже переписывал страницы…Так мирно шла жизнь. Она прошла, зима. Я от них уехала ближе к Герцыкам, они нашли мне там поближе, я часто с ними общалась – зиму провела там...»

(Скажем в скобках, что семейство Герцык, о дружбе с которым повествуется в «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой, было особенно Цветаевым близко. Стихи Аделаиды Казимировны Герцик (1874-1935) читались самым тонким слоем российской интеллигенции. В ней, как свидетельствовали сестры Цветаевы, были особая сердечность и тишина, устремленность в нечто высокое, ей одной видимое, что потом воплощалось в строфы ее задумчивых и тихих, как она сама, стихов. Младшая, Евгения Казимировна (1878-1944), переводчик, критик, мемуарист, осветивший многие крупные фигуры Серебряного века. Сестры Герцык дружили с Н. Бердяевым, Вяч. Ивановым, Л. Шестовым, К. Бальмонтом, М. Волошиным и множеством других замечательных личностей, которые бывали у них и в Москве и в Судаке...)

Наше отступление прерывает голос Анастасии Цветаевой:

«...Весной Марина прислала за мной человека с пудом белой муки – это была весна 1921 года... – муку на дорогу и могла доехать до Москвы, и сборник стихов прислала, который она мне посвятила тогда… Уникальные такие стихи, которые сейчас мало известны: «Я эту книгу посвящаю ветру…» и т.д.

Я получила это, она была напечатана, но так как печатают теперь машинки по новой орфографии, а Марина по этой серой вязи красными чернилами везде вставляла ять, и с точкой, твердые знаки. Это было до такой степени трудно читать, почти невозможно, потому что все это рябило… И я уехала в Москву.

Девять дней мы ехали. Это описано, а потом, уже в Москве будучи, я услыхала, что нашли среди бумаг при обыске у Кржижановских маленькую бумажку, которую забыла унич-

тожить Олечка Кржижановская и из которой значилось, что она работала в ОСВАГе, может быть машинисткой, вполне невинной, но ОСВАГ – осведомительное агентство, примерно что наше КГБ. И ее расстреляли. И заодно вывели мать, и мать тоже расстреляли.

А вскоре после этого, а может быть, до этого, расстреляли их соседей, Капнистов. Капнист был довольно надменный человек, этот самый Капнист Ростислав. Так ли он гордился своим графством или какими-то своими достижениями, не знаю, но когда он попал в тюрьму, недолго там его держали, не сразу расстреливали, то он через кого-то получил Евангелие, от него не отрывался, и когда его вызвали на расстрел, он вышел с ним. А брат его Никита, – Ростислава я не видела ни разу, а его брата Никиту один раз видела, то есть при свете луны мы с Евгенией Герцык шли вместе, куда-то торопились, а навстречу нам вышел такой статный высокий человек с бородой, он мне показался так похожим на романтического графа-разбойника, которые встречались в прежние годы. Я полюбовалась на него немножко, созерцательно. Больше я его не видела. И вот он, ошибившись, вот так обходил он (делает движение рукой, показывая подъем наверх, а затем спуск. – *Ст. А.*) гору, то есть если бы он так обходил гору, вверх ему надо было идти, то, может быть, он избежал бы их, он бы сообразил. Но он по ракурсу стал идти и вышел на какую-то поляну, где, по его расчетам, должны были быть белые. Он вышел к ним, вынимая свой документ, и сказал: – Я граф Капнист! – а ему ответили: – Вот тебя-то, нам, голубчик, и надо! Вот они его расстреляли, это были красные. Так вот эти два брата погибли».

В книге Алексея Тимиргазина «Судак. Хроника российского периода 1788-1917» (Симферополь СГТ, 2015, на с. 457), автор, среди прочих ценных исторических подробностей, рассказывает о семействе графов Капнистов – «Граф Ростислав Ростиславович Капнист к 1917 году жил на даче

своей тёши, Е.П. Байдак, в Судаке вместе с женой Анастасией Дмитриевной, сыновьями Василием, Григорием, Андреем и дочерями Елизаветой и Марией. В качестве уполномоченного Земского союза в период с сентября 1919 по апрель 1920 года, когда в Крыму находились части Добровольческой армии, Ростислав Ростиславович занимался устройством в Феодосии склада медикаментов для госпиталей. 23 декабря 1920 года Р.Р. Капнист был арестован большевиками, на следующий день на даче Байдак был произведён обыск в присутствии старшей дочери графа, пятнадцатилетней Елизаветы. 13 января 1921 года граф Р.Р. Капнист был расстрелян на горе Алчак. Перед расстрелом граф три недели провёл в подвале судакской ЧК одновременно с Аделаидой Герцык. «Графу К.» был посвящён первый из пяти «Подвальных очерков» Аделаиды Казимировны, озаглавленный «Todesreif» (в переводе с немецкого – «Готовый к смерти») [С.Б. Филимонов, Тайны крымских застенков, 2003, с. 216-220]. Граф оказался человеком с богатой внутренней жизнью, а его поведение, интерпретация Евангелия и рассуждения на тему соотношений между человеком и миром, человеком и временем, настолько контрастировали со схематичным образом надменного аристократа, что это вызвало констатацию Аделаиды: «Я забыла, потеряла прежний облик его, с которым так не вязалось то, что он делал теперь»...

Старшая дочь графа, Елизавета, только на два дня пережила своего отца. Как писала Аделаида Герныk в тех же «Подвальных очерках»: «Тоненькая девочка с прозрачными глазами подвижницы не вынесла павшего на неё бремени. <...> И когда разнеслась весть о его гибели – ужас охватил её. Ужас, что она не смогла спасти его, не сумела сделать того, что нужно. И странный нервный, внезапный паралич в два дня унёс её» [Филимонов. Тайны крымских застенков, 2003. с. 216]».

Возвратимся к устному рассказу А.И. Цветаевой.

«...Как уцелела мать их, старуха, уцелела, не знаю, куда она делась, а жена Ростислава с его дочкой маленькой, Машенькой ее звали, они несколько лет скрывались после расправы, и удалось им скрыться, а теперь жива эта Машенька; тогда это была маленькая девочка, когда я ее видела, лет пяти она была, теперь это очень высокая старуха, которая играет в кино ведьм, у нее такая наружность, резко выраженный нос длинный, худая, большие глаза, такие пламенные, и она действительно играет Наину (персонаж из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», имеется ввиду одноименный кинофильм режиссера А. Роу. – *Ст. А.*) и еще каких-то таких старух....

Ст.А.: – Тоже под фамилией Капнист...

А.Ц. – Да, Капнист, да. И она, когда тетерь ведь это все утихло, она, когда было <...> двухсотлетие... графа Капниста, который был поэт и была память о нем, то вот, она выступала и читала о своем предке, ну она так очень артистична. Она шестнадцать лет была в лагерях... Она все пережила и осталась жива».

И о ней есть сведения в той же 457 странице судакской хроники Алексея Тимиргазина: «Младшей дочери графа, Марии Капнист, в момент расстрела отца было около семи лет. Впоследствии она училась в Ленинградском театральном институте, но в 1934-м из-за дворянского происхождения была исключена из него с запрещением жить в Ленинграде. В 1941 году репрессирована «за антисоветскую агитацию и пропаганду» и освободилась только в 1956-м. В 1958 году ей удалось получить роль игуменьи в фильме «Таврия», после чего она снялась более чем в семидесяти фильмах, в том числе «Пропавшая грамота» (1972)... «Старая крепость» (1973), «Табор уходит в небо» (1976), «Сердца трех» (1992) и др.»

Разговор с Анастасией Ивановной продолжается.

Ст.А. – Все-таки с чего же началось (в Крыму) Ваше духовное христианское обращение?..

А.Ц. – Оно давно было, оно давно шло, но я пришла к церкви, а до тех пор я бывала на собраниях теософских в 1919 году в Судаке. Там была мачеха Аделаиды и Евгении Герцык, она была теософка...

Ст.А. – Как ее звали?

А.Ц. – Ее звали Евгения Антоновна Лубны-Герцык.

Ст.А. – А психологически какой она была человек?

А.Ц. – Очень приятная женщина.

Ст.А. – Волевая?..

А.Ц. – Очень воспитанная, очень образованная, очень благожелательная..

Ст.А. – Но твердая, утвержденная в себе?

А.Ц. – Какие-то там тоже бывали у нее единомышленники.

Ст.А. – То есть до обращения к церковному христианству Вы тянулись к теософии.

А.Ц. – Да, я даже... Какой-то был Столяров, который возглавлял это общество в Москве. Где-то он жил там недалеко от папиного музея. Я один раз шла записаться к нему, но не застала его дома. И потом как-то распалось это, а тут вскоре начались гонения – их стали выселять из Москвы. И я порадовалась, что не успела записаться, не попала в этот список, могло бы тоже меня коснуться.

Ст.А. – Конечно.

А.Ц. – А так как с перевоплощением (*идеей реинкарнации. – Ст. А.*) я внутренне не соглашалась, то я легко... А теософы они... Это же их идеи... У меня были хорошие (с ними) отношения.

Ст.А. – Но наверно речь там шла о духовных опытах личных людей...

А.Ц. – Нет. О личных нет. Нет, она говорила именно философские обоснования. Очень мягко так излагала.

Ст.А. – А Макс Волошин, он тоже был близок к ней?

А.Ц. – Он был не теософ, он был антропософ. В моей первой книге, «Королевские размышления», (1914 года), я доказывала небытие Божие, потому что старалась Его, Бога уложить в лоб, а он не укладывался! Так вот там есть, наметано, несколько страниц моего спора на философские темы с Волошиным...».

Теперь же пришло время открыть судакскую страницу романа Анастасии Ивановны – «Amor». – «Сегодня утром – отчего? – ей все вспоминалось, как сын её Сережа лет семи, в один жаркий час, в Судаке, в начинавшийся голод, пришел к ней с расширенными, чему-то ужаснувшимися глазами. «Мама! Как это может быть?» – сказал он, остановясь от бега, тяжело дыша. Она прервала его: «Что с тобой?» (и рукой – о лоб). Но он нетерпеливо отмахнулся. «Слушайте! Как это может быть? Б е с к о н е ч н о с т ь... Не было начала – и нет конца! Мама! Вы – понимаете?» Она чувствовала: ему, всем существом его, хотелось, чтобы она сказала: «Да, понимаю, и ты поймешь, потом, когда вырастешь». Его глаза молили об этом. Она никогда не могла лгать ему. Она ответила, что этого никто не может понять, что это... – и хотела прижать к себе и погладить родную головку, но он в каком-то негодовании уклонился от ласки – и пошел от нее, не побежал, а пошел... Ей и сейчас было больно от этого его движения...» (А. Цветаева, «Amor», М., «Современник», 1991, с. 113).

И все же жизнь брала свое. В 1919 году в Крыму развились взаимная привязанность и творческое сотрудничество с Георгием Цапоком. Живя в Судаке, они вместе создают две модернистские рукописные книги: «Начало и конец» и «L'eau» («Вода» – *фр.*). Эти книжки не сохранились, но, может быть придет день, и они все же будут найдены... Георгий Антонович Цапок родился 2 мая 1896 г. в Харькове. Закончил Харьковское художественное училище (1914-18), где обучался у М. Пестрикова, О. Любимова, Г. Горелова. Жил на Семинарской улице. Ко времени встречи с молодой Анастасией Цветаевой он

уже был признанный в своем кругу театральный художник-практик. Среди множества спектаклей, которые он оформил, критика считает лучшей его раннюю театральную разработку – спектакль «Перикола» по оперетте Жоржа Оффенбаха, поставленный в 1917 году в Харьковском театре оперетты. То есть, он ко времени постановки, был еще студентом. И совсем уж знаменательно, что Цапок слыл на родине провозвестником «нового», левого искусства. Он – член группы харьковских кубофутуристов «Союз Семи». С другими участниками «Семёрки», куда входил и художник Б. Цибис, – конкретно с Бобрицким и Косаревым расписал открывшееся осенью в подвале дома «Саламандры» кабаре «Дом артиста» на харьковской Сумской улице. Надо сказать, что ныне авторские работы кубофутуристов того времени весьма высоко ценятся. Они выставляются в музеях и на аукционах. Из той плеяды широко известно имя Бориса Косарева, признанного «одним из крупнейших сценографов Украины 1920-х, – 40-х годов». Судя по сохранившимся работам, Георгий Цапок был совсем не лишен таланта. Он оформлял книги, рисовал плакаты. Однако с Анастасией Ивановной, человеком в те времена подчеркнуто не авангардным, не принимавшим легко и оптимистично «новую линию» жизни, отношения сначала сложились, а потом стали расстраиваться, пока окончательно и трагично не разорвались. С голоса Анастасии Ивановны мы узнаем, как это было:

«...Ст.А. – Это Цапок...

А.Ц. – И вот о нем просто упоминание есть, что она, (*Ника в романе «Амор»*) говорит в разговоре с Андреем,.. что “у меня была встреча такая с художником, но потом это распалось” – я так и догадался, что это Цапок.

А.Ц. – Через много лет я читала о нем статью, видела его фотографию, по-моему он был ненормальный, все что он говорил, он врал. Он мне рассказывал про свою жену-балерину. Была ли у него жена, – неизвестно... С которой он

расстался, видимо. Чуть ли не подарил ей черный бриллиант… По-моему все они распадались, все эти рассказы…

Ст.А. – Вы говорили, что вы написали как-то книгу – “L’eau” , кажется она называлась… Как она называлась?

А.Ц. – “L’eau” – “Вода”… Ироническая такая книга, что все течет как вода… Еще одну тоже… Еще книгу мы с ним вместе написали, она называлась “Начало”, а на последней странице так же крупно было написано “Конец”… На каждой странице было по несколько фраз… И так нисхождение… их расхождение… все так и прошло…

Ст.А. – А скажите, он… В какой мере он участвовал в этой книге, он писал какие-то фрагменты туда?

А.Ц. – Нет… Я писала (и записывала фразы со слов Г. Цапока. – *Ст. А.*), конечно. Не он. Я помню, что когда я ему дарила… Он мне… (он театральный художник был…) – когда мы еще дружили – он мне сказал – напишите – «Георгию Цапоку, – Анастасия Цветаева – Навсегда!». Он понимал, уже чувствовал, что я… отойду… Он оставил мне экземпляр. Это рукописные книги были – но все же пропало у меня…

“L’eau” – Г. Цапок, мой соавтор, с юмором относился к нашим отношениям. Когда что-то их поколебало, мы... медленно наблюдали, как они распадались. Струйка юмора заключалась в том, что в одном отрывке говорилось о том, что... мы брали из жизни, не выдумывали. Контраст был в том, что мы очень просто отнеслись к воде... Строки были как напевы. То же самое люди. Один спрашивает – Сельтерская вода, она кипяченая?..

Самое ошибочное, недоброкачественное из моей жизни – как я могла в нем, в основе не разобраться – ласковость принять за нежность, вообще все – «за»!».

И еще из другого разговора с Анастасией Ивановной:

«Ст.А. Чем отличаются “Королевские размышления, 1914” ваши от других, это тем, что они стилистически строги. Это

философская книга, “Дым, дым и дым. 1916” это свободная, развернутая, дневниковая...

А.Ц. Как я говорю, там мысли, а это чувства!

Ст.А. ... Да. Но далее в вашем творчестве эта свобода, она не иссякает. Правда, не знаю, как, насколько она была выражена в вашем «Начало и конец» о котором вы мне рассказывали?

А.Ц. Ну это – пустячок... это фокус... Там изгибом тайного зла, там тот, в котором я разочаровываюсь, участвует в моем лаконическом описании разочарования... Так что там цинизм его.

Ст.А. Да, да.

А.Ц. Он врал, вероятно, про красавицу жену, которая где-то была... про черный бриллиант который он имеет, все врал... а обаяние, нежность в нем были, но это же ничего не стоит, если нет основы...

Ст.А. Это Цапок...

А.Ц. Да, я легко перенесла это... Он доходил до такого цинизма, что зная, что я вся в нарывах от недоедания,.. мне нужно за водой для питья идти туда двадцать минут по дорогам горным и оттуда нести это ведро. Я его попросила мне принести ведро. Он как бы обещал, поцеловал руку, подарил розочку, проходя, и не принес этого ведра, ну что ж, это уже простой цинизм, не интересно даже.

Ст.А. А в книге что еще было?

А.Ц. Я пошла потом, я пошла за этим ведром, и притащила его, с дикой болью, и когда поставила его, получился такой приступ в виде истерического плача и тут вышло не меньше стакана гноя, гной прорвался от напряжения.

Ст.А. В груди?

А.Ц. Да.

Ст.А. А скажите, в книге что еще было?

А.Ц. Отдельные изящные страницы, очарования и разочарования.

Ст.А. Не большая она была?

А.Ц. Нет, маленькая. В палец толщиной, на каждой странице по несколько слов...

Ст.А. А «Вода»?

А.Ц. «L'eau» – называлось. Там были взяты всякие сцены, и любовь, когда впервые вместе что-то... Там вода, а не вино... И через все сцены, где упоминается о воде, показано как рушатся их отношения...

Ст.А. Это была другая книга?

А.Ц. Другая, маленькая. Несколько страничек... На таком горьком остроумии построено.

Ст.А. А в каком году это было?

А.Ц. В 1919-ом.... Это первый человек, с которым я разминулась... Когда я ночевала у четы (Петниковых).. они похоронены в Старом Крыму. (...)

Ст.А. Григорий Николаевич Петников... А какого качества его поэзия?

А.Ц. Величавое чудачество такое».

(Тут следует напомнить, что у поэта Г.Н. Петникова, жившего последние годы и похороненного в городке Старый Крым, есть стихотворение «Мы, видно, погостим ещё», посвященное Анастасии Цветаевой. Виделись они и в сентябре 1968 года, сохранилась фотография, где Петников, А. Цветаева, ее внучка Рита Трухачева и певица М. Изергина, жившая в Коктебеле.)

В романе «Amor» читаем – «За последние полгода в Судаке они с сыном испытали голод, лежали в больнице Красного Креста. Их оттуда свели под руки. В результате того, что Андрей, приславший ей достаточно денег, получил их назад, вместе с приветом и благодарностью. Теперь, поправившись, она решила искать работу – частные уроки у неуспевающих...»

И еще обратим внимание и на мемуарное свидетельство о жизни в Крыму, в Судаке из второго тома «Воспоминаний» Анастасии Ивановны:

«— Ну, а потом что было? — спросила Марина, шевельнув головой у моей, и ее волосы легли мне на щеку, точно мои, — ты осталась на зиму в Коктебеле?

— Нет, там было трудно с едой Андрюше и с дровами. И не было зимних комнат. Мы зимовали в Судаке, где нападали зеленые. Там они на нас не напали, а позднее на Судак, когда мы лежали, в голод, в Красном Кресте.

Город защищал чехословацкий отряд, им руководил русский. Их было двадцать семь человек, кажется; они отбили нападение трехсот зеленых. Те перерезали провода, овладели банком, почтой. Красный Крест, где мы лежали с Андрюшей, был в самой зоне огня.

Пули свистели. Это было так сразу — в палатах захлопнули ставни, но мне надо было идти через двор, и я ощутила страх. Трусость. Я боялась идти мимо пуль.

Было много убитых за больницей. Во дворе был убит молодой отец двух детей, приехавший навестить их и больную жену; только выбежал во двор — наповал. Сколько я видела горя за эти годы! В нем притупилось мое.

— Чем ты жила в Судаке?

— Вещи уж ничего не стоили (да их уж и не было) — сказали мы, как встарь, в унисон — и тихонечко, в унисон, рассмеялись — унисону ли или концу вещей?)

— Продала последние кофты с шитьем и ночные рубашки, нижние юбки, мамины — носила их под окнами в немецкой колонии, выпрашивая Андрюше молоко. Так мало давали!.. А когда кончилось, и ничего не было кроме кулька проросшей картошки, мы слегли. Соседка носила нам каждый день чайник воды — пресной! на вес золота — колодцы были только в колонии. Двадцать минут по горной тропинке — я уже не могла, фурункулез замучил, вся в нарывах, не могла дотащить ведра. Екатерина Николаевна (Калецкая. — *Ст. А.*) — упоительная женщина, умница и красавица, из Петербурга, как и мы из-за войны в Крыму застрявшая, у самой больные мать, дядя и девочка, а носила нам с питательного

пункта суп (лук и мука); остаток жижи мы оставляли в тарелке, чтоб в нее окунать компрессные тряпки – у Андрюши началось желудочное, у меня боли справа – помнишь, тоже были в детстве? Друг другу ставили компрессы, приподымаясь, кровати стояли рядом. Жара... Питье из чайника (кипяченого!) Екатерина Николаевна цедила по крошке, как серебро – она же свое нам отдавала, тащила воду семье, и не всегда ей давали в колонии...

– Вы ели один этот суп?

– Были еще сухари, кончились. Картошка (мелкая, зеленая, старая, ушла в хвосты, отростки как змеи, там уж нечего было есть). Лежали двенадцать дней. Были на очереди в Красный крест. И вот – (о тех праведниках, которыми уцелевал город в Библии!) послушай: лежим, и вдруг, на лиловом фоне совершенно генуэзского неба – рука, коричневая, шорох за окном и на подоконнике что-то зеленое. И рука исчезла. Я кое-как слезла, дотащилась до окна: просто ослепнуть – на лопухе (и где она лопух-то русский, тарусский нашла на раскаленном морском берегу?) аккуратный овал, как их продают, фунт сливочного масла, толстый и свежий. Розоватый. Глаза – не поверили: масло! Этим маслом мы и спаслись, с сухарями – дожили до Красного Креста, нас туда потом свели под руки, и мы там пролежали около двух месяцев. Что же оказалось? – Старушка, чья-то няня (мальчика, с которым до болезни играл Андрюша) узнала, что мы оба лежим больные и без еды. Она связала носки, понесла их в колонию (наши, русские немцы), продала носки за фунт масла и поставила его нам на окно.

– Какой такт! Не зашла! Не смутила! – сказала Марина.

– И хоть бы знакомая! И в глаза ее не видала!

– Совершенно святой поступок! – упоенно и строго сказала Марина.

– Нет, знаешь, это так: два типа людей (я в Судаке шутила): виноторговец, богач, про бутылку (пустую) – «О, бутылка

стоит 300 рублей!» А обнищавшая старуха с горьким смехом мне: «А что теперь деньги стоют? Что такое 300 рублей? Это ж одна пустая бутылка!» – Ох, как разно люди живут в нужде, и как она показывает человека…

– А Герцыки? – спросила Марина.

– Герцыки нам помогали сколько могли, без них мы бы умерли. Но у них самих было трое детей, Аделаида, Евгения, их мачеха, старая няня детей и не встающая с постели много лет Люба Жуковская. Мы обедали у них каждый раз как бывали, они нам давали сухих груш, сухих яблок… И был еще один человек, в Судаке застрявший, – профессор Кудрявцев, геолог. Его статьи – в энциклопедии, петербуржанин, старик. Стал совсем нищий, спал где-то на стульях. Голодный… Иногда приходил к Герцыкам, ко мне, я, пока еда была, его угощала. Большой чудак, атеист, Мне бы встретить его лет за пять до того, восхитилась бы! Теперь я его очень жалела (и за эту атеистическую непримиримость еще больше…). И вот, он пришел проводить меня на пристань, вечером, в жуткий ветер. И принес мне последнее, что имел: новую, тонкую, прежних своих времен, мужскую рубашку! Чтобы я ее в Феодосии продала: «Вам с ребенком на первое время!» Я еле его умолила взять рубашку назад и беречь на свой черный день. Обиделся, совал мне ее… Но как я могла взять! Я над этой рубашкой ревела.

– У тебя какие-то другие люди были, – сказала Марина с задумчивой горечью, а у меня – ублюдки. И петухивы. Я от такого совсем отвыкла. Глотку друг другу рвали!..» (А.И. Цветаева, «Воспоминания», в 2 т., т. 2, 1911-1912 годы, М., «Бослен», 2008, с. 515-518).

Анастасия Ивановна рассказывала, и не раз повторяла, что они дожили «до Красного Креста, нас туда потом свели под руки», – но она и конкретно называла имя той организации, которая спасала голодающих и умирающих от бескормицы и безработицы в Крыму. Этим «Красным Крестом» была

американская миссия помощи, имевшая название АРА. Вот что узнаем о ней из исследования Рашита Латыпова – «Помощь АРА Советской России в период «великого голода» 1921-1923 гг.». Исследование опубликовано в Научно-культурно-логическом журнале «История» 2013. № 13 (269). С. 250-279. – «В 1921-1923 гг. в Советской России произошла одна из самых страшных катастроф двадцатого столетия – разразившийся голод унес жизни миллионов людей (по некоторым оценкам, погибло более 5 млн. чел.). Трагедия могла приобрести еще более устрашающие размеры, если бы не помощь Американской Администрации Помощи (American Relief Administration – ARA, русское написание АРА) во главе с Гербертом Гувером, доставившей тысячи тонн продовольствия, медикаментов и одежды. Это был уникальный эксперимент взаимодействия двух противоположных систем.

Правительство США проводило политику дипломатического непризнания советского правительства, враждебно относилось к «красной диктатуре». Тем не менее, на призыв о помощи откликнулись многие как в Америке, так и в Европе, но только один человек мог осуществить грандиозную операцию по спасению огромной страны. Имя Герберта Гувера было известно всей Европе в связи спасением многих стран от голода. До первой мировой войны Гувер был успешным инженером-предпринимателем в горнорудном деле. Его отличала колоссальная энергия, изобретательность, прекрасные управленческие качества, а также скромность и трудолюбие. Его имя стало широко известно в Европе и США летом 1914 в связи с оказанием помощи около 100 тысяч американских туристов, которые застряли в Европе без средств существования и возможности уехать домой из-за начавшейся Первой мировой войны. Гувер за короткий срок организовал в Лондоне комитет помощи, нашел средства и организовал транспортировку своих сограждан за океан.

Гуверу удалось убедить правительство и общественное мнение, что надо помочь не большевикам, а голодающим. За

годы войны в США накопились огромные запасы зерна, оно затоваривалось из-за невозможности вывоза на европейские рынки в связи с войной и экономическими разрушениями. Это грозило падению цен на сельхозпродукцию, кризисом в сельском хозяйстве. «Выброс» в Европу, в том числе и в Россию, позволял сохранять стабильность цен и доходы для фермеров. Помимо гуманитарных и экономических причин была и политическая – решимость, по выражению Гувера, «остановить волну большевизма» [См.: Hopkins, 1973; Weissman, 1968. P. 47; Hoover, 1951. P. 301]. Гувер считал «глупостью» посылать войска в Россию, т.к. это сделало бы большевиков мучениками и героями в глазах населения, а, с другой стороны, помогло бы им свалить все свои просчеты на внешних и внутренних врагов. Гувер был против экономической блокады России, установленной союзниками весной 1918 г. в качестве превентивной меры против сближения между Германией и Россией после Брестского мира, а затем в виде «санитарного кордона». Он был убежден в том, что деятельность АРА продемонстрирует эффективность «американской модели» послужит катализатором неизбежных процессов эрозии ее социальной основы. В свою очередь, отношение советского правительства к АРА и другим гуманитарным иностранным миссиям строилось на опасении возможного вмешательства западных стран, прежде всего США, во внутренние дела России. Например, было неясно, почему Гувер, ярый противник Советского режима и непризнания РСФСР, пошел на этот шаг. Было известно, что Гувер относился к большевикам не иначе как «банде международных преступников», а к советской власти – «так называемая Советская Республика». С другой стороны, наряду с опасениями, большевистское руководство связывало с АРА надежду, по словам Троцкого, на «продвижение экономического сближения между двумя странами»».

На этом мы пока что закроем судакские страницы долгой трагической и творческой жизни Анастасии Ивановны Цветаевой. Но это не значит, что эти страницы дочитаны и исчерпаны...

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА И ЕЕ КНИГА «О ЧУДЕСАХ И ЧУДЕСНОМ»

Книга «О чудесах и чудесном» уникальна. Не чудо ли, что рукопись ее создана писательницей, которой было без нескольких годов – 100 лет?!.

Не чудо ли, что в этом преклонном возрасте писательский талант не иссяк, а продолжал блистать все новыми гранями понимания мира?..

Две первые свои книги Анастасия Ивановна издала еще до революции. С тех пор прошли годы испытаний – бедностью, тюрьмами, лагерями, ссылкой. Но она не теряла веры, веры и воли...

Именно волевое начало сохранило в ней ту духовную пламенность, которая свойственна была и ее сестре – Марине Цветаевой, чье поэтическое наследие стало достоянием мировой литературы. Волевое начало сохранило в А.И. Цветаевой и творческую неиссякаемость.

Произведение, где на многих страницах явлено волевое начало, ее роман – «Amor», опубликованный впервые в 1990 году. «Amor» написан в сталинском лагере, куда этапом писательница была отправлена из тюрьмы. Там, на папиросной бумаге Анастасия Ивановна писала сцену за сценой и через вольнонаемных передавала главы на волю...

Через годы сохранившуюся часть романа стало возможным дописать и издать.

Несколько раз принималась Анастасия Ивановна за, как она выражалась, «руины романа» и, наконец, книга была доведена до конца (после того, как на протяжении нескольких месяцев более чем 90-летняя писательница «вписывала» в

роман новые сцены). Среди сцен есть одна, замечательная тем, что служит ключом к пониманию многого в психологическом строе Цветаевой-младшей, Цветаевой-последней. А описан – конфликт одной из заключенных, представительниц преступного мира, урки-Наташи и главной героини романа, «каэровки», то есть интеллигентки, осужденной за «контрреволюцию».

У урки-Наташи была такая «странность»: растопив в бараке докрасна печь и у печи распарившись, раздеться донага и потом бегать в «первозданном» виде по зоне, пока вохровцы не поймают. Посреди одной такой распарки перед забегом на «голую» дистанцию перед Наташей возникает немолодая уже каэровка и просит: Наташа, не топи так печку! Задохнуться можно! – Урка чуть не задохнулась от злобы. Как это ей, уголовнице, какая-то контрреволюционерка приказывать будет! – И Наташа, в ярости, высоко подняв полено, пошла на маленькую, хрупкую женщину – убить ее. Но маленькая и хрупкая ступила навстречу, подставила голову под полено, закричала с силою: – Бей! – Выронила полено Наташа, не смогла ударить...

Неведомая сила победила в ней ярость. И та же сила неведомая заставила ее, урку, той каэровке потом с воли написать...

Сильный обезоружен мощью покорности. Готовностью к смерти? И встают над колючей проволокой лагеря невидимые, вечные строки Евангелия: «Если ударят тебя по левой щеке, подставь правую». Анастасия Ивановна, в автобиографическом романе ее имя – Ника, – уверенно, волевым шагом высоты, исполнила одно из заповеданий Христа и – чудо вошло в жизнь, зло отступило...

Все это действительно было, а о том, что было столь возвышенно-мужественно можно, вспомнив самые достойные исторические примеры, сказать стихами Андрея Белого, которого А.И. Цветаева знала в молодости, – «Все это – было, было... Будет – Всегда, Всегда!».

«Всегда» – это вечность, то есть высота торжествует, когда точка нравственного отсчета человека – Вечность. Кто чувствует вечное, тот не боится смерти.

Вечность, как цель Христианства – путь младшей-Цветаевой.

Роман ее – книга об одолении, книга о том, как побороть себя. Если в духовной борьбе человек одолевает собственное несовершенство, тогда несовершенство внешнее, идущее из жизни, теряет над ним власть, ибо внутренняя высота позволяет видеть все происходящее в иных масштабах, а что такое наш день и час в сравнении с вечностью...

Анастасия Ивановна молилась неустанно за многих, верила в силу молитвы, спасавшей ее в самые тяжелые часы и дни. А на сон грядущий молилась на известных ей европейских языках – на французском, немецком, английском и, конечно, русском – читала она «Отче Наш» – Христову молитву...

Один из священных заветов Христа: «Будьте как дети и вам откроется Царствие Небесное». – Что именно удивляет в известных «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны, это – как она сохранила такую емкую память о детстве, сколь точно передала ощущение детской интонации, детского видения. Перевоплощение в ребенка – удивительное! Хотя бы взять строки из воспоминаний о брате Андрее:

«В Тарусе – лодка, а весла тяжелые. Андрюша умеет грести. Сад так вырос, что с балкона не видно Оки. Пароход кричит, что идет.

На качелях мама не позволяет, чтобы подгибались веревки: «упадешь, голову разобьешь».

Орехи из зеленой шкурки лезут туго, пальцы очень стараются. Кот Вася с нами всегда – в Москве и в Тарусе, а пес остался в Москве».

В мемуарах А.И. Цветаевой живы «вечные» черты цветаевского отношения к жизни, они – прежде всего – в Правде Целого, в том, что мы можем легко, как по хрустальной лестнице сна, войти в «быт и бытие» семьи

Цветаевых, посетить начало века. Когда происходит такое «перемещение во времени», мы начинаем догадываться, что детство продолжается в глубине человеческого существа всю жизнь, что оно по-своему «вечно».

Разве наши сны – не продолжение «игры»? Детство – это время еще неполной победы нашего сознания над сказочными глубинами подсознания, где ждет наше истинное, чистое, детское, первозданное «Я», которое знают лишь гении планеты и те, кому оно открывалось во вдохновении, в творчестве. Истинное, чистое «Я» можно еще назвать «искрой Божьей». У тех же, кто раскрыл его – у великих посвященных, такое высокое осознание всего сущего, их «Сверх-Я» зовется уже «Маяком Вечности».

Писатели, художники – стремятся бессознательно, а избранные – осознанно к Вечным маякам, к отблескам неизреченного света.

У Анастасии Ивановны движение к ее Ангелу Хранителю, к внутреннему Свету – в отказе от какой бы то ни было лжи, в аскезе с 27 лет, когда она приняла обет – ни сигарет, ни мяса животных, ни прочих серьезных соблазнов. Однако вера ее не сурова и отреченна, а жива, жизненна: Анастасия Ивановна приветлива, гостеприимна, встречает гостей улыбкой, способна увлечься беседой, заинтересоваться собеседником, его жизнью, его радостями и горестями, его верой, при этом – словом и делом готова помочь. Помочь взволнованно-настойчиво, помочь, преодолев невозможности и преграды. Она – яркая, волевая Личность, в которой талантливость видна невооруженным глазом, в ней – чуткая наблюдательность, проникновенное знание человеческой психологии...

Детство же цвело в ней – например, любовью к птицам – кормила голубей, пела им особую, только ей известную «голубиную» песенку (В скобках вспомним, что голубь – евангельский символ чистоты). Обожала собак и кошек. Она даже верила, что души животных, тоже, как и человечьи, впадают в бессмертие.

В ее небольшой московской квартире – со стен, со шкафов – фотографии друзей – поэтов, художников, писателей. А над кроватью, скрытой за ширмой – большой иконостас, – лики Христа, Божьей Матери, русских святых.

Бывало – засидишься за срочной работой, вместе с Анастасией Ивановной – за правкой рукописи и она не отпустит в ночь, забеспокоится, уложит в кухне и из комнаты долго слышны тихие слова молитв. Сколько бы раз среди долгой молитвы ни задремала, вздрогнет, проснется и продолжит – до конца.

В воскресенье в сопровождении кого-нибудь из друзей – непременно, если не больна – в церковь – причаститься, исповедаться. За советом обращалась к своему духовному отцу, священнику.

Однако, при всей приверженности православию, Анастасия Ивановна не идеализировала религиозное образование в гимназиях до революции. В интервью «Московскому церковному вестнику» (№ 8, авг. 1989) она сказала: «– Я думаю, что католики – лучшие воспитатели, чем мы. У нас такого разумного подхода к детям я не видела нигде. Я уверена, что православная вера и есть самая радостная, полноценная, жизнеутверждающая, но воспитание детей у нас в России в начале века было очень скучное. Когда нам в гимназии преподавали богослужение, то очень трудно было что-либо понять».

К живому, истинному, от души идущему религиозному чувству стремилась и пришла Анастасия Ивановна Цветаева, у которой тоже как у многих ее современников, в молодости были «отступления», были сомнения, но с достижением зрелых лет сомнения отброшены, религиозность победила на всю жизнь.

Интересно что, как мне рассказывала Анастасия Ивановна, религиозность в зрелые годы ей предсказывал Василий

Васильевич Розанов, с которым у нее, до его смерти от голода в 1919 году, длилась переписка.

Сколько бы ни было чудес в мире, самое ценное чудо – сам человек в его духовном порыве – из узкого мирка своего – «Я» – в любовь к людям, к природе, к малому и великому. Бог есть любовь.

Романтический взгляд, порыв в нездешние дали мечты восприняты были от матери Марии Александровны. О ней в письме к В.В. Розанову 2 апреля 1914 года пишет Марина Цветаева: «Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко-скрытой. Герои: Валленштейн, Поссарт, Людвиг Баварский. Поездка в лунную ночь по озеру, где он погиб. С ее руки скользит кольцо – вода принимает его – обручение с умершим королем (...) Весь дух воспитания – германский. Упоение музыкой, громадный талант (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью.

Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость (внешняя), безумие в музыке, тоска». Таков портрет матери из-под пера Цветаевой-старшей.

От Марии Александровны в сестрах – особая чувствительность – вчувствованность развитой, разветвленно-чуткой души.

Мне могут возразить, спросить – почему не от отца? А вот почему: «...папа и мама были в церкви. Папа подошел к причастию. «Как зовут сыночка? – спросил батюшка «Сыночка? Имя? – А сыночка-то я и забыл» – ответил папа и, подойдя к маме, спросил: «Как зовут Андрюшу?» – так в отрывке из рукописи «Воспоминаний» Анастасии Ивановны.

Иван Владимирович Цветаев, чей род идет от сельских священников, был профессором, создателем грандиозного

музея классического искусства. Мысли его витали чаще всего далеко, в интеллектуальных построениях. Он не был романтичен, хотя слово «романтика» – от слова «Рим», а Риму античному, римским древностям была посвящена его диссертация, шире – искусству Антики – посвящено его детище, музей – дело всей жизни.

Но – от матери – болезненная нежность к знакам прошлого, протянутая в мир любовная причастность к людям, животным, даже к растениям, предметам – такая слитость позволяла сохранять в себе живой образ мира и видеть то, что равнодушный глаз вовек не различит, не заметит. Из того же источника – их фантазии, их сказки, их детство, проведенное на природе – в Тарусе на Оке в пансионах за границей и в таинственно– религиозной, первопрестольной и златоглавой Москве... Чувства, ощущения были воспитаны матерью.

Чудесна была в девочках психологическая близнецовость, – одним и тем же голосом, одними словами, одновременно – в унисон сестры, как сиамские близнецы, отвечали на обращенный к ним вопрос. Сходно-выращенный мир души при явной разнице характеров.

Может быть и таинственное качество – видеть одни и те же сны – от матери-ясновидящей?..

Многие цветаеведы удивленно поднимут брови при таком утверждении, тем не менее, из той трагической кантилены, коей звучит жизнь сестер, этого тайного слова тоже не выкинешь...

Мария Александровна Цветаева действительно была ясновидящей, видела вещие сны, в которых преодолевала время и расстояния.

Тому подтверждением – семейные легенды Цветаевых, которые мне рассказывала не раз Анастасия Ивановна, в перерывах меж часами работы над рукописями. Некоторые из легенд ею кратко записаны:

«Однажды с мамой после того, что она ездила в концерт, случилось удивительное: вернувшись из театра, она увидела, что на ней нет ее любимой золотой броши – тонкой работы, – с рельефом женщины в профиль у рояля.

Мама расстроилась: был дедушкин подарок. Поискав с дворником, несшим фонарь, потерю по Трехпрудному переулку, она легла огорченной. Увидела сон:

Камергерский переулок, утро, первый снежок. Она идет по левому тротуару, перед ней – горбик снега, возле него – желтое. Брошь, – думает мама. «Нет, не может быть. Это осенний лист». Подошла ближе, нагнулась и подняла свою брошь. Подняла – и проснулась. «Я пойду искать мою брошь, – сказала она. И хоть убеждали ее, что тщетно, что поздно, что сто раз успели поднять, она пошла. Одно из сна верно, – сказал ей кто-то вслед, – сегодня первый снег. Мама вернулась потрясенная, с брошью. Явь оказалась точной копией сна: левый тротуар, горбик снега, и – желтое.

Ну теперь-то уж наверняка желтый лист, сказала она себе с горечью. Подошла – на тротуаре, под ногами идущих, в одиннадцатом часу утра лежала ее золотая, довольно крупная, круглая брошь».

«Был еще один удивительный сон в маминой жизни. Мама давно мечтала играть на гитаре. Гитара была куплена, но не было учителя. И в тщетных поисках мама увидела сон, что идет по пустынной улице, входит в высокий дом, поднимается по лестнице в верхний этаж и читает на металлической табличке: «Учитель игры на гитаре Шульман». Мама позвонила. На звонок к ней вышел старик с седой бородкой...

Она проснулась. Погоревала, что это был только сон. Прошло время. Нам взяли на смену гувернантке приходящую учительницу немецкого языка. Ее фамилия была Шульман. В разговоре с мамой она упомянула о муже, с которым жила врозь. «Мой муж – учитель музыки, – сказала она, – он дает уроки игры на гитаре и мандолине».

— «Как адрес Вашего супруга? — спросила мама, — моя давняя мечта — игра на гитаре». Все случилось как с брошью: он жил в той же, приснившейся, но оказавшейся реальной, пустынной улочке, в том же высоком доме, на двери его квартиры в верхнем этаже была металлическая табличка с фамилией. Маме — она еле могла заговорить от волнения — отпер тот самый старик с седой бородкой — и мама стала брать у него уроки».

Удивительное — чудесное — случалось и с бабушкой с материнской стороны, род которой шел от польских магнатов, графов Ледуховских и старинных шляхтичей Бернацких (МЦС, т. 7, с. 248, 302). Анастасия Ивановна рассказывает: «Как-то бабушка лежала у себя в комнате, читала только что вышедший тогда третий томик собрания сочинений Пушкина. Задремав, она уронила его. Сразу проснулась от стука книги, пошарила рукой, не достала. Встав, обшарила все кругом. Она была совершенно одна в комнате и никто не входил. Книги она не нашла — так и стояли у мамы все тома этого собрания пушкинских сочинений, за исключением третьего тома. Мама не была суеверной, даже вольнодумна немного. Мы слушали ее рассказ так же строго, как она передала этот факт».

Свидетельство Анастасии Ивановны действительно чудесно, но не невероятно. Случаи спонтанной дематериализации — исчезновения предметов также как и телекинеза — перемещения предметов в пространстве, известны. Некоторые «объекты», в том числе книги, имеют особенную «наклонность» к исчезновениям. Например, в библиотеке Пулковской обсерватории книга прорицателя-ясновидящего Мишеля Нострадамуса «Века» прикована железной цепью к стене. Понятно — почему...

Говоря о чудесном в жизни Анастасии Цветаевой, нельзя обойти молчанием духовную роль в ее судьбе археолога, скульптора, художника, поэта-импровизатора Бориса Михайловича Зубакина.

Зубакин, по матери Эдварс, потомок старинного ирландского рода, в котором из поколения в поколение переходили

мистические традиции. Судя по хранящимся в одной московской семье остаткам архива, Б.М. Зубакин был мистиком. Известно также, что он считал себя учеником астролога Александра Каспаровича фон Кордика, в круг которого попал еще в юности. Фон Кордик обладал большой реализационной силой, властью над материальным планом и, умирая от белокровия, продлил на несколько месяцев – волевым усилием – срок своей жизни, – срок этот был нужен ему для решения одной сложной метафизической задачи. К тому же оккультному кругу до революции был близок и Г.О.М., таролог, автор «Курса энциклопедии оккультизма», в котором раскрыты некоторые тайны Великих Арканов Таро, одной из грандиознейших универсальных систем древности. Г.О.М. – Георгий Оттонович Мёбес в советское время был арестован и в тюрьме, как рассказывала Анастасия Ивановна, принес «неприятность» следователю. Будучи поставлен на «поток» (то есть на непрерывный допрос, когда следователи сменялись, а арестованный сидел за столом по 48, по 50 часов), Георгий Оттонович, видимо, стал пользоваться для поддержания своих сил иными, тайными источниками энергии, которые известны людям, знакомым с сокровенными знаниями Планеты. Проявилась эта энергетическая подпитка случайно и довольно забавным образом: в здании НКВД шел ремонт, на столе у следователя лежали электрические лампочки; Георгий Оттонович взял во время разговора одну из них, вертел ее в руках. Внезапно лампа, никуда не включенная, вспыхнула ярким светом.

Г.О.М. сказал «Извините!» и положил лампу на место. Можете представить себе состояние следователя! – заключила свой рассказ Анастасия Ивановна.

Вот к какому кругу принадлежал Б.М. Зубакин, который обладал развитыми гипнотическими способностями. О них помнил и знал сын Анастасии Ивановны, Андрей Борисович Трухачев, с которым в жизни тоже случалось немало таинственного.

Андрей Борисович рассказывал, что Зубакин однажды находился в гостях у одной знакомой дамы, у которой с детства была атрофирована рука. Посреди общего разговора, между прочим, Зубакин попросил ее принести ему стакан воды. Та взяла стакан... всю жизнь недвижной, как плеть висящей, атрофированной рукой, сделала это совершенно для себя незаметно, бессознательно, выполняя «приказ» посланный на расстоянии гипнотизером и донесла его до Зубакина, который не отрывал настойчивого, волевого взгляда от безжизненной руки, несущей воду. Но в момент, когда он готов был принять у хозяйки стакан, кто-то отвлек его и, так и не донесенный, стакан упал на пол...

Гипнотический дар Зубакин проявлял не раз и при разных обстоятельствах. К примеру, Анастасия Ивановна описала, как он заставил певца, А.Н. Глинку-Измайлова забыть о том, что он на выступлении сфальшивил, «дал петуха». И старый певец радостно уехал из Москвы в счастливом неведении относительно происшедшего, гордым тем, что концерт его был на редкость удачным.

Многие любили Бориса Зубакина, избранный круг московской профессуры был для него открыт. О нем говорили, как о блестяще-образованном собеседнике. Восхищались им как поэтом-импровизатором.

Ему как то на одном из выступлении – по рассказу Анастасии Ивановны, – бросили из зала слова – «сберкасса», «черт», «берет»... Он их не записал, запомнил; вот он побледнел и – началась импровизация, свободная, как полет птицы над далекой землей:

«Кто – куда, а я в сберкассу
Не отправлюсь никогда,
Лучше я отправлюсь в Лхассу,
Или чорт знает куда.

Кто куда, а я в сберкассу
Отдаленных звонких лет
Положу мою кирасу
И мой рыцарский берет!»

Бывало, Борис Михайлович в минорном строе сочинял импровизацию в прямом порядке брошенных ему слов, а потом мог сразу сказать другую, мажорную, на те же слова, но употребленные в обратном порядке... Нет случайности в том, что мы специально остановились на рассказе об этой яркой и почти забытой личности. Ведь Б. Зубакин, как было сказано, имел на Анастасию Ивановну духовное влияние.

Мистик-Зубакин был близок православию. Патриарх Тихон, имевший с ним беседу, высоко оценил его духовные качества, его красноречие. Ему был дан патриархом чин благовестника. Чин этот позволял, не будучи священником, проповедовать в церквах.

Известно, что на несколько дней в месяц Зубакин полностью уединялся, уходил от всякого общения, известно, что неустанно молился. Существует легенда о том, что он в левитационном подъеме зависал на несколько сантиметров над полом во время молитвы. Он был, как и Анастасия Ивановна, вегетарианец. И он Анастасии Ивановне посоветовал взять на себя на довольно большой срок обет молчания. Когда человек долго молчит, его духовная и душевная энергия возрастают. Как-то давно, несколько лет назад, я взял за руку 17-тилетнюю девушку, которая молчала четыре дня, обещала, что не проронит ни слова – хотела себя испытать. И что же? От прикосновения меня ударило током! Мы редко задумываемся о том, сколько силы у нас уходит в речь. Не знаем, не ценим силу слова... Анастасия Ивановна исполнила этот обет в 20-ых годах, когда работала в музее, основанном ее отцом. Работа была спокойная, позволяла поступать по словам Христа: «Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет» а что сверх того, то от лукавого».

Сколь многое изменил Борис Михайлович в жизни своей духовной сестры, понятно даже из такого, казалось бы малозначительного эпизода: – Я как-то чертыхнулась, – рассказывает Анастасия Ивановна, – а Борис Михайлович сказал, – Вы, Анастасия Иоановна, сами не знаете, что творите. Ведь в русском языке падеж именительный есть одновременно, и падеж звательный. Вы не в шутки шутите, Вы на помощь своей ярости его (сатану) вызываете! Вы же при этом чертыхании, в этот миг можете умереть. В каком же состоянии вы перейдете в другой мир!? – С тех пор дурную привычку Анастасия Ивановна решительно отбросила...

В словах Зубакина действительно скрыта истина, исток ее таков: пространство фиксирует все происходящее, подобно воде, бывшей в сосуде и помнящей его форму; ругательство помогает разрушающим силам фиксировать в пространстве отрицательный импульс, выраженный в слове. Звук ведь может как созидать, так и разрушать. Тем более – звук осмысленный, ритмически организованный. Ответственность за каждое слово – удел человека духовного. Биоэнергетически слова влияют и на среду и на человека. Слово – ритм, а ритм сопряжен с волновым миром, который всегда невидимо вокруг нас. За пределами элементарных частиц – царство волновых функций и есть волны такой метрики, что могут в единый миг донести информацию Земли в любую точку Вселенной. С точки зрения такого знания еще яснее, сколь важны были советы Зубакина.

О самых высоких вещах беседовали поэт-импровизатор и писательница. Зубакин говорил: «– Никогда Люцифер не придет к Богу, никогда, потому что он закрутил мироздание в обратную сторону и сделал это с божественной силой... Прежде всего Сатана – сумасшедший, он не может выйти из этого...»

На протяжении семи лет Анастасия Ивановна записывала за Б. Зубакиным философские лекции отвлеченного, тонко-метафизического характера – для этой записи она специально освоила стенографию. Лекции читались для узкого круга людей, в котором была подруга Анастасии Ивановны Нэй Мещерская, Л.Ф. Шевелев и другие.

Преданно записывая все лекции Зубакина, Анастасия Ивановна была, тем не менее, не любопытна к сеансам гипнотического плана, которые для друзей устраивал Зубакин и, сам понимая некоторую несерьезность этих легких выходов мысли из тела по волнам воли, Зубакин говорил, что ценит в своей духовной подруге именно ее нелюбопытность ко внешним проявлениям чудесного, а углубленность, напротив, в христианское осознание мира как чуда творения Божьего.

Однако, конечно, жить рядом с Зубакиным и не сопричаствовать чудесному, было нельзя, потому для Анастасии Ивановны и для сына ее Андрея Борисовича было совершенно естественным, что если хочешь Б. М. увидеть, надо *«остро»* подумать о нём, вызвать в воображении его образ и вскоре – звонок в дверь – на пороге – Зубакин:

– Вы меня звали, Анастасия Иоановна? – так он называл А.И. Цветаеву. Так проявлялось качество – телепата, одно из многих «необычных» его паранормальных качеств...

Потом Зубакин был арестован, но вызволен друзьями. За него хлопотал М. Горький, у которого в 1927 году Зубакин и Цветаева были в гостях в Сорренто, в Италии.

Взаимоотношения А.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, Б.М. Зубакина и М. Горького – особая тема. Горький был очарован Зубакиным, его сверхспособностями и даром импровизатора, но потом, убедившись окончательно в его идеализме и мистичности, – испугался, отстранился. Были и другие причины, но – внешние. И все же хранится в архиве Горького письмо, о котором долго намеренно не упоминали,

ибо то, что в письме сказано, парадоксально. В нем рукою Горького начертано следующее: «Я знал трех гениев за свою жизнь, это – Л. Толстой, В. Ленин и Б. Зубакин».

Горький очаровывался людьми. Горький разочаровывался, но известно, по свидетельству долго жившего в доме Горького поэта Владислава Ходасевича, что в политически сомнительных случаях писатель осторожно отходил, не совершал опасного шага и говорил, вздыхая: «Нельзя, биографию спортишь!»

Мне кажется, именно данный мотив возобладал и в отношении к Б. Зубакину и А. Цветаевой, которые оба были религиозны и не подходили к материалистическому «светлому завтра». Что до Б. Пастернака, который взял под защиту А. Цветаеву после одного эпистолярного недоразумения, то тут, видно, у Горького, сработал тот же «испуг»:

М. Горький хотел материально помочь сестре Анастасии Ивановны – Марине Цветаевой, помочь, конечно, анонимно, ведь речь шла о жене бывшего представителя белого движения, белой армии. А тут об этой помощи упомянули открыто в переписке... И – ответно – у Алексея Максимовича вырвалось: «А о сестре ее Вы не должны были писать того, что написали» (в прощальном, разрывающем отношения письме М. Горького Б. Пастернаку от 7 октября 1927 г. «Известия АН СССР сер. лит и яз». т. 45, № 3, 1986).

И все же, несмотря на отрицательные высказывания о Зубакине, Горький помог, когда тот был арестован. Именно в благодарность за эту помощь Анастасия Ивановна опубликовала в 1930 году в журнале «Новый мир» часть своей погибшей потом при аресте книги о Горьком[1].

То же последовало и при первом аресте Анастасии Ивановны. По крайней мере при втором ее аресте следователь сказал ей: «Горького больше нет, теперь Вам никто не поможет». Из этого Анастасия Ивановна заключила, что

[1] Под псевдонимом – А. Мейн.

при первом аресте помощь была. Первая жена Горького Е.П. Пешкова, которую Анастасия Ивановна хорошо знала, много хлопотала, помогала арестованным. Помощь, возможно, была и от нее...

Анастасия Ивановна рассказывает, что когда она была еще в гостях у Горького в Италии, Алексей Максимович сам проявлял некоторые чудесные свойства. Иногда мог читать мысли. Например, Анастасия Ивановна его спрашивает: «Алексей Максимович, а Вы читали...» Он хитро смотрит на нее – Люиса Кэроля?! Читал!»

Или – подтверждением – в книге-брошюре В. Лебедева «Тайны психики без тайн», есть фрагмент, посвященный Горькому и говорящий сам за себя: «Живя на острове Капри, Максим Горький работал над второй частью повести «Город Окуров». В ней есть эпизод, когда муж в припадке ревности убивает ножом свою жену. Когда он описывал эту сцену, жена его Мария Федоровна Андреева услышала, как он вскрикнул в кабинете и как что-то тяжелое упало там на пол. Когда она вбежала туда, то увидела следующее: «На полу около письменного стола во весь рост лежит на спине, раскинув руки в стороны, А.М. Кинулась к нему – не дышит! Приложила ухо к груди – не бьется сердце! Что делать?.. Расстегнула рубашку... чтобы компресс на сердце положить, и вижу – с правой стороны от соска вниз тянется у него по груди розовая узенькая полоска... А полоска становится все ярче и ярче и багровее...

– Больно как! – шепчет...

– Да ты посмотри, что у тебя на груди-то!

– Фу, черт!.. Ты понимаешь... Как это больно, когда хлебным ножом в печень!..

С ужасом думаю – заболел и бредит!..

Несколько дней продержалось у него это пятно. Потом побледнело и совсем исчезло.

С какой силой надо было переживать описываемое?»

Горький до такой степени ярко представил боль, ее ощущение, рану этой женщины, что у него образовалась стигма»[1].

Этот удивительный случай говорит об исключительной чувствительности Горького, о связи образа, возникшего в мышлении с отпечатком этого образа на материальный, физический план.

Итак, после смерти Горького Анастасия Ивановна была арестована, Б. Зубакин сослан в Архангельск, там написал книгу о резьбе по кости, создал серию скульптурных портретов, потом был брошен в лагерь и расстрелян. Имя своего друга не раз помянула Анастасия Ивановна, упомянут он и в новелле «Статуя», вошедшей в книгу «О чудесах и чудесном». Книга эта собралась из отдельных небольших главок-рассказов, близких к новеллам, если под новеллой, как говорил Гете, понимать небольшой рассказ о необычайном происшествии. Необычайные происшествия у Анастасии Ивановны неизменно имеют духовный смысл, они свидетельствуют художественно о том, что существует запредельный, высокий мир, о котором в гностическом евангелии сказано, что он «вне нас и внутри нас».

Теме запредельных явлениий – посвящены новеллы «Вещунья», «Зайка». Первая о том, что старуха, явившаяся далекой от веры коммунистке Раисе Мамаевой, оказалась призраком, она давно умерла... Схожих примеров в истории человечества больше чем достаточно. В известной книге Г. Дюрвиля «Призрак живых», изданной в 1915 г. в Петрограде и потом переизданной, показано, как выделяется астральный двойник у живых людей. Каким образом выделять этого двойника практически, какие психические упражнения йогического характера необходимы для выделения двойника, можно узнать из других книг, где формализованы приемы

[1] В. Лебедев «Тайны» психики без тайн, М, 1977, с. 83-84.

раджа-йоги, где описаны конкретные, засвидетельствованные многими примеры астральных «выходов».

Астральные тела, призраков видят люди, если они «природны», если они обладают гибкой психикой. Что до конкретного случая, то когда появляется существо уже ушедшее за пределы жизни, то это, бывает, последствие того, что еще при жизни человек – вольно или невольно – выработал в себе способность выходить из тела, и возвращаться в него как это удавалось, например, известному ясновидцу Эммануилу Сведенборгу.

Тот, кто при жизни был праведен или знал тайны жизни, он из «новой» астральной сферы может возвратиться снова к «грустным берегам» Земли, принять вновь сброшенный в могилу облик, показаться группе лиц или отдельному человеку. Надо только оговориться, что все это возможно до определенного временного предела, потому что со временем духовная монада человека после смерти, то есть после перехода в новое состояние, обретает новые качества, которые отдаляют все больше от Земли. Одна за другой сбрасываются «оболочки», «тела». Сбрасывается перед очередным «порогом» и «лептонное» тело, которое было недавно открыто, а точнее – подтверждено профессором Б.Н. Исхаковым. Лептонный слой или тело – всего лишь один из наиболее материальных составов «невидимого» человека. Приборы его улавливают после смерти тела физического.

Рассказ «Зайка» говорит фактически о том же – т.е. о том, что в первое время после смерти человек может, коль найдет восприимчивого, медиумичного помощника, передать живым свои чувства и желания, как это случилось в «Зайке» с мужем М.А. Галуновой.

Еще – из-под пера Анастасии Ивановны – новелла «Верочка Молчановская» – опять подтверждение того, что существует не только жизнь, но и бытие, что смерть – это

лишь порог, за которым – nova vita – как сказал Данте – новая жизнь.

В «Зайке» умершая приходит во сне к Анастасии Ивановне поблагодарить за отпевание, за обряд, гармонизирующий посмертный путь человека. Пришла поблагодарить ровно в свой 40-й день. По профессору Исхакову происшедшее чудо – подтверждается: «...период полураспада лептонного поля души равен примерно 9-и суткам! Затем плавно идет дифференцирующее рассеивание и период 99 % распада равен примерно 40 суткам. Вы чувствуете аналогии? Названные сроки совпадают со временем поминок по усопшим в христианской религии!» («Путь к себе», № 5, 1991, с. 10). Таково мнение современного представителя науки.

Сходной, но иной природы случай описан в новелле «Девочка». Перед нами пример «порчи» или, другими словами, – отрицательного внушения. Старая женщина, каких и по сей день довольно много в украинских и русских деревнях, знающая деревенскую практическую магию, (то есть обладающая развитым комплексом сенсорных и парапсихологических качеств), повлияла на девочку. Она словом, о котором мы уже говорили как о большой силе, поселила в физическом теле девочки, в ее психике направленный деструктивный ритм. И природа более слабого психически существа была искажена. Ритм разрушающий, однако, был выбит ритмом положительным, когда ребенок выпил святую воду – воду над которой в церкви прочитана была молитва.

Слова молитвы – тоже ритм – но ритм, связанный с высочайшими сферами Универсума.

Слова молитвы были прочитаны и запомнены водою на уровне элементарных частиц; на уровне волны. Ритм отрицательный побежден, побежден замысел злой старухи.

Припадки прекратились, девочка выздоровела.

И – о «Воспоминаниях о мощах Иоасафа Белгородского (Горленко)». Так уж устроен мир, что когда человек умирает,

уходит, его физическое тело распадается. В разных случаях распадение идет по-разному. Святые, люди гармонической жизни, осветлявшие жизнь до последнего дня постом и молитвами, уходя, земной дом свой — физическое тело — оставляют в гармонии, как навсегда уходящие из дома аккуратные хозяева. Духовный склад человека святого остается долгое время отпечатком на покинутом теле, и тело не подвергается долгое время разрушению, оно продолжает излучать положительную энергию. Излучение может исцелять болезни живых. Так было с могилой знаменитого юродивого Корейши в Москве и с другими православными и католическими святыми христианами. В Индии в этом отношении показателен пример Вивекананды, он оставил свое тело на земле, а сам не вернулся из высочайшей медитации; тело осталось сидеть в позе лотоса, просто ссохлось.

Что касается мощей св. Иоасафа, которые в эпоху «воинствующего атеизма» выставили в музее, то при кончине святого, конечно, включились совсем иные механизмы биологические, чем при смерти фальшивомонетчика, душа которого ни просветленной, ни высоко-духовной не была. От того не вышло никакого доказательства «ложности» святости, ложности, канонов религии.

И остальные рассказы из книги — «Явление», «О блаженной старице Евфросинье», «Грабители», «Ёлка» и другие — все они — свидетельства духовные, все они — маленькие вести и вестники «новой жизни» и возрождающейся веры, на которой, как на стержне, держится Жизнь в самом высшем смысле этого чудесного и таинственного слова.

СКАЗКИ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

Наследие Анастасии Ивановны Цветаевой обширно и многообразно. Мастер мемуарного жанра, она оставила след и во многих других литературных жанрах. Первая ее книга,

вышедшая в 1915 году, была посвящена проблемам философским, а последняя – «О чудесах и чудесном» – христианским чудесам и необыкновенным, духом осветленным событиям прожитой жизни...

Сказки она писала с детства. Её сестра, Марина Цветаева, тоже на заре юности «импровизировала» для сверстников сказки вслух. Но Анастасия Цветаева сказки писать не прекращала всё довоенное время. Их была целая рукописная книга, «арестованная» вместе с ее творческим архивом в 1937 году и вместе с ним исчезнувшая.

Сказки философские тогда не печатали, не столь в 30-х годах «изящное» было время. Анастасия Ивановна просто дарила их друзьям. И так из них, чудом не арестованных, не репрессированных, сохранились три сказки.

Первая – «Черепаха», сказка о верности, об испытании, которые претерпевает любовь двух, чистых душою, о преображении любви-страсти в любовь духовную, надмирную, о которой поют птицы. Эта сказка столь поэтична, что чудится, будто она сыграна на древней арфе... Рефреном сказки надпись, что была начертана на перстне библейского царя царей Соломона: «И это пройдет...»

Вторая – «Сказка про девочек-великанов», написана в Феодосии в 1921 году. Посвященная старшей сестре, Марине, она в аллегорической форме рассказывает о жизни двух сестер, проведших вместе детство. Душевную высоту в сказке А. Цветаева художественно-символически преобразует в высокий рост девочек, в их «колдовскую» силу, в мощь голосов...

Многое из реальности вплетено в эту сказку. Здесь и «Великаний мальчик», это не кто иной, как Владимир Оттонович Нилендер, – первая любовь сестер, о котором – в «Воспоминаниях» и в стихах М. Цветаевой. Здесь и психологические тонкости – отражение серьезности, несентиментальности дружбы меж сестрами, это достаточно выпукло дано в сцене прощания девочек-великанов. Подглавка «О гибели великанов» – конечно же о том, как погибали во

время революции и после нее те, кто был умен и свободен духом. Это аллегория гибели дворянства и интеллигенции в терроре и начале репрессий. И – венцом сказки – пророчество, данное еще в 1921 году, о том, что жизнь их закончится вдали друг от друга, но что они почувствуют одна – конец другой. Так и было, так стало в 1941 году, когда растение, любимое Мариной – серолист, что было в кадке в бараке, на зоне, где отбывала срок Анастасия, всплеснуло, как в ветре ветвями, давая знать... В день смерти сестры...

На моем экземпляре машинописи «Сказки»... рукою А.И. Цветаевой написано: «В долгой разлуке с Мариной, мне кажется, в 11 месяцев в Москве (в 1921-22 гг.) я ей это не читала и за границу не посылала, и Марина моей немного пророческой сказки о нас – не узнала...»

Особенное место среди трех сказок А.И. Цветаевой принадлежит сказке «Лесной ученый» (1928?). Эта прозаическая миниатюра посвящена Александру фон Кордику, петербургскому астрологу, чье имя произносилось весьма высоко в кругу А.И. Цветаевой. О нем Анастасия Ивановна знала немало от друга своего, Бориса Михайловича Зубакина, одного из последних русских розенкрейцеров. Известно, что Александр Каспарович Кордиг в 1907 г. основал в Озерках ложу розенкрейцеров.

Сказка «Лесной ученый» близка по настроению преданиям розенкрейцеров. Даже тема – ученый алхимик и его искания золота – традиционно розенкрейцерская. Достаточно назвать хрестоматийно образцовое для орденских книг розы и креста старинное латинское сочинение Artis Auriferoe quam Chemiam vocant (Basilea, 1610), то есть «Искусство создания золота под названием Химия». Золото – это металл и знак Солнца, божественно-животворящей энергии, питающей Землю. Как и в «Химической Псалтыри», книге великого посвященного Теофраста Парацельса, под золотом подразумевался не металл, а духовный свет, духовное Солнце. В «Лесном ученом» – тоже речь идет о преображении золота-металла, имеющего

внешний «ценностный» блеск, в золото мудрости. Торжествует в сказке осознание тщетности сокровищ земных…

Для ясности надо сказать, что А.И. Цветаева записывала на протяжении 9-ти лет лекции по этическому герметизму, что читал ее друг, Б.М. Зубакин (специально для этого изучила стенографию). Она не говорила открыто, что принадлежала к розенкрейцерам, однако о некоторых вещах отзывалась так: «Об этом не нужно знать непосвященным!» Она уважала доверенные ей тайны и строго соблюдала обеты.

Что до своей дружбы с Б.М. Зубакиным и его кругом, этого она никогда не скрывала. Она оставалась до конца православной христианкой и потому не хотела, чтобы имя ее часто упоминалось близ оккультных, магических истин. Тем не менее, ей были известны основы каббалы, магии чисел. Она обладала и некоторыми другими мистическими познаниями, воспринятыми от Зубакина, который, однако, имея данный ему патриархом Тихоном сан Благовестника, направлял ее по пути православия. Ведь он был, несмотря на все гипнотические и мистические увлечения, православно религиозен.

В заключение скажем, что поэтичный и одновременно отвлеченно-философский характер сказок А.И. Цветаевой был характерен целому большому периоду довоенного ее творчества, к сожалению, пропавшему, утерянному.

О КНИГЕ «НЕИСЧЕРПАЕМОЕ» ИЛИ «ПРОШЛОЛЕТНИЙ КРУГ»

Посвящается памяти Б. Ахмадулиной, которой нравился этот текст.

Ст. А.

Судьба Анастасии Ивановны Цветаевой от самых истоков чудесна. Младшая Цветаева выросла рядом со старшей –

Мариной. Детство сестер насыщено – мягкой провинциальностью летней Тарусы, городка на Оке, и таинственностью, уютом старой Москвы.

От матери, Марии Александровны, сестры восприняли мечтательность, гордую волю – «стать». От отца, Ивана Владимировича, – огромную трудоспособность, упорство, демократичность и начала религиозности. Последнее качество особенно развилось с годами у младшей Цветаевой.

Духовное начало – определяющая черта биографий и творчества обеих сестер.

У Марины Цветаевой струи духовного «потока» омывают душу индивидуальности, преобразуются в художественный вымысел.

У Анастасии Ивановны сила индивидуальности устремлена в жизнь «по истине»; корни ее творчества прочно вросли в реальность. Она считала, что реальность богаче вымысла, и произведениями своими подтверждала столь парадоксальное мнение. Ведь от известнейших ее «Воспоминаний», от «Сказа о звонаре московском», от романа «Amor» – не оторвешься, хотя все эти произведения автобиографические.

В мемуарном жанре многие привыкли замечать больше хроникальной документальности, чем художественности. Разгадка феномена противоположного раскрывается в собственных Анастасии Ивановны словах, как-то оброненных в беседе. Она сказала: «Я пишу во весь душевный мах». И истинно – огромная, без преувеличения, эмоциональность Цветаевых, глубокий интеллект, европейская образованность, знание мировой культуры вкупе с наблюдательностью и духовными качествами дают человеческую и писательскую талантливость.

Обе сестры – личности большой воли, оттого в них – резкая энергичность жеста, резкая энергичность пера, у каждой своеобразного, заостренного в свою тему.

Мне всегда было интересно, как воспринимают Анастасию Ивановну люди, знавшие Марину Ивановну. В этой связи вспоминается встреча Анастасии Ивановны с вернувшейся из эмиграции Ириной Одоевцевой, которая, хотя и не была близкой подругой М. Цветаевой, тем не менее встречалась с ней в Париже, хорошо ее помнила.

Встреча интересна и тем, что обе писательницы перешагнули 90-летний возраст, обе сохранили при этом полную ясность ума, обе продолжали выпускать книги.

В Переделкине, в доме творчества, познакомившись с Одоевцевой, Анастасия Ивановна, со свойственным ей блеском, рассказала об одном эпизоде детства. Вспомнила, как Яков Горбов, последний муж Одоевцевой, в незапамятно-далекое время учился в одном с сестрами танцклассе и остался в памяти как «мальчик-сфинкс», по-взрослому серьезный и тем загадочный…

Ирина Владимировна была покорена яркостью, интенсивностью рассказа и самой личностью Анастасии Ивановны, растрогана памятью о неизвестных ей ранних годах близкого человека. В следующий мой приезд в Переделкино я зашел к Одоевцевой побеседовать, она сказала: – Я думала, ну – сестра Марины… А она – замечательная, замечательная! (При этом присутствовала приятельница Ирины Владимировны, поэтесса Дина Терещенко). Одоевцева принадлежала к изысканному литературному кругу, близко знала Н. Гумилева, Д. Мережковского, К. Бальмонта, И. Бунина, Г. Иванова, Жоржа Батая… Ей было с кем сравнивать.

Что до устного рассказа о Якове Горбове, тоже ставшем, уже в эмиграции, писателем, то Анастасия Ивановна в тот же вечер написала о нем очерк и посвятила Одоевцевой. Та обещала ввести этот очерк в новое издание своей книги «На берегах Сены» и сдержала слово…

«Воспоминания», о которых столь восторженно отзывался Пастернак, в сущности возродили имя А.И. Цветаевой в

литературе. Первое же издание «Воспоминаний» (предваренное небольшим фрагментом, появившимся в «Новом мире») вышло в «Советском писателе» в 1971 году. Оно сразу окружило Анастасию Ивановну ореолом известности, не стучавшейся в ее двери с 1916 года, когда к ней приходили читательницы второй ее книги – «Дым, дым, дым», приходили за советом «Как жить?» Такова уж, традиционно, роль русского писателя – быть в глазах публики учителем жизни, если не пророком...

Анастасия Ивановна не пророк, хотя в той же книге 1916 года есть пророческие строки: «Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим – слов нет – горем моей жизни... Больше смерти всех, всех, кого я люблю».*

При сокращенном переиздании «Дыма...» (в сборнике «Только час», М., «Современник», 1988) она сделала к сбывшемуся пророчеству примечание: «Написано за 25-27 лет до смерти Марины. Точно я знала, что она умрет раньше меня».

Что ж, Memento mori! – помни о смерти, о смерти ближних и еще более – о неизбежно грядущей – своей...

Тогда же, в 1988 году, у «Дыма...» появилось окончательное завершение – послесловие, в нем – мудрый, будто с орлиного полета – духовный анализ существа человеческой жизни и ее психологической эволюции:

«Одиночество детства! Оглушительная новизна окружающего! Не с чем сравнить – и потому невозможность оценки... Ежемгновенное восприятие неизведанного – и у кого просить помощи, когда ты не можешь выразить своих затруднений от неумения их осознать. Человек рождается в лес без путей и без признаков познаваемости. Бессловесный, он задыхается от невыразимости с ним случившегося.

* Это сбывшееся пророчество Анастасия Ивановна повторит и в «Зимнем старческом Коктебеле» и в очерке «О Марине, сестре моей».

С первых дней жизни он оказывается заблудившимся в лесу неназываемых чувств. С утра и до ночи захлебывается ежеминутным восприятием ребенок, кроме крика — нет у него средств самозащиты, ибо мать, такая большая, так всем овладевшая, не имеет путей к его отчаянной молчаливости — первых дней, недель, месяцев. А когда приходят слова — это слова не те, они мало чему помогают, они не выводят из леса, они еще усложняют общение, потому что выражают конкретное и случайное, а душа полна непонятного и огромного, и ребенок только и делает, что отгребает мешающее, не соглашается на предлагаемое упрощение, борется с убожеством названного, «слыша» мир, а не вещь плюс вещь...

И за годом идет год, идут годы. Маленький человек научается привыкать к своему одиночеству, примиряется с тем, что не понят, устает от плача и крика и находит уют и веселье в трудном своем дне, отвыкает от требовательности, научается жить как все. И на этом пути привыкания перед ним в тумане брезжится отрочество, за ним тот рассвет, который называется — молодость.

Трагическая пора — молодость!

Весь мир звучит ей таким многоголосьем, с которым не сравнится знаменитейший в мире хор. И все чувства ее отзываются на разноголосые зовы, отдавая все силы свои — неизвестному, только на силу зова!

Молодость отдана чувствам. И они мучительны. Ибо им не сопутствует понимание. Понимание приходит позднее, и когда оно настает — начинается освобождение от заколдованности чувствования; когда пробуждается анализ вокруг сущего, а затем благодетельность самоанализа — это приблизилась блаженная пора зрелости, овладевания миром! Пора, когда ты не слушаешь призывы того, что зовется жизнью, не обольщаешься, не ошибаешься, когда тебе принадлежит все, — оттого, что тебе ничего не нужно, когда ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда

мир лежит перед тобой во всем своем безмолвном величии и когда обо всем, что было ранее, ты можешь сказать твердо: дым, дым и дым…» (с. 582-583).

Равный по «сжатости и силе» текст, действительно, в литературе нашей при всем ее богатстве встретить трудно.

Так все же откуда основы духовного потенциала, который привлекает к книгам Цветаевых, почему чтение, впадение в их ритм – «сплошной запой»? Почему – не оторвешься, почему «закружит», увлечет в серебряную эпоху, по которой и сегодня тоскует Россия?

Дело, по-моему, в самом, с детства воспринятом, отношении к жизни. Из поколения в поколение передавалась способность человека сострадать, молиться, то есть признавать над собой духовное главенство Вселенского Сострадательного Верховного Существа – Бога, у него просить защиты, перед ним преклонять колени. Даже когда уходила религиозность, вера в Высшую Сущность над миром подсознательно оставалась.

Вот, например, эпизод из романа Анастасии Ивановны «Amor», эпизод опять-таки автобиографический, когда героиня идет на коленях к церкви – вымаливает своему первому мужу (к тому времени они уже расстались!) выздоровление, вымаливает ему жизнь. И это во время ее неверия, в годы отступления от христианства, к которому она в свои 27 лет убежденно и окончательно вернулась… Только вера помогла перенести страшные провалы – в аресты, в тюрьмы, в лагеря, в ссылку. От дня второго ареста в 1937-м через Дальний Восток и Сибирь – к реабилитации в 1959 году! Это, фактически, еще одна жизнь. Жизнь – испытание, жизнь – подвиг, жизнь – искупление.

Годы лишений, годы несвободы, нужды – трагические «доминант-аккорды» в судьбе писательницы, и, пока Симфония длилась, звучал суровый, безжалостный мотив…

Сколько ее произведений-рукописей пропало в 1937-м! Анастасия Ивановна мне рассказывала о большом числе сказок, новелл, которые она начала писать еще в отрочестве; о том, что было несколько совсем готовых книг. Романы, повести. Документальная проза. Были и новаторские вещи – с элементом фантастики, как незаконченный роман «Музей». Пухлая тетрадь с массой исписанных, вложенных в нее, листков, канула в неизвестность, как и весь ценнейший творческий архив.

Судьбу архива можно представить по ответу, который дал чиновник МГБ Анастасии Ивановне, когда она после реабилитации пыталась отыскать документальную книгу о М. Горьком, тоже «арестованную» бесследно. Чиновник сказал: – Книга о Горьком? А зачем она?! Ведь Леонов о нем уже все написал...

Несмотря на длившиеся «тяжелолетия», Марина Цветаева на Западе печаталась. Выходили ее стихи, проза. В Советской России Анастасии Цветаевой, идеалисту, человеку верующему, не скрывающему своих убеждений, печататься было нельзя. Да и темы она выбирала «неактуальные». Например, написала книгу (по типу книги А. Федорченко – народ о войне), в которой собрала высказывания народа о голоде. Назвала «Голодная эпопея». В предисловии к «Эпопее» были такие слова: «Сегодня, когда хлеб победил бесхлебье, мы можем вспомнить, что народ говорил в годы трудностей». Закончила книгу и в 1927 году повезла к Горькому в Сорренто. – Опоздали Вы с этой книгой, – сказал Горький. Видимо, знал, что разрабатывается уже система хлебных карточек, что надвигается новый голод?... И точно, «Эпопея» была сначала принята в «Красную новь», в журнале даже выдали аванс, на который Анастасия Ивановна с сыном поехала отдохнуть на юг.

«Я выехала в Сочи с Андреем, – рассказывала она, – потом Борис Пастернак прислал мне денег на обратный путь – из

собственного кармана, сообщил, что моя «Голодная эпопея» в «Красной Нови» не пойдет...»

«Красная Новь» предполагала печатать и другую книгу А.И. Цветаевой, роман «SOS, или Созвездие Скорпиона». (Интересно, что прототипом главного героя был реальный человек, астроном Михаил Евгеньевич Набоков, двоюродный брат Владимира Набокова-Сирина, известного писателя.) Роман было решено печатать, но при условии, что автор должна «выпрямить» судьбы героев под «оптимистическую» линию.

По этому поводу Анастасия Ивановна говорит: – «Это то же самое, что потребовать у Гамсуна сделать благополучным конец его «Виктории» или «Пана», чтобы он снял трагизм! Нелепость!» Анастасия Ивановна грустно пожала руку главному редактору, Николаю Ивановичу Замошкину, который ее столь любезно принимал, восхищался романом, уговаривал... И больше не пришла в редакцию. Такие компромиссы – не для Цветаевых! Ценой молчания доставалась тогда писателям творческая свобода. А потом и молчание сочли опасным – это когда Анастасия Ивановна годы подряд отказывалась от «творческих встреч», которые для члена Союза писателей считались обязательными. Долго за нее заступался Пастернак, говорил: – Если ее исключите, то и меня исключайте!.. Так, ко времени своего ареста, она тихо выбыла из Союза, в который по рекомендации друзей – Н. Бердяева и М. Гершензона была принята в 1921 году...

Были тогда, в 20-30-х годах, некоторые «подробности», которые нам теперь трудно представить. Например, к Анастасии Ивановне заходил один писатель. Фамилия его была Протасов. Приходил редко, выпить чаю. Сидел и предупреждал: – Вы должны понимать, что когда будет решаться социальный состав жителей столицы, Вы, как идеалист, не будете в Москве жить. Предупреждал! Считал естественным, что если человек идеологически «не подходит», то должен куда-нибудь исчезнуть. Такие были времена и нравы.

Высланы из Москвы самые близкие друзья – те, кто выделялся, «смел свое суждение иметь».

Политикой ни Анастасия Ивановна, ни люди ее круга категорически не занимались. Они признавали только духовную работу. Например, Б.М. Зубакин, ближайший друг Анастасии Ивановны, скульптор, художник, поэт, читал в своем – очень узком – кругу лекции по «этическому герметизму», тонко-метафизические, «отвлеченные». Их записывала Анастасия Ивановна семь лет. Этот ее друг, личность яркости и качеств необычайных, знаток искусств и наук, религий, обрядов, был арестован, сослан в Архангельск, позднее в лагере расстрелян...

Гибли люди, гибли рукописи, гибли книги.

Уже вернувшись после, как она это называет, «приключений», Анастасия Ивановна стала восстанавливать некоторые свои труды по памяти. Расширила и включила в «Воспоминания» главу о Горьком, взяв ее из единственной своей довоенной публикации в «Новом мире» (1930); восстановила полностью и по-новому «Сказ о звонаре московском», повесть о звонаре-яснослышащем, Котике Сараджеве. Позже написано близкое к первым дневниковым книгам повествование «Моя Сибирь». И если первые книги – богоборческие, отмечены обаянием юной, но ищущей философской мысли, то в «Моей Сибири» – сама простота, тонкое чувство Природы, человечность, сердечная теплота... И – апофеозом простоты в творчестве младшей Цветаевой повесть «Старость и молодость» в одной книге с «Моей Сибирью» (1988). Кроме того, она выправила переданный на папиросных тонких листочках из лагеря на волю роман «Amor». Над ним была долгая работа. И все это, когда ей за 70, за 80, за 90!

Собственно, к 1970-ым годам *своего* века А.И. Цветаева вошла полноправно (а не как сестра классика) в отечественную литературу и с тех пор оставалась мастером автобиографической прозы. За последнее двадцатилетие ею было опуб-

ликовано очерков, рассказов, рецензий, книг больше, чем за все предыдущее время.

Книге «Неисчерпаемое» название дала редакция издательства «Отечество», где за год до смерти автора она вышла. Авторское название ее было «Прошлолетний круг», — это словосочетание было заимствовано из строки Марины Цветаевой, из ее посвящения Тихону Чурилину. «А глаза, глаза на лице твоем — два обугленных прошлолетних круга»... Но от предложенного и утвержденного А.И. Цветаевой названия издательство сочло возможным отказаться. Так или иначе, книга возникла из рассыпанных по газетам и журналам россыпей памяти А.И. Цветаевой. Она в основном — сборник мемуарных очерков.

Очерк первый, «Детское Рождество», мог бы полностью войти в книгу «Воспоминаний», он составлен из фрагментов, которые по условиям времени в печать не могли попасть. Когда я читаю «Детское Рождество», мне вспоминаются слова одного из величайших французских писателей XX столетия — Алена Фурнье, сказанные о главном герое его знаменитого в 40-х годах романа «Большой Мольн»: «Герой моей книги — человек, у которого было слишком хорошее детство. Всю жизнь он несет его с собой».

То же можно сказать о «лирических героинях» сестер Цветаевых, которым с детства был свойственен ностальгически-грустный взгляд в прошлое, как и у Мольна, и так же, как у него, детство их претворялось, обращалось в почти фантастическую сказочность — от полноты чувств, от их пламенности. У Анастасии Ивановны, конечно, сказочность более реальная, у Марины — больше вымысла.

Анастасия Ивановна — «прозаический поэт» детства. Мало кто, как она, может и умеет войти в психологию ребенка, его глазами взглянуть на мир и тут же вдруг отстраниться, посмотреть на давние образы и чувства со стороны...

Я не случайно упомянул о Фурнье, французском писателе. Именно во Франции существует огромная «*воспоминательная*» литература о детстве, целая вереница имен – от Стендаля и Пруста до Марселя Паньоля и Робэра Андре.

Во Франции же писался юношеский «Дневник» Марии Башкирцевой, который некогда вдохновлял сестер Цветаевых. «Блестящей памяти Марии Башкирцевой» посвящен первый сборник стихов М. Цветаевой.

И еще – «Детское Рождество» заключается описанием образа Христа, иконы, которая потом столь явственно вспоминалась Анастасии Ивановне, что судьба послала ей такую же, точь в точь как в детстве... Об образе том подробнее в книге: ее «О чудесах и чудесном» (1991), в рассказе «Икона» – «Благословляющая рука, волосы по плечам, в тебя глядящие синие глаза! Алая и голубая одежда, какой нигде не видишь». Умерла старушка, от нее остались иконы, которые многие тогда боялись хранить у себя, Анастасия Ивановна не побоялась принять иконы, и ей нежданно принесли то самое, столь дорогое ей с детства, священное изображение.

За «Детским Рождеством» следом – «История моей двойки». Это грациозная новелла, овеянная задором ранней юности. В ней – озорной случай: гимназистка не знает алгебры и свое отчаяние претворяет в выпад – не против учителя, а против собственного незнания, против собственного бессилия. Бессилия Цветаевы не выносят. Это не их «стиль». Их «девиз», напротив, сила во всем, до конца.

Посвящение ее учителю математики Голубеву Анастасия Ивановна помещает своевольно в конце текста. В посвящениях – неумолима, она «вплавляет» их в текст, чтобы редакторы, которые не любят посвящений, не могли без ее согласия снять.

«Аделаида и Евгения Герцык» – мемуарный очерк о двух сестрах, больше о старшей, поэтессе Аделаиде Казимировне

Герцык-Жуковской (1874-1925) и о младшей, Евгении Казимировне (1878-1944).

Крымские жительницы, Герцык были, как и Цветаевы, близкими друзьями М. Волошина. Трудно перечислить, сколько раз их, сестер, имена упомянуты у М. Цветаевой. Скажем только, что у Анастасии Ивановны облики эти даны в несколько ином, более серьезном ключе, чем ностальгически теплые, чуть ироничные образы тех же сестер у Марины Ивановны в ее «Живое о живом».

«Чтение стихов Софии Парнок» тоже, как и «Детское рождество», переработанный фрагмент, долго не введенный в «Воспоминания». София Парнок (1885-1933) – заметное имя на «серебряном» небосводе. О ней в Волошинских «Ликах творчества» сказано: «Как бы глубоко сознательный, успокоенный в себе и неожиданно переходящий от шепота до крика страсти голос, о котором хочется сказать словами Т. Готье: “Мне нравится это слияние”».

Софии Парнок М. Цветаева посвятила цикл увлеченных стихов «Подруга».

Дальше – Тихон Чурилин. Марина Цветаева в очерке «Наталья Гончарова» говорит о нем как о гениальном поэте, о его единственности она пишет и Б.Л. Пастернаку (14 февраля 1923 года).

К сожалению, в наше время, когда «воскресают» имена, Чурилин все еще в забвении, и очерк Анастасии Ивановны восполняет несправедливый литературно-исторический пробел. Ведь еще Н. Гумилев в своих «Письмах о поэзии» сказал о Чурилине: «Ему часто удается повернуть стихи так, что обыкновенные, даже истертые слова приобретают характер какой-то первоначальной дикости и новизны».

Удивительно, что в расширительном плане статьи «Голоса поэтов», кроме сестер Герцык, С. Парнок и М. Цветаевой, Максимилиан Волошин отметил и Т. Чурилина, и М. Шагинян, о которой речь впереди. Так что можно поддаться соблазну

сказать, что в какой-то мере А.И. Цветаева частично выполнила желание ее друга Макса: написала о тех, о ком он не успел...

Далее – воспоминания о П. Антокольском, близком друге М. Цветаевой. В облике, ею воссозданном, звучит поэтическое и жизненное горение, мощь, с которой Антокольский читал свои и Маринины стихи... Напомним, что П. Антокольский написал большую, исключительно положительную рецензию о «Воспоминаниях» А.И. Цветаевой, что вышла в «Новом мире» (1972, № 6).

На «Воспоминаниях о писателе И.С. Рукавишникове» (1887-1930) «волошинское» наваждение продолжается, оно вновь кладет светлую тень на страницу – ведь о Рукавишникове тоже упоминает Волошин... Анастасия Ивановна повернута к Рукавишникову ее излюбленной темой – его книгой о детстве, а впоследствии – дружбой, которая могла стать чем-то большим, если бы не свободолюбие писательницы, заставляющее ее и в девяносто семь лет жить одной, самостоятельно вести хозяйство.

В очерке о И. Рукавишникове мелькают, как бы невзначай, трагические подробности – например, о том, что в годы нужды не в силах обеспечить сыну полноценное питание, она с одиннадцати до четырнадцати лет (с 1923 по 1926 годы) определила его в приют, где, как она мне рассказывала, «детей недурно кормили, жили они у Девичьего поля, где был большой сад». Раз в неделю возила в приют усиленное питание, зарабатывала тем, что писала по ночам специальным, «библиотечным» почерком карточки для библиотеки музея, основанного ее отцом. Анастасия Ивановна говорит, что вовремя взяла сына из приюта, пока он не попал к «переросткам» и не испытал дурных влияний. Как не вспомнить в этой связи судьбу дочерей М. Цветаевой – Ариадны и Ирины. Обе они содержались в самом начале двадцатых годов в приюте. Ариадну мать забрала и из последних сил выкормила, Ирина

погибла. У Анастасии Ивановны в 1919 году в Крыму умер от дизентерии второй сын Алеша от ее второго брака. Но в 1923-1926 годах уже, конечно, не было столь беспощадного голода.

В бывшем имении, связанном с именем писателя А.И. Эртеля, Анастасия Ивановна познакомилась с Пантелеймоном Романовым, о котором она пишет как о писателе «милостью Божьей». Но в его прозе она находит то, что Н. Гумилев находил в стихах Рукавишникова – то есть талантливость, индивидуальность при недостатке вкуса.

Анастасия Ивановна (сенсационная для истории литературы подробность!) становится добровольным редактором П. Романова. Его фундаментальный роман «Русь» был ими совместно отредактирован заново и обрел небывалую дотоле смысловую и стилистическую цельность.

Очерки о Рукавишникове и Романове написаны один за другим. О них были созданы, правда, очень краткие, зарисовки в главке «Несколько слов о друзьях-писателях», опубликованной в журнале «Даугава» (1986, № 11). В «Даугаве» в 1984 году (№ 9), то есть несколько ранее, вышли еще два ее очерка, посвященные Марии Волошиной, второй жене М.А. Волошина, и Мариэтте Шагинян.

М. Волошина до самых последних лет жизни была близким другом А. Цветаевой. Их соединяли воспоминания о юности, о Максе и религиозность. Им была присуща удивительная черта, неподвластная старости, – способность очаровываться, восхищаться тем немногим, что давала жизнь. Уже в шестидесятые годы А.И. Цветаева ездила к подруге в Коктебель. Сохранилась фотография, сделанная в день восьмидесятипятилетия Марии Степановны. На фотографии все «костюмированы», а Анастасия Ивановна снята в смешной «маске» – в темных очках и... с накладной бородой из морских водорослей.

Неугасимостъ юмора, молодость сердца, то, что так восхищало Анастасию Ивановну в Антокольском, жила в них – в М. Волошиной и старых подругах ее круга.

Привожу здесь одно из сохранившихся писем М.С. Волошиной к А.И. Цветаевой от 22 июня 1972 года. Привожу потому, что оно звучит в унисон очерку о Марусе Волошиной, которая, кроме всего прочего, фигурирует эпизодически и в романе «Amor». Это она, Мария, в главе «Коктебель» «становится на колени перед Поэтом и кладет истовый земной поклон» («Amor», М., Современник; 1991, с. 274). Итак, письмо:

«Милая Асенька, письмо твое грустное расстроило и тронуло меня. Конечно, мы очень одиноки, конечно, на каждой из нас бремя и ответственности, и забот, каждый знает про себя. И что ответственнее и что больше, никто не может судить. Всем тяжела своя ноша. Я не ропщу, но часто изнемогаю, потому что прежде всего слепну, немощна и завишу почти целиком от людей. А это и унижает, и раздражает, и делает подчас очень тяжким существование.

Конечно, приезжай, только дай телеграмму, дня за два, что приедешь. Конечно, всегда для тебя найдется место. Приезжай с внучкой, но больше никого не привози (...) ЦЂлую тебя и жду. Маруся».

Письмо это продиктовано кому-то из друзей. Но последняя фраза и подпись – рукой Марии Степановны, чем и объясняется буква ять в «цЂлую», ибо писала она, пользуясь старой, дореволюционной орфографией.

Шагинян Мариэтта Сергеевна – фигура противоречивая. С одной стороны, певец советского образа жизни, писатель «государственного» направления. С другой стороны... как ни старалась она быть при всей «злобе дня», как ни старалась соответствовать ведущей, «прямой» партийной линии и на-

писать все, что можно и даже нельзя о Вл. Ленине, все же не было в ней того «массового», что делало неотличимыми друг от друга советских писателей. В ней чувствовалась упрямая, уверенная в себе индивидуальность. Кроме того, М. Шагинян отличалась настоящей образованностью – читала западно-европейскую литературу в подлинниках! И тем была, несомненно, сродни Анастасии Ивановне, знавшей свободно три европейских языка.

Анастасия Ивановна хвалила при мне ее «Зарубежные письма». Шагинян несколько раз принимала у себя Анастасию Ивановну, приводившую к ней литературную поэтическую молодежь, конкретно – поэта Валерия Исаянца. В молодости, в 1911 году, Шагинян написала о первой книге М. Цветаевой, о «Вечернем альбоме», и потом, через годы, М. Цветаева вспоминала о той старой рецензии в письме Б. Пастернаку, как о дорогой ей.

В Шагинян и в младшей Цветаевой – их несогбенность, живостъ в преклонных летах, но... Есть и нечто литературно-общее. При разности тем и убеждений общее в них – воля. Во-вторых, резкость, твердость писательской манеры, максимальная утвержденностъ в написанном.

Среди очерков и рассказов А.И. Цветаевой немало о Коктебеле. В этом гористом, морском, ветровом уголке Восточного Крыма происходит действие «Маруси Волошиной», «Чтения стихов Софии Парнок»; чрезвычайно близко географически стоят к Коктебелю и новеллы «Сон наяву, а может быть, явь во сне» и «Ночи безумные». Но основной в ряду – большой очерк, почти повесть, скромное название коей – «Зимний старческий Коктебель». Правда, есть подзаголовок – «История пяти дней, дневниковые записи 10-15 января 1988 года». По правде, Анастасия Ивановна в строгом смысле дневник давно уже не вела. Дневник сосредоточен на своем «я», и Анастасия Ивановна, став на путь веры, на путь христианства, ушла от подобной сосредоточенности.

«Зимний старческий Коктебель» – это и очерк событий ей современных – 1988 года и *«перешаг»* в далекую юность – в 1911 год и оттуда – в 1960-ые, которые в Коктебеле памятны для Анастасии Ивановны тем, что она тогда испытала свое «последнее земное очарование» – большое чувство к Алексею Матвеевичу Шадрину (1911-1983).

В «Зимнем старческом Коктебеле» особенно, на мой взгляд, замечательна молитва спутницы: «Господи! Ты, который все можешь, Чье Сердце (…) бьется чудесами (побеждая законы природы), Ты, который из грешника можешь сделать праведника, Биением Твоего Сердца – неизбежными, неисчислимыми чудесами, самую суть всего составляющими… Сделай со мной маленькое чудо – чтобы не искушалась я искушением, ничего не хотела бы для себя, чтобы я легко делала то, что я трудно делаю. Чтобы я борола себя! Я ведь знаю – не это ли в юности моей толковал Волошин, – что мы получаем, только когда отдаем, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая и не ожидая – в ответ!

Научи меня побеждать себя…»

Не желать ничего для себя, побеждать свои желания – один из важнейших «порогов» христианства, за которым – осознание Вечности.

Сколько рукой Анастасии Ивановны записано старинных молитв, завещанных старцами и святыми… Молитва – тоже путь к преодолению, к чистой, бескорыстной, возвышенной любви к земному и небесному. Об этой сокровенности молилась Цветаева. Основной лейтмотив все тот же, религиозный: «Наша жизнь от земли отлетает, на землю падает!.. Неутомимость любви – здесь. Выше, выше! Выше неутоленности – неутомимость! Ибо выше всего – Образ и Подобие Божие, данное нам».

Еще нужно сказать о Коктебеле старческом и зимнем, что мне приходилось не раз встречать у Анастасии Ивановны лирического Спутника. Вместе с ним Анастасия Ивановна

там, в Киммерии, читала стихи, к нему в Москве она, была обращена полным доверием как к врачу, спасителю от любой подкравшейся немочи. Юрий Ильич Гурфинкель кардиолог, заведующий отделением реанимации в одной из столичных клиник. Он не был стар, но в нем оставалась тональность настоящей старой врачебной интеллигенции. Если Анастасия Ивановна – писатель милостью Божьей, то Юрий Ильич Гурфинкель милостью Божьей – врач.

В «Зимнем старческом...» Анастасия Ивановна тепло, тонко описала их «вдвоем» на фоне Коктебеля – это лирика «странничества»...

«Маринин Дом» – не просто описание жилища, это целое культурно-историческое и биографическое эссе о людях, событиях, временах. Дома в нем – живые, как люди – найденные, утерянные. В них – счастье и горе, встречи и расставания.

«Маринин Дом» – дом шесть в Борисоглебском переулке, ставший ныне музеем поэта, на нем установлена мемориальная доска. Мне же помнится время, когда там жила Н.И. Катаева-Лыткина. Уютом антикварных вещей и вещиц, картин, икон была полна ее квартира на первом этаже полуразрушенного и протекающего дома. Горящие все четыре конфорки газовой плиты «догревали» жилище единственной, отказавшейся выехать, жилицы – Хранительницы угасающего, тогда казалось, навеки, очага культуры. Дом представлял собою полуразрушенную фантасмагорию – лабиринт, где бы заблудился Тезей и где давно оборвалась нить Ариадны...

В августе 1991 года Анастасия Ивановна выступала при открытии мемориальной доски, установленной на доме сестры, и говорила о том, что было здесь пережито.

«Сравнение двух домов» – тематическое продолжение «Мариниого Дома». Краткая фрагментарная «главка» интересна прежде всего цветаеведам, которым ценна каждая, даже малая, подробность жизни семьи Цветаевых.

«Непонятная история о венецианском доже и художнике Иване Булатове» описывает нечто необычайное: художник, потеряв в болезни сознание, «вспомнил» тосканское наречие, которого никогда не знал. А будучи в Венеции, узнал себя явственно на портрете, где он – в костюме дожа. Более того, он «помнил» расположение зал во дворце, в котором не бывал.

Анастасия Ивановна точно придерживается фактов, и перед нами разворачивается теософическое приключение – прыжок из «плоскости» XX века в иную реинкарнацию, иное воплощение. Но Анастасия Ивановна, следуя православию, не принимает «догмата» о реинкарнации (хотя до одного из ранних вселенских соборов его признавала христианская церковь...). Но даже Рудольф Штейнер, основатель антропософии, утверждающий, что многократные проживания – это реальность, в лекциях своих предупреждает, что с вопросом о реинкарнации много сложностей, и люди, впадая в свои «прошлые» воплощения, могут впадать и в иллюзии...

В очерке «О Марине, сестре моей» – тоже чудесный эпизод: любимое М. Цветаевой растение (серолист из отряда бегоний) дало знать Анастасии Ивановне о смерти сестры: оно всколыхнулось, зашумело листвой при безветрии в лагерном бараке и на глазах изумленных женщин плавно успокоилось.

Быть может, когда М. Цветаева, обладавшая талантливой душой, очень астральной, очень пылкой, вышла за пределы физического тела, она через «родственную» ей живую субстанцию растения дала знать о себе. Она уже была «развоплощенной» (одно из любимых слов Анастасии Ивановны), бестелесной.

Не раз рассказывали мне, что умерший человек давал знать о себе в момент своей смерти – будто голубь забился в окно и пришло внелогически четкое осознание: «этого человека не стало». Есть в жизни место чуду.

Место чуду нашлось и в рассказе Анастасии Ивановны «Родные сени». Описан дивный всплеск интуиции: автору,

героине, рассказчице – из воздуха, совершенно невероятным образом спускается забытое, или, скорее, ранее неизвестное имя. Заметим, Анастасия Ивановна находилась в крайней степени усталости, ее сознание была на пороге меж сном и явью. И сначала ее «вынесло» в далекое прошлое, и произошло, как в сказке, узнавание. Оказалось, ей знаком дом этот, знакома комната. Здесь некогда жила сестра Марина. Но самое важное то, что Анастасия Ивановна и женщина, к которой она приехала в тот самый «забытый» дом сообщить о смерти друга, вдруг обе в один момент ощутили присутствие умершего. Он был рядом, это – непререкаемо – ясно. С овершилась победа сознания над материей, Духа над плотью. И присутствие человека, давшего о себе знать из иного мира, придало женщинам «чувство огромной полноты, тепла и покоя, держало ум и сердце в неиспытанном еще слиянии». Слияние ума и сердца – путь к Богу Единому, гармония, воспетая в старинных легендах розенкрейцеров.

«Две встречи» – рассказ о разном отношении людей друг к другу, о разной градации совести, о полярно разнородных пониманиях жизни. Книжечку, которую описывает Анастасия Ивановна, я держал в руках. Помню автограф Марины Ивановны, надпись, обращенную к сестре, и авторскую правку черными чернилами «поверх» книжного текста. Правки было немного, но она была.

«Зиновики» – рассказ почти бытовой тональности, он характерен времени, когда создавался, – 1968-му году. Время это было если не легкое, то облегченное, но потерянное, растворенное в ожидании… В «Зиновиках» тоже есть доля чудесного. Убегая от общения с Зиновием, человеком, общаться с которым было откровенно нудно, героиня наткнулась в метро на потерявшегося мальчика с таким же именем и на его маленькую сестру. И на встречу, на которую боялась опоздать из-за одного «зиновика», опоздала из-за другого. Так судьба учит одних – фатализму, других, более мудрых – иронии и одолению. На одном и том же примере.

Действие новеллы «Валовая, № 7» происходит в 1928 году. Отправившись по ответственному делу – отвезти рукопись, Анастасия Ивановна, зачитавшись «Аэлитой» Толстого, так и вернулась домой, совершенно забыв о цели поездки, хотя она человек обязательный. Когда поняла, что в «помрачении «Аэлитой» не передала рукописи, бросилась вновь в дорогу и поручение выполнила. Удивительно, что при этом Анастасия Ивановна не ставит высоко художественных качеств «Аэлиты». Напротив, к творчеству А. Толстого она достаточно критична, говорит, что рассказчик он был много лучший, чем писатель, вспоминала, как давным-давно, в Коктебеле, они целой компанией стояли на берегу, над морем всходила какая-то жуткая луна и он, Алексей Толстой, говорил: – Вообразите, что мы последние люди на земле, и это конец света... И слушавшие замирали от его слов...

Очерк-воспоминание, близкий к новелле – «Сон наяву, а может быть, явь во сне», – из созданных в 1990 году. Речь в нем идет о некоем полковнике генерального штаба белой армии в Крыму. Полковник – поэт. Не названо имя, а звали его – как сказала Анастасия Ивановна, – Александр Викторович Цыгальский. Поэтический псевдоним полковника был Ал. Цыгал. Анастасия Ивановна рассказывала, что он слыл народным трибуном, говорил о Единой и Неделимой России, хорошо владел речью, зажигал. Потом его отозвали, он исчез, где-то, по ее словам, «погас». Остался сборник его стихов, изданных в Крыму. Там было одно стихотворение, Анастасии Ивановне посвященное, заключительной строкой которого – «сгинет гнойный дракон». Полковник довольно красив был, – продолжала Анастасия Ивановна, – он отразился в своем старшем сыне. Широколобый, большеглазый, очень выразительные черты лица. Жену его, о которой тоже речь в очерке-воспоминании, звали Любовь Александровна, сыновей – старшего – Витя, младшего – Игорь.

Очерк, что не характерно для писательницы, написан «в третьем лице», как если бы не с самим автором происходили действия, события, а с кем-то другим. Намеренная отстраненность только подчеркивает – сколь опасно было все тогда происходившее. Есть в очерке и повторяющийся поэтический рефрен – «Кто знает будущее? Будущего не знает никто!»

Ужас и явь этого очерка и ныне и во все времена – это легкость убийства одного человека другим. Одни обещали жизнь, другие принесли смерть. И женщина в широкополой шляпе разносит прощальные записки. Конечно, будущего не знает никто. Но, к сожалению, наше будущее может стать похожим на такое прошлое, ибо природа человеческая эгоистична, большинство хочет блага лишь для себя, а гибель от этого – всем. И лишь избранные не погибнут – праведники, схимники, далекие от мира, те, кто идут высокими путями.

В творчестве, как в чуде, есть сокрытая героика жертвенности. Сестры Цветаевы ради него жертвуют собой, «сжигают себя». Их творчество потому и неопалимо временем, что в нем есть «огненное» чудо – героический взлет духовного начала, оно лучами Истинного Солнца освещает лица, события, подробности жизни. Солнце Истины дано узреть лишь тем, кто в сердце своем – в молитве или прозрении – поднялся через страдания и одоление к Вечности… Неизреченно высок тот путь…

Вторая часть книги посвящена музыке. Здесь собраны все небольшие произведения Анастасии Ивановны, посвященные певцам, музыкантам. Большая часть их публиковалась в 1989-1991 годах в «Музыкальной жизни».

Все очерки – это воспоминания под знаком музыкального ключа. Строки здесь подобны аккордам.

О предположительном родстве со знаменитой певицей Аделиной Патти, потрясавшей залы и салоны Европы в XIX

столетии, очерк «Соловьиная кровь». Он написан жемчужно-легко, блестко, будто – взмахами веера. Впрочем, Анастасия Ивановна не настаивает на родстве Цветаевых с Патти. Просто есть основания предполагать...

В «Бедном певце», трогательном рассказе о потомке композитора Глинки, описаны гипнотические качества того же друга А.И. Цветаевой – Зубакина.

«Детские французские песенки» – о восприятии музыки в детстве, о детских песенках семьи Цветаевых. И о силе воздействия ритма, мелодии на душу ребенка.

«Под "Клеветой" Россини» – трагическое повествование о встрече в лагере с певцом, солистом Большого театра Сладковским. Очерк этот, несколько видоизмененный, вошел в роман «Amor».

В книгу вошли также «впечатления» Анастасии Ивановны от встреч с певицей Анной Герман, знаменитой пианисткой М.В. Юдиной, с крымским скрипачом Ягья Эфенди.

В завершение – два очерка о художниках, написанных А.И. Цветаевой в Эстонии, – о Олаве Маране и Ирине Бржеской, нашедшей свой последний приют на кладбище при женском монастыре в Пюхтице. Вообще, Эстония занимала особое место в жизни и творчестве писательницы. Сюда она приезжала 25 лет подряд. Этой земле и ее людям посвящен большой очерк «Моя Эстония». Здесь написано много рассказов, очерков, воспоминаний.

Эстония для Анастасии Ивановны неразрывно связана с Пюхтицким монастырем, который она всегда посещала, чтобы окунуться в холодные воды священного источника.

О «ВОСПОМИНАНИЯХ» АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

«Воспоминания» Анастасии Ивановны Цветаевой явление уникальное. Именно эта книга сделала ее классиком мему-

арного жанра русской литературы. Друзья-современники ясно осознавали достоинства пера младшей Цветаевой. Борис Пастернак писал ей, прочтя еще неопубликованные страницы, напечатанные на тонкой папиросной бумаге: «Ася, душечка, браво, браво! Только что получил и прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой сжатости и силы... Ваш слог обладает властью претворения, – я забываю, что этих матерей и комнат и девочек уже нет, они заново повторяют свой обреченный выход, заново живут и заново уходят и нет слез достаточных, чтобы оплакать их исчезновение и конец» (из письма 22 сентября 1958 г. «ЛГ Досье, Век Пастернака», 1990, февраль, с. 16). Поэт Павел Антокольский в рецензии в «Новом мире» назвал книгу «прозой, насыщенной электричеством памяти».

Книга Анастасии Ивановны создалась не сразу, у нее были своего рода «предшественники». Сначала детский (с двенадцати лет), потом юношеский ее дневник. О нем спустя годы Анастасия Ивановна писала: «Дневник этот все более занимал места в моей жизни, как в Марининой – стихи. Привычка отображать пережитое, отдавать себе отчет в мыслях и чувствах вырастала в подобие тайного спутника, уже становящегося поддержкой в моих днях»; «Он занимал столько места в моей юности, в каждом дне, каждой ночи... был неиссякаем в своих утешениях, возвращая мне с избытком силы, отданные на его создание...». Именно он, несохранившийся дневник, может полноправно считаться пратекстом, первой литературной основой «Воспоминаний» как и, еще раньше, дневник был основой двух первых книг писательницы, которая пишет: «В нем в свою очередь рождались будущие «Королевские размышления», «Дым...», лишь две всего в

печать попавшие злополучные книжки». В дневнике были исключительно интимные, исповедальные страницы. Исповедальность, безоглядная искренность. Жизнь с юношеским головокружением – как на краю бездны...

На чердаке дома Лебедевых, квартирных хозяев А. Цветаевой в Александрове, сотрудником Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых был найден среди прочих бумаг и подлинный отрывок одной из дневниковых записных книжек А. Цветаевой, две странички, вырезанные из небольшой тетрадки. Вот этот, чудом дошедший до нас, несколько патетический фрагмент: «О скажи, мама! Это твое напутствие? А Марусе ты написала длинное стихотворение, которое оканчивается этими 4-мя строками: “Вы живете во мраке, в оковах, в аду ... / Я вас к свету, к свободе вперед поведу! / Верьте – некуда больше идти – / Нет иного пути!” ...Ты ей указала дорогу, тоже смелую, гордую. Ту единственную дорогу, по какой могут идти такие, как она. – “Нет иного пути!” Да, это было напутствие. Я стала верить снам и гаданиям. Любовь сильнее смерти. Если верить, верить в невозможное, оно станет возможным. Надо сильно желать, сильно верить, сильно любить, – и преграды разрушатся. Часто, читая какую-нибудь книгу, или гуляя по тем самым местам, которые ты так любила, я думаю о тебе, представляю себе тебя и мне чудится твой смех, голос, смелые песни и ты вспоминаешься мне. Какою ты была когда-то давным-давно, в солнечной, яркой Италии среди цветов моря и земли. Часто я хожу на ту лесную поляну, которую ты звала “пеньки” и которую так любила, и глядя на грустные молодые березки и осины, вспоминаю тебя. Поздно... поздно. ... 31 мая... Осенью этого года мне исполнится 14 лет. После лета 1906 года настала теплая осень. Все уехали в Москву, Маруся в гимназию живущей, Андрей тоже в гимназию, папа уехал с ними, а я до 22 октября жила у Добротворских. Ты помнишь, я и в Ялте и здесь, в противоположность Марусе, была “реак-

ционерка". Мало-помалу взгляды мои стали...» Заметим, что в этом фрагменте приведена заключительная часть стихотворения «Я оторван от жизни родимых полей» Скитальца (Степана Гавриловича Петрова 1869-1941). Его поэзию любила мать, Мария Александрова.

Мария Александровна Цветаева, о которой так тосковали обе ее дочери, видела удивительные сны, например о том, как будто бы в их с отцом доме умирает у них на глазах Гете. В свой дневник она вписывала восхищенные строки о поэзии С. Надсона. В наиболее полный вариант «Воспоминаний» включены таинственные случаи, говорящие о ее неизвестных ранее, необыкновенных качествах... Благодаря «Воспоминаниям» Анастасии Ивановны в Российском государственном архиве литературы и искусства была атрибутирована, «опознана» единственная из сохранившихся рукописных книжек материнских дневников. Анастасия Ивановна сама говорила, что ее дар слова, как и музыкальность, унаследованы от матери, чьи дневники сестры, получив от отца, разделили между собой. Однако она имела в виду не столько письменный стиль, сколько устный, – блестящую вдохновенную речь, полную сложных, прихотливых периодов...

Романтизм, склонность дорожить прошлым, стремление оглядываться назад со словами – «А помнишь?..», все это действительно от матери. Ее страстность, ее музыкальность, ее стать, ее чувство долга... Считается, что работоспособность, выносливость пришли генетически по отцовской линии, от деда, протоиерея Владимира Васильевича Цветаева, простого владимирского пастыря, нравственно сильного и патриархально-задушевного, оставившего по себе самую добрую память у прихожан. Эти качества взял от своего отца отец сестер, Иван Владимирович, профессор классической филологии, искусствознания, который основал и подарил

России грандиозный Музей изящных искусств в Москве, на Волхонке.

Тем не менее, нельзя утверждать, что литературная одаренность Марины, Анастасии, (да и хороший слог старшей их сестры Валерии и брата Андрея), вовсе не от отца. Сохранилось немало писем И.В. Цветаева, написанных легким, образным, эмоциональным и, подчас, остроумным пером. Вот пишет он в свой день рождения 4 мая 1899 г. письмо к профессору И.В. Помяловскому: «Раннее утро. День солнечный, на небе ни облачка, в воздухе тепло и соседних с моим окном тополей благоуханье, а в высях слышится птиц легкокрылых щебетанье»... И ниже: «Подождал, походил по двору, обозревая молодые тополюки, и почтительно и радостно мне кивавшие своими зелеными листочками. Такие милые». Чувство Природы, не с него ли начинается в душе взволнованность вдохновения?.. Не от этого ли истока сама сила творчества?...

Дневник, как мы сказали, был первым пратекстом «Воспоминаний». Но существовал и своего рода второй после дневника пратекст, пропавший при аресте А. Цветаевой в 1937 году. Это был ее неоконченный двухтомный роман «Нюренбергская хроника». Там действие было перенесено в Германию. Отец был немецкий профессор. М.А. Мейн-Цветаева звалась фрау Мария. Марина и Анастасия – старшая Беата и младшая Эрика. Когда уже после тюрем, лагерей, ссылки и потом реабилитации Анастасия Ивановна стала писать «Воспоминания», то ей приходили на память не только картины прошлого, но и отдельные, списанные с реальности, сцены из того утерянного довоенного романа. Однако все же неоконченная «Нюренбергская хроника» преимущественно художественное произведение, включавшее автобиографические эпизоды. Анастасия Ивановна рассказывала: «...старшая из

нас будто бы была невестой англичанина, когда разразилась мировая война 1914 года – и разлучила их. Тогда Беата поступает на курсы сестер милосердия, перебарывая нелюбовь к медицине и идет на фронт в фантастической надежде где-то в боях встретить своего жениха. И погибает. Младшая, Эрика, остается жить...»

«Воспоминания» Анастасии Ивановны – тоже явление художественное, однако основной их художественный крен – в искренность. Они прежде всего передают атмосферу эпохи, среды, в них – портреты замечательных личностей, целый «прошлолетний круг» ее современников. Образы явлены в обрамлении чувств столь тонких, что удивляешься чутью писательницы, сумевшей вспомнить и описать их. Что касается стиля, то явь «Воспоминаний» импрессионистически живописна, прошлое приближено чутким отражением оттенков движений души, лиц, красок. Недаром любимым писателем ее был Марсель Пруст. Недалеки от истины и те, кто говорил, что она отдавала дань отражению «потока сознания», но в ее прозе есть и черты, свойственные литературе времен символизма. Во времена молодости, среди друзей сестер Цветаевых, – у Эллиса, М. Волошина, – доминировала концепция символизма как жизнестроительного течения. Жизнь для сестер была «первичней» литературы. «Днем я жила, а ночами писала, сжигая себя» – говорила Анастасия Ивановна. В сущности, сестры в юности вольно и невольно искали друга, человека и находили его... на какое-то время, потом жизнь менялась, человек менялся или погибал, наступали войны, сломы эпох, революции, а душа все ждала новых надмирных встреч, новой любви. Особенно это было свойственно Марине Ивановне, которая писала 25 янв. 1925 г. О. Колбасиной-Черновой: «Кроме того, не умею на людях, мне нужны не люди, а человек – один – упор – хотя бы одного вечера» (МЦС, т. 6, с. 712). Вспоминая В.В. Розанова,

Анастасия Ивановна говорила, что он был не оратором, как Бердяев, а человеком «интимного собеседования»... И тоже, как и она, был жаден до сердечного контакта. Когда читаешь наиболее полный вариант «Воспоминаний», понимаешь, что А. Цветаева как никто воплотила эту жажду – жажду любви, столь печально и высоко свойственную человечеству. Она отразила трагическую утвержденность любовного чувства. Так было у нее с Б. Трухачевым, Н. Мироновым, с М. Минцем, много раньше – с В. Нилендером, «Я обманываю и Сережу, и Толю, и всех, кто придет, тем, что не могу остановить свое очарованье к ним идущее и не могу не чувствовать их так, как если бы каждый из них был мне единственен. Каждому я хочу добра и каждому несу страданье. Вот в чем моя вина...» – писала она.

В юные годы Анастасию Цветаеву, как и ее сестру Марину, не покидало чувство одиночества, несмотря на все привязанности и дружбы. Жизнь представлялась трагичной нелепостью, от которой нужно устраниться... Ей тогда были свойственны волевая самостоятельность и... усталость от мысли, что – нас бросили в мир и забыли. Отсюда теоретическая готовность – по выражению её старшей сестры – «Творцу вернуть билет». Анастасия Ивановна жила в юности в стихии трагического. Таков был дух времени, в ней воплотившийся. Таково было искусство, и таковы были литература, таким был кинематограф... Надо всем для неё была – тоска. Трагико-романтическим мироощущением проникнуты её две первые книги – «Королевские размышления» (где изложена её философская система нигилистики), и вторая – «Дым, дым и дым», где больше чувств, непосредственной, событийной жизненности. Даже в страницах, где веет безысходностью, все равно сохраняются юная стремительность, блеск.

Эта страдающая искренность восхищала друга Анастасии Ивановны, философа-эссеиста Василия Васильевича Роза-

нова. Лирико-философская открытость роднила молодые дневниковые страницы с его собственными книгами – с «Уединенным», с «Опавшими листьями»... Тут не было подражания. Анастасия Ивановна обрела свой собственный прозаический камертон раньше, чем прочла Розанова...

«Если бы Розанову все-таки пришлось писать свои «мемуары», есть все основания для гипотетического утверждения, что его «былое и думы» осветили бы русскую жизнь таким лучом «очевидца», который не нашел бы в нашей культуре никаких параллелей. Эти «свидетельства» могли быть золотыми самородками в «нашем наследии» – так сказано в исследовании «Загадка личности Розанова» В.Г. Сукача. Тем не менее, новые «Былое и думы» возникли и стали существовать, – они зажили и развились именно в прозе друга В.В. Розанова, Анастасии Цветаевой, и стали золотыми самородками для многих поколений.

Не сохранилась книга А. Цветаевой о Розанове, о которой он сам говорил, что запечатлен в ней «как в синематографе», не сохранилась их обширная переписка... И хочется о том раннем периоде творчества Анастасии Цветаевой сказать словами М.О. Гершензона, обращенными к Розанову: «...чтобы так, без оболочки трепетало сердце перед глазами, и слог такой же необлекающий, а как бы несуществующий, так что в нем, как в чистой воде, все видно (и вместе трепетный, как само сердце)». Думаю, глубинное сродство характеристик не случайно. Гершензон и Н.А. Бердяев дали А.И. Цветаевой рекомендации во Всероссийский союз писателей в 1920-ых годах...

И вот – прошли годы – позади революция, унесшая дым тоски, утопившая многие тонкие печали в лишениях, в тяготах, в ужасающей нищете и ее преодолении. Тоска о несовершенстве мира сменилась верою, помогавшей жить, писать и не идти на компромиссы, которые предлагало время. В самые трудные для Анастасии Ивановны годы – в тюрьме,

в лагерях, потом – в ссылке – она выдержала испытания, и основой твёрдости её было христианство, которое она прочно несла в душе с 27 лет. Человек это убеждения. Убеждения это свобода и необходимость поступать по своему, в соответствии со светом истины, которая светит тебе...

Кроме письменных «пратекстов» существовала и первоначальная устная версия, Анастасия Ивановна рассказывала о детстве старшей внучке, Рите Трухачевой, об этом сказано в повести «Моя Сибирь» (1976): «Когда я начала рассказывать Рите мое детство? Лет с пяти? Трудно вспомнить. Но рассказ родился и рос органично, обратный тому, когда я выдумывала сказки. Тут все было «документально», правдиво, я воскрешала бывшее с почти документальной точностью, это был труд. Он всегда происходил на ходу, по пути из села или назад в село, я умолкала на полуфразе... В следующий раз кто-нибудь из нас спрашивал: «Где мы остановились?» Это был пароль. И мое детство продолжало развертываться, повторяться – год за годом, зима за осенью и весна после зимы, все дома, все города, все страны, все подруги, все друзья. Узнавала ли все это Рита, когда, более десятилетия спустя, она получила в подарок мою книгу «Воспоминания» (1971)?» (с. 144).

«Воспоминания» писались и в Москве и в Павлодаре, где жила семья сына Андрея Борисовича Трухачева. Там, в Павлодаре, Ольгой Григорьевой создана книга-очерк «Зовут ее Ася...» (2006) с подзаголовком «Фрагменты жизни Анастасии Цветаевой». Ее можно прочесть в Интернете. Приведем опубликованные там свидетельства о том, как писала Анастасия Ивановна: «О напряженном писательском труде А.И. Цветаевой вспоминают и павлодарские одноклассницы Риты – Лидия Сотник и Татьяна Кокорева: “Когда бы мы ни пришли к Рите, бабушка всегда работала – писала, писала,

писала... Везде лежали рукописи. Иногда она устраивала себе перерыв на 15 минут и говорила, чтобы в доме была тишина. Мы ходили на цыпочках... Отдыхала она ровно 15 минут, а потом снова работала". Внук Анастасии Ивановны Геннадий Васильевич Зеленин (сын от первого брака жены А.Б. Трухачева Нины Андреевны Зелениной, урожденной Шарыповой. – *Ст. А.*) и его жена Раиса Иосифовна, жившие в Павлодаре, рассказывали, как работала бабушка Ася летом. В хорошую погоду она выносила за дом маленький складной стульчик, садилась и, низко склонившись над блокнотом (у нее было очень слабое зрение), долго-долго писала..."Она пишет даже в вагоне поезда", – вспоминала дружившая с Анастасией Ивановной в последние годы ее жизни Галина Медзмариашвили».

Когда первоначальный текст был написан и перепечатан на машинке, профессиональный редактор, некогда работавший в издательстве «Земля и Фабрика», Иосиф Филиппович Кунин дружески стал помогать в 1966-67 годах его править. Об этом свидетельствует сохранившаяся благодарная дарственная надпись на машинописи, адресованная Иосифу Филипповичу и Розе Марковне, его жене. Очень дружила Анастасия Ивановна и с его сестрой, Евгенией Куниной, поэтессой, переводчицей, учившейся в Высшем литературно-художественном институте. Ей преподавали В. Брюсов и Вяч. Иванов.

Фрагменты, посвященные детству, юности и поездке к М. Горькому под названием «Из прошлого» опубликовал «Новый мир» в 1966 году (№ 1, 2). Принес их в журнал известный литературовед, специалист по литературе Серебряного века, Е.Б. Тагер, добрый знакомый Марины, а потом и Анастасии Цветаевых. «Новый мир» в те годы по праву считался веду-

щим толстым журналом страны, и на фоне обширного мелкотравья тогдашней советской литературы даже фрагменты столь живой, искренней, теплой и, одновременно, тонко импрессионистической прозы вызвали множество восторженных откликов. Многие уже тогда почувствовали, что А. Цветаевой судьбою, рождением и воспитанием был подарен талант взволнованности, сопереживания и насыщенности, особой разомкнутости в мир...

В издательстве «Советский писатель» на «Воспоминания» были заказаны «внутренние» рецензии. Наиболее показательна для того времени рецензия советского критика Николая Семеновича Гуса, который выделил три основных подхода А. Цветаевой к прозаическому отражению прошлого: по первому подходу «Автор переносится в прошлое и мы видим его глазами тогдашних Аси и Марины». Соответственно второму подходу, «...автор воспоминаний показывает нам то, что было, но с точки зрения сегодняшней своей, ретроспективно». И далее критик заподозрил мемуариста в желании – влить новое вино в старые меха. – «Однако, наряду с этими двумя методами воспоминания, – пишет Н. Гус, – широко использован – чаще, чем два упомянутых способа – третий, так сказать, смешанный прием. Рассказ как будто ведется непосредственно, как сколок с того, что было, как оно было тогда, но в то же время мыслит, чувствует, говорит мемуаристка (подросток, девушка) так, как она не могла тогда, так, как подсказывает теперь весь опыт ее жизни».

«Неужто же именно так чувствовали и думали эти девочки тогда?!» – недоумевает в 1967 году Н. Гус. Ему было непонятно, что сестры могли иметь столь раннее развитие души. Анастасия Ивановна со своей стороны убежденно настаивала на том, что она именно так тогда чувствовала... Ей была присуща «вневозрастная зрелость».

Пусть мемуаристкой не выдержан, не проведен «последовательно» какой-либо один метод. Зато достигнута зримость, текст увлекателен и уводит за собой читателя, которому не хочется оторваться от взятой в руки книги. Но это только в том случае, если человек сердечен по своей собственной природе, ибо эта книга по природе своей сердечна. В искусстве, в литературе, человек, как правило, ищет того, что ему уже дорого, что составляет память его собственного сердца, что ложится на кантилену ассоциаций его пережитого опыта...

«Оправдана ли такая детализация мемуаров?» – риторически вопрошает Гус. Ответом ему видится давнее мнение поэта Владислав Ходасевича, старого знакомого А.Цветевой по Коктебелю, – «Из мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя лукаво, дает наибольшие сведения о наибольшем количестве фактов. Общеизвестно, что иногда незначительная подробность или случайно упомянутая дата оказываются при исторической обработке наиболее ценными и важными из всего мемуарного состава» – Ходасевич, сказал это, рецензируя книгу воспоминаний З. Гиппиус «Живые лица» («Современные записки», 1925 кн. XXV, с. 537). Это еще боле верно в отношении семьи Цветаевых, о которой создана целая библиотека книг и статей. А сколько действующих и посещаемых музеев хранят память об этой семье! Любая подробность не только ценна сама по себе – она открывает возможность новых линий исследования для цветаеведения. Научные конференции, посвященные «быту и бытию» семьи Цветаевой проводятся ежегодно и в музеях и в высших учебных заведениях не только нашей страны.

Анастасия Ивановна годы спустя рассказывала, что у нее имя этого советского критика Гуса ассоциировалось с сокращенным названием Государственного ученого совета. Она

понимала, что ее книга не настолько советская, чтобы иметь положительные отзывы. Однако, когда она все таки в 1971 году вышла, Н. Гус с надеждой, жалобно спрашивал своих коллег по издательству, – Как вы думаете, она мне надпишет книгу? Он не мог, как опытный литератор, не чувствовать обаяния и силы цветаевского текста, но «бдительность», хорошо усвоенная за сталинские годы, не позволяла открыто такие книги поощрять... Второй рецензент, еще более известный литературовед, А. Западов все же заключил свой отзыв словами: «Но выпустить эту работу следует», однако и он говорил лишь о неполном издании книги.

«Моя книга «Воспоминаний» была передана в «Советский писатель» и на прочтении и рецензии лежала там более трех лет, и были две отрицательные рецензии Гуса и Западова, когда на вечере 80-летия Мариэтты Сергеевны Шагинян оба мои друга Фейнберги приступили к директору Лесючевскому с настойчивой рекомендацией ее напечатать.

– А вы возьметесь ее редактировать? – спросил Лесючевский.

– Возьмусь! – отвечала Маэль Исаева.

И работа началась. Я проводила у них день за днем всю ту зиму, за которую мы с Маэлью Исаевной по плану нашей работы должны были окончить пересмотр и переработку всего материала первого тома моих «Воспоминаний» – так писала Анастасия Ивановна в очерке «В те счастливые дни», который вошел позже в ее книгу «Неисчерпаемое» (1992).

«...Мой прелестный редактор, без которого моя книга не вышла бы, – она все бои встречала грудью, она эту книгу родила; я её только выносила...», – говорила о Маэли Исаевне Фейнберг-Самойловой Анастасия Ивановна. Однако обе они сетовали на вынужденный, и частью цензурный характер сокращений, на которые приходилось идти. Анастасия Ивановна прибавляла – Редактор резала по живому! И вот, позже, от издания к изданию в «Воспоминания» Маэль Иса-

евна по возможности стала добавлять главы, ранее неизвестные, все более поднимавшие завесу забвения над безвозвратным прошлым и на сцене повествования стали появляться все новые события и лица...

Воскрешать к жизни преданных забвению, давать им возможность пожить еще миг – один из глубинных лейтмотивов последней Цветаевой. В ком так ярко была жива память, кто имел магическую способность возвращаться в былое? – В том, в ком ясность прошлого, в том больше сил для настоящего, и в том больше будущего. Интенсивность самосознания, интенсивность личности. Вот что необходимо сказать о писательнице, и о том, что её сделало писательницей. Именно так нам видится А. Цветаева, человек глубоко по своему чувствующий и знающий мир. Беллетризация у А.И. совершенно не перевешивает достоверность, как это происходит, например, у Г. Иванова в его «Петербургских зимах», или у Э. Миндлина в его «Необыкновенных собеседниках». А.И. Цветаева дала себе в двадцать семь лет религиозный обет – «не лгать», и следовала по большому счету этому обету всю жизнь. О чем-то недолжном могла умолчать, ведь правда для нее не была самоцелью, она не «конструировала», не направляла политически «своевременный» взгляд в прошлое и никак не обеляла это прошлое, как ее безуспешно пыталась в этом обвинить в 1980 г. литературовед из США, В. Швейцер, опубликовавшая в 1980 г. в журнале «Синтаксис» (№ 40) «открытое письмо» к А. Цветаевой. Понимала ли она, что ответ на такое письмо из Советской России тогда был просто опасен и для Анастасии Ивановны и для ее близких?

Другое дело, что в любых мемуарах есть неточности, есть ошибки – память человеческая изменчива и несовершенна. Необходимо иметь в виду, что ошибки возникают особенно там, где память задним числом создает иные картины, чем те, что были в действительности. Бывают в любых мемуарах

и невольный домысел и вымысел, которыми, по словам Анастасии Ивановны, была полна автобиографическая проза ее сестры Марины Ивановны. Наблюдательный свидетель, писатель, поэт – очень индивидуальный очевидец, как все свидетели.

Так, описывая открытие Музея, обе сестры видят все каждая по-своему. Анастасия Ивановна пишет, что «древнего сановитого старичка в золотом мундире», описанного у сестры в ее «Лавровом венке», не помнит. И теперь понятно – почему. Да потому, что видела его не юная Марина Цветаева, а Сергей Эфрон, ее не менее юный муж, описавший того старичка в письме к сестре. Это его впечатления переданы Мариной Цветаевой и поданы художественно, гротескно. Да, старик тот, поставленный на ноги С. Эфроном, присутствовал не при открытии Музея, а несколько ранее, в тот же день при молебне на открытии памятника императору Александру III. Доказательством служит упомянутое письмо от С. Эфрона к В.Я. Эфрон от 7.06. 1912: «В Москве я был и на открытии Музея и на открытии памятника Александру III. В продолжении всего молебна, а он длится около часа, я стоял в двух шагах от Государя и его матери... На открытии были все высшие сановники. Если бы ты знала, что это за разваливающиеся старики! Во время пения вечной памяти Александру III вся зала опустилась на колени. Половина после этого не могла встать. Мне самому пришлось поднимать одного старца-сенатора, который оглашал залу своими стонами» (М. Цветаева «Неизданное. Семья: история в письмах», М., «Эллис Лак», 1999, с. 133-134).

Однако, продолжая эту тему в полном, несокращенном варианте статьи «Корни и плоды», Анастасия Ивановна пишет: «Но старик Иловайский, тесть отца по первому браку, пришедший будто бы в нестерпимой жары день, когда дамы задыхались под высокими стеклянными потолками шелковых белых (по приказу церемониймейстера закрытых) плать-

ях, Иловайский, пришедший, как пишет Марина, в б о б р о в о й ш у б е. Жена его, чопорная дама, по своеволию не подчинившаяся приказу церемониймейстера (ее бы не допустил он – или слетел бы с должности), надевшая белую кофточку и к л е т ч а т у ю юбку, в присутствии царских особ – для чего так захотело перо? Оно веселилось!.. Никому не отдавая отчета». Вот почему Анастасия Ивановна сравнивала творчество сестры с горным потоком, а свою прозу – с равнинной рекою...

Нельзя не сказать, что А.И. Цветаева – психолог детства... Под ее пером оживает стремительность поглощения природы в детстве – «Еле забрезжившую грусть мы продавали за новую радость, бездумно купаясь в щедро лившейся роскоши сентябрьских рощ! Мы не успевали. Это было состояние опьянения. Точно во вспыхнувшей зеркалом панораме открывался волшебный мир Осени. Чья-то рука так быстро меняла картины»...

И типизация речи героев у нее изумительна. Мастерство автора «Воспоминаний» сравнимо с мастерством создателя другой семейной хроники – «Детство Темы. Гимназисты» Н.Г. Гарина-Михайловского, также классика русской автобиографической прозы. Правда, хроника Михайловского – произведение более жесткое, в нем больше сказано о том, как наказывали детей в то время...

«Воспоминания» охватом переросли поставленную первоначально цель. От Анастасии Ивановны ждали книги о сестре. Получилась семейная хроника. Конечно, хроника не может касаться только личности Марины Цветаевой, классика поэзии Серебряного века, хотя первоначально было желание создать такой прозаический памятник. Как памятник Леонардо да Винчи в Милане окружен статуями учеников, а в Петербурге статуя Екатерины Великой окружена фигурами

ее фаворитов, так не осталась одинока и Марина Ивановна, впрочем изображенная в окружении живых людей, а не немых статуй. Ариадна Эфрон, дочь М.И. Цветаевой, хотела, чтобы портрет был, как раз «побронзовее», без живых человеческих недостатков.

Об этом и написала Ариадна Сергеевна в письме к Анастасии Ивановне 8 апреля 1959 года, еще до всех осуществленных и неосуществленных публикаций: «...Относительно Ваших воспоминаний: только из Вашего последнего письма я узнала о том, что это вовсе не воспоминания о маме, а мемуары – тогда, конечно, мои «претензии» отпадают – о чем же тогда, действительно, спорить?

Вы пишите, что разослали свои мемуары разным людям, чтобы сравнить их впечатления (относительно образа мамы) с моими. Милая Асенька, в этом деле мое мнение остается неподвластным впечатлениям каких бы то ни было читателей – пусть даже почитателей. Я считаю, что одних слов Вашей матери о том, что Муся с 4-х лет подбирает рифмы мало, чтобы показать поэтическое своеобразие в ребенке, в этом ребенке. «Поэтическое», конечно, не то слово. Своеобразие потом вылилось в поэзию, но своеобразие должно было быть. Если мамино детское своеобразие заключалось только в драках с Андреем и притеснении Вас, и в постоянном прибегании к протекции Валерии против матери, – то откуда же впоследствии взялась поэзия? Только из этого? Тогда все советские дети были бы поэтами! Вы были слишком малы сами в тот период, чтобы многое понимать и анализировать? Согласна – но ведь воспоминания Вы пишите в 64 года, понимая и анализируя, скажем, родителей? Почему же тогда в описании Марины писать иным способом – с точки зрения 5-7 летнего ребенка? Тогда и родителей надо давать так, как их воспринимал детский взгляд и ум. Вот в письме Вы говорите, что Маринина дерзость и грубость скрывали большую душевную

ранимость, но в воспоминаниях этого нет, есть только факты грубости необъясненные и необъяснимые. Впрочем, все это относится опять таки к «воспоминаниям о Марине», а не к «мемуарам» более объемным вообще и менее пристальным к ней в частности.

Вы говорите о том, что Пастернак плакал над «матерями и девочками»? Но не забудьте, что он никогда не переслал мне отрывок, над которым плакал — и не для того, чтобы, скажем, сохранить себе на память, а просто, как все на свете, мамы касающееся, как-то упустил из рук. В этом — вся его «любовь» к маме! Масса эмоций, и никакого, пусть минимального, действия.

Еще и еще раз повторяю — написано прекрасно, Вашей памяти и зоркости, их конкретности только позавидовать можно. Очень вероятно, что «упреки» мои неправильны, я к маме пристрастна всегда и во всем, для нее мне и большего было бы мало, Бог дал, человек не обузь!» (...).

Моя память хранит ее великий дар, ее великое благородство, гордыню, гордое одиночество, ее великую любовь к нам, детям, и к нашему отцу, героическую борьбу с бытом и бедность, широту и глубину ее страстей — увлечений людьми, природой, явлениями, и при всем многообразии — отсутствие хаотичности, расплесканности — стройность душевного строя! Мужскую организованность в работе! вплоть до порядка в дне, в рукописях, на рабочем столе! Да разве все перечислишь... Мне ли копаться — да и вам ли? в промахах, в расхождениях с моралью сгубившего ее с позволения сказать «общества»? И я убеждена, что права именно моя память, забывшая плохое, ибо оно так мало, так мелко, что, как труха, развеялось на ветру времен и событий. «Всякое лыко в строку» по отношению к ней — я так не могу».

Вот так дочери М. Цветаевой казалось, что правдивые, но не касающиеся «становления поэта» подробности жизни ранних лет поэта просто не нужны...

В своих текстах о матери А. Эфрон так и поступила – создавала очень живой, но одновременно «правильный» с ее точки зрения и, конечно, цензурно «проходимый» образ матери. К счастью сохранились в РГАЛИ и недавно опубликованы, детские дневники А. Эфрон, где она подробно пишет о матери, и далеко не всегда «возвышенно» о ее самом близком окружении. С этими дневниками она сверялась, когда писала. Анализу, пристальности ко всему сущему, конечно, бессознательно училась у матери, как и ее брат Георгий Эфрон, чей юношеский дневник имеет немалое значение для характеристики своего времени, так как он написан без страха, непринужденно, хотя и не без мальчишеского самолюбования и самоуверенности. В нем отпечатлелись и тяжкие испытания, выпавшие на его долю после смерти матери.

Однако скажем справедливости ради, что несколько ранее, 11 сентября 1958 года А.С. Эфрон высказывала в письме свое первое, весьма положительное впечатление: «Дорогая Асенька, получила еще воспоминания, начинается с родителей, отчасти с предыстории маминой и Вашей. Как это должно идти – так, как Вы мне посылаете, подряд, или то, что Вы прислали теперь является началом, а то, что посылали раньше – продолжением? Страницы с Поленовым, о которых спрашиваете, получила. Спасибо Вам, Вы делаете то, что Вам одной дано, делаете за всех ушедших, возвращаете им голос, зрение, жизнь. А без Вас это все – эти все – канули бы в бездонное, безвозвратное. Вы делаете великое, чудесное дело – в таких тяжелых условиях, в такой враждебности дней! Да и в людской враждебности. Все так называемое «новое» так органически враждебно так называемому «старому» – пока само не превратится в «старое». А в наши дни это зачастую принимает такие уродливо – и угодливо – варварские формы!

Т.е. это постоянное, научно обоснованное попрание корней и истоков сегодняшних и завтрашних дней...»

Есть и еще письмо А.С. Эфрон, касающееся «Воспоминаний» Анастасии Ивановны, 5 октября (1958 г.). Вот извлечение из него: «Милая Асенька, еще добавление: переписываю, каждый день понемногу, Ваши воспоминания. Они очень хороши, талантливы, своеобразны. Их своеобразие, как говорят знатоки и ценители, которым я даю их почитать – сродни маминому и пастернаковскому. Для меня это – клад, воскрешение маминых, а через нее и моих собственных – истоков. Многое помню с маминых слов – и записанного Вами, и еще другого. У меня только одно пожелание – может быть эгоистичное, так как пытаюсь собрать о маме, что возможно – это чтобы в воспоминаниях Ваших Вы о ней не забывали. В последнее время она, именно она, из написанного Вами исчезает, постепенно заменяясь Валерией Ивановной. Мама сочла бы сочла эту замену – изменой, я же думаю, что сейчас Вы пишите с оглядкой именно на В.И., с оглядкой на то, что прочтет это именно она, последний вместе с Вами живой свидетель тех лет. Это естественно.

То, что я пытаюсь записывать о маме, я пишу не для себя, не для Вас, не для родных и знакомых. А «для тех, через сто лет», чтобы им помочь узнать правду. Впрочем, моя правда субъективна, так как я давно забыла об обидах и шероховатостях наших с мамой отношений, и, забыв о них, легко отошла на задний план, выпустив вперед ее, о которой, которую пишу.

Крепко целую Вас, желаю сил и здоровья. Как только получу какую-нибудь денежку – пришлю. Подошло ли, понравилось ли присланное мною всем вам? Жду от Андрюши весточки. Ваша Аля».

Это еще одна грань мнения Ариадны Сергеевны. Прав Марк Слоним, говорящий об Ариадне Сергеевне – «Она соб-

рала архив рукописей МИ, много поработала... над опубликованием ее произведений и делает это со страстью и ревнивым обожанием, как бы искупая прежние грехи и утверждая в то же время свое исключительное право распоряжаться литературным наследием матери» («Воспоминания о Марине Цветаевой» М, 1993, с. 342).

Тем не менее, надо ясно понимать, что Анастасия Ивановна создавала не биографический панегирик великому поэту, а живые воспоминания о своей жизни, неотъемлемой частью которой была сестра Марина. Ее стремление отразить правду, не приукрашивая оную, сегодня нам особенно ценно. В предисловии к сборнику «Серебряный век. Мемуары» (М., «Известия», 1990) Н.Н. Богомолов справедливо писал: «Однако людям, ищущим в сборнике воспоминаний исторической истины, хотя бы относительной, следует помнить, что в любых мемуарах первенствует личность автора, вольно или невольно выдвигающего себя если не на первый план, то, во всяком случае, постоянно присутствующего в повествовании и меняющего его направленность и степень объективности» (с. 9).

Личность Анастасии Ивановны, живая, емкая, глубоко воспринимающая жизнь, не могла полностью устраниться из мемуарного повествования, ведь вся ее проза, за редким исключением, исключительно автобиографична.

Считается, что в русской классической литературе лучше всех процесс появления на свет человека, процесс родов описал Лев Толстой. Однако данное в полном «кодексе» «Воспоминаний» описание своего собственного, а не воспринятого созерцательно, со стороны, опыта Анастасии Цветаевой, кажется нам по образности и представимости совершенно уникальным и не менее убедительным.

При этом Анастасия Ивановна могла памятью ярко и тонко вернуться в детство. Ей подвластно было возродить в себе мироощущение ребенка. Реконструкция психологического состояния начальных дней прямо целебна — ведь ясновидя-

щий В.И. Сафонов, находивший потерянных детей, никогда дотоле их не видя, говорил, что для того, чтобы обрести здоровье, надо воскресить в памяти картины и чувства детства и организм начинает, как под гипнозом, вновь работать и дышать так, как будто он возвратился к заре своей жизни. Подобное литературное возвращение А. Цветаева продемонстрировала не только в корпусе «Воспоминаний», но и в мемуарном очерке «О брате моем Андрее Ивановиче Цветаеве», опубликованном в «Науке и жизни», в № 3, 1986 г. В том же популярном журнале выходили и ее стихи и рассказы о животных, позже собранные в книгу «Непостижимые» (1992). Сестры Цветаевы обе были сердечно проникновенны к собакам, кошкам – братьям меньшим... Книга вышла в тот же год, что и написанная по совету архимандрита Виктора Мамонтова, книга рассказов «О чудесах и чудесном». К моменту выхода этих книг автору было уже под сто лет и она продолжала работать...

Первые, ранние книги Анастасии Цветаевой «Королевские размышления 1914», «Дым, дым и дым 1916» имели непременный художественной чертой намеренную фрагментарность. Это была философская эссеитика и лирико-трагический дневник. Многие другие рукописи дореволюционного периода, а там были, кроме тетрадей дневников, рассказы, стихотворения в прозе, не уцелели до наших дней. Личному архиву Анастасии Цветаевой, арестованному в 1937 году вместе с ней суждено было исчезнуть. Может быть в «недрах» архивов НКВД, которые, как говорят, огромны и не разобраны, где-то таятся рукописи Анастасии Ивановны – и её неоконченный фантастико-мистический роман «Музей», и её переписка (в том числе с сестрой) и большой фотоархив. Мы можем лишь кратко рассказать о том, что, по словам писательницы в нем было. Помянем две модернистские книжки, созданные в соавторстве с Георгием Цапоком в 1919 г. в Судаке. Это

были рукописные книги, назывались: «Начало и конец» и «L'eau» («Вода» – *фр.*). Было большое количество мистико-символических сказок, всего три из их числа сохранившиеся вышли отдельной брошюрой в 1994 году посмертно. Была неоконченная рукопись «Звонарь» (1927-30), посвященная яснослышащему и ясновидящему звонарю Константину Сараджеву. К этой рукописи в 1927 году с большим интересом отнесся Горький. Только в 1977 году вышла восстановленная по памяти версия в журнальном варианте, потом – книга «Мастер волшебного звона» в соавторстве с братом звонаря, Нилом Сараждевым. Была и книга о самом Горьком, часть из которой в 1930 г. опубликовал «Новый мир». Взяв за образец хроникально-документальную книгу А.Федорченко «Народ о войне», А.И. Цветаева написала книгу, где собирала высказывания народа о голоде – «Голодная эпопея». Однако Горький сказал – «Опоздали вы с этой книгой, Анастасия Ивановна!» На страну после насильственной коллективизации надвигался голод и цензура «голодную» тематику пропустить не могла. В архиве была двухтомная машинопись романа «SOS или созвездие Скорпиона», не пошедшая в печать потому, что автор не согласилась «выпрямить» под «нужную», оптимистическую линию судьбы героев. Были совершенно теперь забытые рукописи книг «Сансибор», (о санатории «Серебряный бор» и о людях там отдыхавших), которую создавала ряд лет. Была и сходная по жанру повесть «Санузия», тоже написанная «с натуры» под Москвой, в санатории «Узкое», бывшем имении Трубецких. «Еще более забыт роман А. Цветаевой «Четвертый Рим», который тоже исчез. Канула и лирико-философская книга «Флейтист». И.Г. Эренбург обещал опубликовать эту рукопись еще в 1920-ые годы, но издание осуществлено не было. Были и рассказы на английском языке, один назывался «Dogs and Masters», переводы, в том числе с английского «Герои и героическое» Томаса Карлейля; и поэтический перевод на английский стихотворений

М. Лермонтова. Были и ее русские и английские собственные, тогда еще немногочисленные стихотворения, сочиненные до 1937 года.

Читателю остались – ее роман «Amor», написанный в сталинском лагере; повесть «История одного путешествия», повесть «Старость и молодость», первоначальное название ее было «Кокчетав»; эссеистические повести «Моя Сибирь», «Моя Эстония», «Мой зимний старческий Коктебель», «Моя Голландия». В Сибири А.И. Цветаева жила, когда была осуждена на ссылку «навечно». В Эстонию много лет ездила летом отдыхать и окуналась в холодный святой источник в Пюхтицком женском монастыре. Две последние повести это описание путешествий с другом-писателем Ю.И. Гурфинкелем зимой в Коктебель, в Дом-музей М. Волошина; и на самолете в Голландию в июне 1992 года. Поездка в Амстердам на Международную женскую книжную ярмарку стала последним из больших путешествий ее долгой жизни.

Анастасия Ивановна однажды написала свою краткую автобиографию, еще не зная, что за годы впереди она ее существенно творчески дополнит. Жизнь, неполно изложенная в двух томах, тут размещена на небольшом листке. Мы решили полностью процитировать это свидетельство ее жизни.

Автобиография Анастасии Ивановны Цветаевой

Родилась в Москве в 1894 году.

Отец заслуженный профессор Московского Университета, основатель Московского Музея Изобразительных искусств (ныне имени Пушкина.)

Языкам (французским и немецким) училась с 1902-1905 года за границей в школе в Лозанне и во Фрейбурге.

В 1915 году издала мою первую книгу.

С 1921 года по 24 год работала в ЦУПВОСО в СЦСУ, в Главкустпроме.

С 1924 по 1932 год – библиотекарем в Музее Изобразительных Искусств и в Сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева (преподавала языки). Занималась переводами (один из них вышел отдельной книгой в Госиздате в 1924 г. «От рабочего астроному» Бруно Бюргеля).

В 1927 г. ездила в Сорренто к Горькому по его приглашению. Училась английскому языку. С 1928 по 1937 г. повышала квалификацию по англ. яз. в Комбинате иностранных языков и в Институте повышения квалификации преподавателей при МИНЯ (Московский институт новых языков). Окончила его весной 1937 г.

Осенью 1937 г. была арестована. Репрессирована до 1956 г. (10 лет ИТЛ в ДВК, и ссылка в Сибирь).

В 1959 г. реабилитирована.

С 1966 г. живу в Москве.

В 1966 г. в «Новом Мире» (№№ 1 и 2) вышла часть моих мемуаров «Из прошлого» и статьи в журналах. В 1968 г. к столетию Горького в «Литературной Грузии» и в 1969 г. статья о моем отце «Рождение Музея» в «Науке и Жизни».

В 1971 году первое издание моей книги «Воспоминания» («Сов. Писатель»). В 1974 году второе дополнительное издание моих «Воспоминаний». В ближайших №№ журнала «Москва» выйдет моя повесть (4 печатных листа) «Сказ о Московском звонаре».

В 1978 году выйдет по-немецки перевод моей книги «Воспоминания» в ГДР.

В 1975 году в эстонском журнале вышли переводы моих рассказов. В данное время мне 82 года. Член Литфонда и член Профкома писателей при издательстве «Советский Писатель».

Анастасия Цветаева
7. 01. 1977 г.

О ГИБЕЛИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны Цветаевой есть две последние части, которые выглядят как приложения к основному тексту мемуаров. Это «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной» и «Последнее о Марине». В самой конечной части повествуется о поездке в Татарию, в Елабугу, где были сделаны усилия — узнать как можно больше о смерти сестры, об обстоятельствах ее ухода из жизни. Было намерение — найти затерянную на елабужском кладбище могилу Поэта.

Анастасия Ивановна, не найдя могилу, установила крест в той стороне кладбища, где были захоронения 1941 года. Она возвратилась в Москву и по сделанным в пути заметкам записала услышанное и увиденное, дополнив сведениями, собранными от разных людей. Теперь, когда открыты архивы, в том числе и фонд М. Цветаевой в РГАЛИ, можно сказать, что многие «сенсационные» версии гибели поэта не подтвердились. Мнение Анастасии Ивановны наоборот, не опровергнуто, оно равноправно с другими, и во многом получило подтверждение, когда были опубликованы дневники Г.С. Эфрона.

Анастасия Ивановна узнала, что в пылу ссоры сын крикнул матери — «Ну кого-нибудь из нас в ы н е с у т отсюда вперед ногами!» и почувствовала, что эта фраза могла стать побудительным мотивом к действию. Значит, решила она, Марина ушла из жизни, чтобы не ушел сын. И самоубийство ее было жертвенным. Могло быть и так, что, идя на самоубийство, сама не в силах ни содержать сына, ни найти с ним общего языка, она решилась уйти из жизни, чтобы сироту пожалели, не оставили помощью и участием. Возможно, в старой России и не оставили бы, поддержали. Но те, к кому были обращены ее прощальные письма, в судьбе сына приняли минимальное участие. Само существование этих

писем говорит о многом. Во всех трех оставленных ею посмертных записках речь идет прежде всего о сыне. Письмо с обращением Дорогие товарищи! – мольба, обращенная к писателям – отвезти сына к Н. Асееву в Чистополь. Она беспокоится – как доедет, ведь – «Проходы страшные!». Говорит, что хочет, чтобы сын жил и учился. И добавляет «Со мною он пропадет». А чтобы не пропал, надо освободить сына от себя и от своего отчаяния. И в письме к самому Асееву и сестрам Синяковым, снова о Муре, – она отдает им самое дорогое, свой творческий архив и сына. «Завещая» его в семью Асеевых, она говорит: «Я больше для него ничего не могу и только его люблю». Можно себе представить, сколько раз сын говорил матери о том, что его она губит – теми или другими словами. Весьма знаменательны свидетельства из книги Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами» (М., 1991), Сергей Яковлевич помог ему из Парижа уехать в Испанию и стать там агентом НКВД, автор был хорошо знаком еще по Парижу с семьей Цветаевых-Эфронов, он пишет:

«…Наша последняя встреча. Москва. Начало июня 1941 года, канун войны. Где-то около Чистых прудов. Не повернуться в странной треугольной комнатенке – окна без занавесок, слепящий солнечный свет, страшный цветаевский беспорядок…

Самого разговора не помню. Но хорошо помню его тональность. Непонятные мне взрывы раздражения у сына Мура. Не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного (хотя этого еще не знали) отца, на арестованную Алю. Невысказанный упрек. Я тогда решил: злоба на тех, кто привез его в эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было... Мур не мог простить, что ... погубили его жизнь. Хотя шпионаж (С.Я. Эфрона. – *Ст. А.*) был, возможно, следствием, вторичным явлением. Средством вернуть Марину в Россию» (с. 46-47).

В полном прощальной нежности письме к сыну, Марина Ивановна пишет – «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми что я дальше не могла жить» – Если и была больна Марина Ивановна, то только тем, что окончательно потеряла волю к жизни. «М.И. была абсолютно здорова к моменту самоубийства» – сообщает сын в своем дневнике (31.08.41), видимо, говоря о здоровье физическом. Душа же ее давно была больна отчаянием. Она чувствовала не что иное, как потерю личности. В повести «Старость и молодость» Анастасия Ивановна, в частности, замечает: «Демоническое начало в Марине, отчаяние было сильней, чем во мне. От него она – глохла? к миру? (отъединение)» (254).

Не забудем, что первую попытку самоубийства Марина Цветаева совершила в Германии, – в двенадцать лет пошла топиться в реку, потому что маленькая Ася ее «не понимала». Об этом Анастасия Ивановна написала еще в 1916 году в книге «Дым, дым и дым», вышедшей с посвящением сестре. Следующая попытка относится к 1908 г., тогда было написано прощальное письмо. Она многие годы, не только последние два по ее выражению, так или иначе «примеряла крюк». Самоубийство, по глубокому наблюдению П.Д. Успенского, автора книги «У последней черты» (1913), не бывает внезапным поступком. Нет, это процесс. Человек отравляет себя постепенно мыслью о самовольном уходе из жизни. Лелеет эту мысль, пока сгустившиеся жизненные обстоятельства не крикнут ему в лицо – «пора!». И тогда следует неизбежное.

Марину Ивановну держали собственно на земле две вещи – чувство долга и творчество. Творчество к моменту самоубийства для нее закончилось, стихов она больше не писала.

Еще во Франции она говорила своему другу, Марку Слониму: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Муж, бывший белый офицер, потом евразиец, и дочь серьезно увлеклись Советской Россией. Увлечение их переросло в деятельность в «Союзе возвращения на родину», под «крышей» этой организации работала советская разведка. Об этом статья М. Фейнберг и Ю. Клюкина «По вновь открывшимся обстоятельствам...» — «Горизонт», 1992, № 1, с. 53. Там приводится письмо А.С. Эфрон к подполковнику юстиции Камышникову от 25 июня 1955 г. по поводу посмертной реабилитации отца, где она дважды говорит об участии «в нашей заграничной работе». Кроме того, сын Анастасии Ивановны, А.Б. Трухачев рассказывал, что в 1937 году он, зная о прибытии Ариадны, отправился на вокзал, увидел, что ее встречали люди из НКВД. Она передала им чемоданчик и на машине того же ведомства отбыла. На вокзале Андрей Борисович только со стороны наблюдал за происходящим, подойти не решился, встретились они позже.

Когда обвиненный в причастности к политическому убийству невозвращенца Игнатия Рейсса Сергей Эфрон бежал в Советскую Россию, М. Цветаева осталась без средств к существованию. Эмигрантские литературные круги и так не жаловали Цветаеву за независимый характер и за сложный, далеко не всем понятный стиль стихов и поэм, а тут муж оказался советским агентом! Ее не только не печатали, ее стали открыто игнорировать, устроили настоящий бойкот... Иного пути, кроме возвращения в Россию, т. е. в СССР, у нее уже не было. Тем более, там уже был Сергей Яковлевич, жила и работала дочь Ариадна. И туда усиленно рвался, тоже уверовав в «светлое будущее», сын Георгий, Мур.

И вот она в России, в Советской России. Сначала арестовали дочь. Потом, выбив из нее показания на Сергея Яковлевича, взяли и его. Она оказалась с сыном снова одна —

мыкалась по чужим углам, снимая на последние деньги жилье. Потом война, ужас перед которой ее обуревал еще во Франции. Всеобщая нарастающая тревога, переходящая в панику во время авианалетов. Взрывы бомб, прожектора, направленные в небо. Вот что говорила очевидец того времени И.Б. Шукст, рассказывая о том, как видела Марину Ивановну в бомбоубежище – «Кто охал все время, кто спал. А Марина Ивановна, как села напряженно, как изваяние – прямая, как стрела, вперив вперед стеклянные глаза, руки вцепив в колени, будто дамоклов меч над ней, всю бомбежку так и просидела. Вид ее был ужасный. Мур был спокоен, может быть, даже спал... Напряжение, которое в Марине было и раньше, с войной резко усилилось, может быть она ждала ареста, может быть боялась, что Мура убьют...» («Россияне», № 11-12, с. 37).

Жена осужденного «врага народа», французского шпиона с белогвардейским прошлым; сестра Анастасии Ивановны, осужденной как контрреволюционерка; мать Ариадны, также осужденной как иностранная шпионка... Что было ждать Марине Цветаевой при таком ее «семейном положении»? Кстати, пока близкие были на воле, а Марина Ивановна собиралась в Советский союз, муж и дочь, бывшие тогда уже в СССР, арест и заключение Анастасии от нее скрыли, не написали. Когда Марина Ивановна у встречающих спросила, – А где же Ася? – тогда и выяснилось, что сестра за свой «идеализм» отбывает срок. Они еще не ведали, что совсем скоро последуют за нею в тюремный ад. Арестованного соседа Цветаевой по даче в Болшево, тоже «возвращенца», Н.А. Клепинина следователь настойчиво спрашивал о М. Цветаевой, о ее взглядах, настроениях. В деле сохранились показания Клепинина 7 янв. 1940 г.: «Она говорила, что приехала из Франции только оттого, что здесь находятся ее дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные разговоры она вела очень

часто... В связи с арестом сначала сестры, а потом и дочери и мужа ее недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что аресты несправедливы». В книге И. Кудровой «Гибель М. Цветаевой», где эти показания приведены (с. 133), высказывается версия о том, что С.Я. Эфрон лично не участвовал в убийстве Рейса. Он был «групповод и наводчик-вербовщик», который по заданию зам. начальника иностранного отдела НКВД С.М. Шпигельгласса «организовал группу, выследившую Рейса и осуществившую убийство» (с. 142). Однако арестован С.Я. Эфрон был не в связи со своей неудачной «работой» во Франции, о которой следователь ничего не хотел даже слушать, а оттого, что просто нужно было подготовить еще один громкий политический судебный процесс.

В Голицине Марина Ивановна встречалась в Доме творчества писателей с Ноем Лурье и горько сетовала: «Неужели я здесь оказалась тоже чужой, как там? – Он пытался ее успокоить, говорил, что со временем, надо надеяться, трудности пройдут. Она была безутешна. – Боюсь, что мне не справиться с этим... – повторяла она. 10 июня 1941 г. Марина Ивановна подписывает письмо советскому поэту и переводчику А. Кочеткову – «Очень растерянная и несчастная МЦ».

Тучи сгущались, началась война, войска вермахта подходили к Москве. Марина металась, воля к жизни, цветаевская четкость этой воли постепенно покидали ее. Творчество кончилось. Остался только на глазах взрослеющий, грубеющий, рвущийся из-под ее крыла сын. Дальше эвакуация – Чистополь, Елабуга. Всеобщая тревога и безысходность, попытки устроиться на работу. Житье за занавеской у хозяев, которые с трудом терпели небогатую жиличку с сыном. С сыном она ссорилась постоянно – доходило до крика на непонятном им, французском языке. И слух о ней шел – белогвардейка, эмигрантка. Известно, страх был. 80-летний елабужский житель А.И. Сизов уже во времена перестройки

рассказал, что познакомился с эвакуированной, пытался помочь... А хозяйка ее квартирная, Анастасия Бродельщикова, на вопрос: – Ты чего с жилицей не поладила? – ему ответила: – Да вот, пайка у ней нет. И еще приходят эти, с Набережной, рассматривают ее бумаги, когда ее нет, да меня расспрашивают о ней – что говорит, кто к ней приходит. Одно беспокойство...». Так что в ее отсутствие приходили «с Набережной», так в Елабуге называли здание НКВД. Вот еще одно звено в ложащейся кругами, стягивающейся цепи, ускорившей последний шаг... Благодаря К. Хенкину мы располагаем сведениями о тех слухах, которые ходили в недрах спецслужб:

«В воскресенье 31 августа, спустя десять дней после приезда ее из Москвы, хозяйка дома, Анастасия Ивановна Бродельщикова, нашла Марину Ивановну Цветаеву висящей на толстом гвозде в сенях с левой стороны входа. Она так и не сняла перед смертью фартука с большим карманом, в котором хлопотала по хозяйству в это утро, отправляя Мура на расчистку площадки под аэродром. После смерти Марины Цветаевой оставались привезенные ею из Москвы продукты и 400 рублей. Хозяйка дома говорила: «Могла бы еще продержаться... Успела бы, когда все съели...» Могла, конечно. Сколько людей в России выдержали, потому что ждали пайку или банного дня. Узнав, что перед самоубийством Марина Цветаева ездила в Чистополь к поэту Асееву и писателю Фадееву, Пастернак позже ворчал: Почему они ей не дали денег? Ведь я бы им потом вернул». Но я еще тогда узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью. Историю эту я слышал от Маклярского. Мне ее глухо подтвердила через несколько лет Аля. Но быстро перестала об этом говорить. Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу, зазвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил «помогать». Провинци-

альный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа – значит в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные, начнутся разговоры, которые позволят всегда «выявить врагов», то есть состряпать дело. А может быть пришло в Елабугу «дело» семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с «органами». Не знаю. Рассказывая мне об этом, Миша Маклярский честил хама чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно завербовать, и следил зорко за моей реакцией...» (с. 49).

Все эти слухи никак не опровергают мнения Анастасии Ивановны. Они лишь дополняют представление о той ужасающей атмосфере, в которую попала Марина Ивановна.

В дневниках сына Георгия, которые ныне опубликованы, к матери, пока она была жива и даже после наблюдается отношение очень отстраненное. Недаром цветаевским чутьем Анастасия Ивановна, в лагере получив письмо от племянника, почувствовала этот холод к матери и ее памяти. По большому счету возможно, что потеря душевного контакта с последним по-настоящему близким человеком, с сыном, его душевная глухота, характерная подросткам этого возраста, стали настоящей последней каплей во Грааль земных страданий поэта...

Г. Эфрон, «Дневники», запись: «31 августа мать покончила с собой – повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее «освободить». И покончила с собой» (31.08. 41-5.09.41 – в кн. Г. Эфрон, Дневники В 2-х т. М., «Вагриус», 2005, т. 2, с. 7).

Мало кто обращает внимание на эту предсмертную просьбу. А зря. Освободить – от чего? Да от чувства долга перед несовершеннолетним сыном! Вот что ее мучило, вот что держало на земле. Ни Сергея Яковлевичу, ни Ариадне Сергеевне она уже ничем помочь не могла. Когда же почувствовала, что ее силы иссякли, дух сопротивления жизни сломлен, воля сникла – тогда свершила давно задуманное.

Известный цветаевед Ирма Кудрова в статье «Третья версия. Еще раз о последних днях Марины Цветаевой» пишет: «Известно, что дня за два-три до прибытия Марины Ивановны вопрос о возможности ее переезда из Елабуги уже обсуждался на заседании Совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя, так что не придется даже искать жилье. И Асеев согласился вынести вопрос на заседание. Однако там резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Тренев. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об «иждивенческих настроениях» недавней белоэмигрантки. А Асеев не стал защищать интересы Цветаевой. Может быть, просто побоялся возразить на треневскую аргументацию: муж — белогвардеец, сама — белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен...».

И все же заболевший Н. Асеев на следующий день прислал от себя письмо в поддержку просьбы Цветаевой о прописке.... Мнение Тренева не стало решающим. Но Тренев очень старался. Вот что рассказал об этом поэт Петр Семынин, свидетельство которого привела в своем талантливом очерке «Предсмертие» Лидия Чуковская: «Потом он рассказал мне о заседании Совета эвакуированных — он, оказывается, член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну — она была приглашена заранее — и попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь? Семынин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским. «Ведь мы не следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а допрос! — повторял он мне. — Какое кому дело, почему и где она хочет жить? Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: «В Елабуге есть только спирто-водочный завод. А я хочу, чтобы

мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки...» Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, «иждивенческие настроения»... Да ведь она не покладая рук переводила! Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован и дочь — тоже; и опять — время военное, бдительность надо удвоить, все они недавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжения правительства... Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство? При чем — военное время? Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен, и начал заселять следующий город...». («Серебряный век. Мемуары (Сборник) М, «Известия», 1990, с. 655). Ныне эти факты стали известны.

Куда менее известно, что ненависть к М. Цветаевой у Константина Тренева была продолжением его нелюбви к ее сестре Анастасии, с которой познакомился в 1936 г. в Доме творчества писателей в Эртелевке, в Воронежской губернии. Тренев внешне напоминал Горького, это расположило к нему Анастасию Ивановну. Он рассказывал ей, что при знакомстве с Горьким и он и Горький хором сказали: «— Так вот Вы какой!». Дружба была теплой, с его стороны на грани увлечения. Когда ее срок отдыха кончился и она уезжала, он простирал ей вслед руки. Далее в августе 1936 г. было опубликовано обращение, поддерживающее репрессивный процесс по делу о «троцкистско-зиновьевском «Объединенном центре», в том числе и против Л.Б. Каменева, с которым Анастасия Ивановна познакомилась у Горького. Она рассказывала автору этих строк: «В Первом МХАТе я актерам преподавала осенью 1936

года английский язык два раза в неделю. Входит Тренев, он ставил свою «Любовь Яровую» – ко мне бросился как к другу. Я уже прочла в газетах, что писатели одобрили это «мероприятие». Там была его подпись. – С этими людьми, Константин Андреевич, Вы подписали то, что было в газетах. Вы это зря подписали! Он отвечал: «Вы же знаете, как это делается, приезжают к Вам на дом...» Я в ответ молчала. Он преследовал потом Марину. Дал ей в долг и требовал с нее то ли 100, то ли 1000 рублей. И ратовал, чтобы ее не прописывали». Так что не только «классовая бдительность коммуниста» заставляла Тренева выступать против прописки эвакуированной М. Цветаевой в Чистополе, но и личный мотив...

К.Г. Паустовский на том чистопольском заседании, на котором решалась судьба М. Цветаевой, не присутствовал, он уехал из Чистополя раньше. Но из дневника Л. Левицкого, его литературного секретаря узнаем, что Паустовский потом узнал о том, что там происходило – «...К.Г. мне рассказывал об этом заседании и ругательски ругал председательствовавшего на нём Тренёва». (См. в кн. Натальи Громовой «Странники войны. Воспоминания детей писателей 1941-1944». М., АСТ, Астрель, 2012).

Предконечные дни были днями метаний, нерешительных попыток зацепиться – за работу, за жилье, за прописку. Сын же намеренно устранялся от каких бы то ни было решений. 30.08.41 он в дневнике записывает: «Мать как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня «решающего слова», но я отказываюсь это «решающее слово» произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня» (Г. Эфрон, Дневники, т. 1, с. 539).

В Марине Цветаевой панически зрела тревога за сына. И уж совсем парадоксальный поворот материнского чувства – она предчувствовала его возможную гибель на фронте и оттого

торопила и свой уход из жизни, поскольку знала – она этого не перенесет. Этому остались свидетельства. Речь идет о письме писательницы Натальи Соколовой к Марии Белкиной, автору известной книги – «Скрещение судеб» о М. Цветаевой. Мать Наталии Соколовой, Надежда Блюменфельд общалась с Мариной Ивановной и вот что поведала дочери, которая записала – «К сожалению, я в свое время не расспрашивала подробно мою маму, теперь уже покойную, о чем она разговаривала в тот вечер с Цветаевой (многое мы в жизни упускаем – безвозвратно). Но иногда мама все же вспоминала о своей встрече с Цветаевой, как бы между прочим, к случаю; кое-что мне запомнилось. Цветаева была усталая, измученная, забегавшаяся. Говорила, что непременно хочет перебраться из Елабуги в Чистополь, в Чистополе она будет спокойна за Мура, его возьмут в интернат Литфонда, он будет там в тепле и сыт, окружен сверстниками, сможет нормально учиться в школе, а она одна как-нибудь устроится, неважно – как. И еще говорила, что вот Мура скоро призовут в армию, отправят на фронт, этого она не вынесет, не переживет – ждать писем, не получать месяцами, ждать и получить последний страшный конверт, надписанный чужим почерком... Так и будет, ничего нельзя изменить, иного не дано. Именно это ей предстоит. Нет, нет, она не согласна, не желает, ей отвратительна, невыносима такая зависимость от обстоятельств, от непреложности, такая обязательность всех этапов трагического пути, «пути Марии». Сил на это нет...

Разумеется, я восстанавливаю рассказ мамы приблизительно, не могу ручаться за точность (сколько лет прошло), но оборот «зависимость от непреложности» фигурировал, отпечатался в памяти. Надо отметить – все, что говорилось от имени Цветаевой, было разительно не похоже на собственный словарь моей мамы, на обычную стилистику ее речи. Не могу себе представить, чтобы могла придумать и сама сказать: «путь Марии», это немыслимо, высокий стиль был ей совершенно чужд». (Цитируется по книге Н. Громовой «Дальний

Чистополь на Каме...» М, Дом-музей Марины Цветаевой, 2005, с. 164-165.)

«Путь Марии» это, безусловно путь Марии, матери Христа, утратившей своего Сына, Христа, распятого на Голгофе! Вот чего страшилась Марина Ивановна больше всего.

С этим же страхом, – что сын погибнет на войне она делилась с А.А. Тарковским. Дочь поэта Всеволода Рождественского Милена Рождественская встретилась с А.А. Тарковским 28 ноября 1970 года в Ленинграде, в ресторане гостиницы «Октябрьская» – «Кто-то спросил о М.Ц. у Тарковского и он рассказал, будто летом 1941 года рано утром ему позвонила встревоженная М.И., и сказала, что она нашла у себя платок с меткой А.Т. – это Ваш платок! На что он отвечал ей, что у него никогда не было платков с метками. Нет, нет, платок Ваш – ответила М.И., и я Вам его сейчас принесу. И когда она пришла, вот тут начался обстрел, и они оказались вместе в бомбоубежище. Тарковский сказал, что М.И. была очень взволнована, она все время повторяла, что немцы возьмут Москву, что Мура заберут в армию, что его там непременно убьют. Этот рассказ, как и всю ту встречу в Октябрьской я записала сразу дома, и потому он достоверен (то есть, достоверен сам рассказ Тарковского, свидетельница тому и моя сестра Татьяна). Позднее в Коктебеле я спросила об этом случае Анастасию Ивановну Цветаеву, известен ли ей этот случай, она ответила, что нет. Было это в 1981 или 1982 году».

В уже упомянутом письме писательницы Натальи Соколовой к Марии Белкиной приводится и свидетельство Жанны Гаузнер, дочери поэтессы Веры Инбер, писательницы, подруги детства Соколовой. Жанна Гаузнер среди прочего о Марине Ивановне вспоминала – «У нас дома, укладываясь спать, все повторяла: «Если меня не будет, они о Муре позаботятся». Это было вроде навязчивой идеи. «Должны позаботиться, не

могут не позаботиться». «Мур без меня будет пристроен»». (Там же, с. 165) Жанна Гаузнер также вспоминала о Цветаевой: «Она плохо понимала реальную жизнь. Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательностью, величайшим смирением». (В то время как в голодное время войны быть при кухне, при еде стало привилегией!).

Через два месяца после М.И. Цветаевой в Чистополе покончила с собой Елена Санникова, жена поэта Григория Санникова, которая с Мариной Ивановной в Чистополе шла, «взявшись за руки»... (Там же, с. 37). Елена считала, что любимого мужа убили на войне – от него долго не было вестей. Однако один из основных мотивов ее самоубийства был иным (помимо нежелания ехать в Тифлис к матери и чувства вины за смерть некогда утонувшего, влюбленного в нее художника Сапунова), Галина Алперс рассказывала, что Санникова очень боялась надвигающейся зимы, все время повторяла: «Как мы переживем зиму, детей нечем кормить, они замерзнут... лучше детям, если я уйду, тогда о них будут заботиться». В отделе народного образования она надеялась получить место преподавателя английского языка. Мотив самоубийства – освободить от себя детей. Видно, как все похоже: гибель, ее мотивы. Это и создало укрепившееся на долгие годы мнение, что Санникова покончила с собой под воздействием Марины Цветаевой. (Там же, с. 48). Как не подивиться предполагаемой сходности мотивов добровольного ухода из жизни!..

Тот же источник говорит и уже совсем запредельной вещи – о попытке самоубийства юноши Александра Соколовского, товарища Георгия Эфрона, сына детской писательницы Нины Павловны Саконской, также эвакуированной в Елабугу, приехавшей тем же пароходом что М. Цветаева. Вот абзац, повествующий об этом:

«Но самое странное, что след от того самоубийства остался в жизни Саконской и ее сына Лельки. Известно, что мальчики Вадим Сикорский, Александр Соколовский и Георгий Эфрон с недовольством смотрели на свое елабужское заточение. Еще

на пароходе они стали изводить матерей тем, чтобы вернуться назад. После гибели Цветаевой и отъезда Мура произошло еще одно трагическое событие. Когда матери не было дома, Саша Соколовский соорудил петлю и успел уже затянуть ее на своей шее, но тут мать вошла в комнату и увидела его висящим. Он был еще жив. Маленькая хрупкая женщина стала вынимать юношу из петли. Последствия этой истории сказались на ее здоровье, и Нина Саконская до конца дней не оправилась от такого потрясения. Прожила недолго, до 1951 года. Может быть, с этим событием и связано ее молчание, отсутствие воспоминаний о тех днях». (Там же, с. 51).

Все вышесказанное говорит и о самоубийственной атмосфере, царившей в Елабуге, в Чистополе. Отступление на фронтах. Массовая мобилизация. Недостачи. Беспросветность грядущего. Грязь, хамство, нищета глубокой провинции... Боязнь ареста – вслед за сестрою, мужем и дочерью могут арестовать ее, а за ней арестуют и сына. И еще многое, многое непереносимое другое.

Вскоре после самоубийства Марины Ивановны, – именно так в дневнике он величает мать, – Георгий ледовито записывает 19.09.1941: «Льет дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно все надоело. Что сейчас бы делал с мамой? Au fond (По существу – *фр.*) она совершенно правильно поступила – дальше было бы позорное существование» (II, 27).

«Итак, два самых близких человека, мать и сын, были истерзаны обстоятельствами, истерзаны друг другом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с другом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура, так поразившие окружающих, о том, что Марина Ивановна поступила правильно. Но уже отмечалось, что жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в Ташкенте, когда мера одиночества и даже одичания Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда он и скажет Самуилу Гуревичу о ее страдании накануне

гибели...» – так говорится в исследовании Натальи Громовой «Странники войны. Воспоминания детей писателей 1941-1944». (М., АСТ, Астрель, 2012).

Да, только много спустя, 08.01. 1943 он напишет гражданскому мужу своей сестры Ариадны, Самуилу Гуревичу: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение... Но как я ее понимаю теперь!» (Г. Эфрон Письма, М., 2002, с. 108). Это действительно написал уже человек одинокий, немало перестрадавший, воровавший с голоду, которому осталось недолго жить до своей безвременной гибели на фронте.

Если вчитаться внимательно в текст «Воспоминаний» Анастасии Ивановны, она лишь отражает узнанные события, и никого не обвиняет. Просто показывает возможную причину и следствие. И ей, как человеку православно религиозному, хотелось доискаться до возможного оправдания сестры перед Богом – жертвенное самоубийство можно хоть как то оправдать!? Анастасия добилась своего – ее сестру отпели и теперь, бывает, поминают во храмах всея Руси. Племянника она тоже старалась понять. Понять его юношеское отвержение. Она пишет: «То, что было ее жизнью с ним, з а б о т а, для него было н а с и л и е. Он задыхался». «Меньше всего я возлагаю вину за смерть Марины на Мура... я слишком хорошо понимала жгучий узел, связавший их двух».

ПОСЛЕ БЕСКОНЕЧНОЙ РАЗЛУКИ – М. и А. ЦВЕТАЕВЫ и Б. ПАСТЕРНАК

Борис Пастернак и сестры Цветаевы – одно поколение, один круг культуры. Переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – целая эпоха в русской эпистолярной прозе.

Их письма – стремление навстречу друг другу двух одиночеств, двух творческих неповторимостей, двух поэтически родственных душ. Оба они – Цветаева и Пастернак – жили больше собственным внутренним миром, чем окружавшей их каждодневностью. И эта их особая чувствительность породила и особенную общность, и отличность от остальных современников...

В разлуке они жаждали встречи. Пастернак из России писал за границу М. Цветаевой: «Я тебе начинал сегодня пять писем... Не разрушай меня, я хочу жить с тобой долго, долго жить...». И через несколько строк: «Ехать ли мне к тебе сейчас, или через год?» И от Цветаевой – Пастернаку: «Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже весь в нас».

Причастность иным мирам, являвшимся им в сновидениях, в образах, недоосознанных, но столь явственных, что – искры из под пера, роднила их с великим поэтом Австрии Райнером Марией Рильке. Родство это скрепилось перепиской. В первом письме Рильке Б. Пастернак признается: «Я Вам обязан основными чертами моего характера, всем складом духовного существования». Эхом – строки из автобиографической повести Пастернака «Охранная грамота»: «Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок».

В 1986 году сестра Марины Цветаевой, Анастасия Ивановна Цветаева, подарила мне книгу Рильке, на которой сделала надпись: «Дорогому другу Станиславу, на память о Р.М. Рильке, Б. Пастернаке и моей сестре Марине. Эти трое задумали свидание, но Борис и Марина, жарко стремясь к его воплощению, не смогли понять из дали, их разделявшей, что Рильке умирает, и недоумевали отсутствующим, отлетающим интонациям его писем...».

Итак, М. Цветаеву с Пастернаком связывала более всего переписка: Свидание их по-настоящему, таким, каким они ждали его, – не состоялось. А с Анастасией Ивановной Борис Леонидович общался почти ежедневно.

Познакомилась Анастасия Ивановна с Пастернаком в 1923 году, когда М. Цветаева из Чехии Б. Пастернаку в Берлин передала для дальнейшей передачи сестре свой сборник «Ремесло». В неопубликованных воспоминаниях о Б. Пастернаке Анастасия Ивановна пишет, что с первой же встречи ее очаровал смех поэта.

«Смех Бориса! Кто опишет его. Это внезапное вскипание подводных глубей вокруг озаряющего все его существо потока солнца. Он, потрясенный, теряет власть над собой, рушась в захлеб счастья, без сил с ним бороться и вовлекая в него всех, кто рядом, без различия возраста».

Талант младшей Цветаевой – прозаический – Пастернак знал и ценил. Он писал ей восхищенно о присланной ему части «Воспоминаний», что страницы «дышат почти восстановленным жаром тех дней».

Арест А. Цветаевой в 1937 году прервал общение с Б. Пастернаком, но не дружбу. (Кстати, он хлопотал о ее освобождении еще при первом аресте, в 1933-м).

Когда я после лагерей была сослана навечно, – вспоминает Анастасия Ивановна, – Борис писал мне и присылал с оказией деньги. Помогал... Как-то прислал туда свой перевод шекспировского «Гамлета». Я, как специалист по английскому языку, достала там (в лагере) через вольнонаемных английского «Гамлета». Где-то у меня даже есть эта книга. Она вся испещрена пометками, обозначающими места, которые Пастернак перепел неточно. Я ему об этом написала и все замеченное в письме перечислила. Он ответил, что не стремился к абсолютной точности перевода, а хотел передать эпоху... Он прекрасно знал языки, но давал себе, как поэту, волю...

Я сама была переводчиком. У меня была задумана книга всех стихов 41-го смертного года Лермонтова в переводе на английский язык. Задумала я это в 1937 году и за лето перевела три стихотворения. Не знала, что меня арестуют. Потом я была в лагере, вдали от книг, в кошмаре кухонной работы – головой вниз, в котел (я мыла котлы), рука у меня правая не разгибалась, висела...

Я напомнил Анастасии Ивановне, что она некогда посвятила Пастернаку свое стихотворение «Елка» (она до того, как узнала о смерти сестры, писала и стихи).

У меня хранится его стихотворение «Елка». Свое я ему послала не помню в каком году. Оно понравилось. Моя «Елка» написана в тюрьме.

– Анастасия Ивановна, а как случилось, что свою поэму «Высокая болезнь» – Пастернак посвятил вам?

– Просто она мне понравилась. Но посвящение это только в первом издании. Потом его не повторяли. Да это и не важно...

– Пастернак был общительным человеком?

– Да... Конечно! Он с каждым был как у себя дома. В этом – его обаяние, его непосредственность, совершенно детская...

– А как он читал стихи?

– Пастернак? – (на секунду задумалась, подперев узкое лицо узловатой в пальцах, очень тонкой рукой) – читал своим гудящим голосом! Не так выпукло, не так скульптурно, как читал Мандельштам. Но, конечно, очень своеобразно. Мандельштам скандировал стихи. Волошин читал, как будто делился радостью: как хорошо получилось, как сложились слова, чрезвычайно медленно читал, словно перечеркивая эпоху, когда поэты в чтении летят как на курьерском, думая, что важно читать, а не прочесть...

Я очень прозу Пастернака любила, но не любила роман («Доктор Живаго»). Он прислал мне в ссылку машинопись

первой части. Ему казалось, что в романе у него особенная простота высоты – а я люблю его «Детство Люверс». Это как раз то, что потрясло Горького. «Человек в 35 лет так перевоплотился в 13-летнюю девочку! Я бы не мог!» – говорил мне Горький.

– Я видел – у вас фотография, на которой написано...

– Да, да! «После бесконечной разлуки»! Это было 29 июня 1959 года, когда я вернулась для реабилитации. В это время и состоялась наша встреча...

– Вы его нашли очень изменившимся в тот, последний раз?

– Нисколько. Он только белый стал – за 22 года совершенно поседел. А лицо – молодое. Ведь важна игра лица. Игра лица была все та же!

– Значит, в нем была все та же человеческая интенсивность?

– Совершенно, совершенно!..

Я слушал Анастасию Ивановну и думал, что есть редкие, отмеченные Богом натуры, все существо которых – поэзия. Таким был Борис Пастернак.

...Помогая Анастасии Ивановне разбирать бумаги, я обнаружил листок. Текст я с ее разрешения привожу в этих заметках. В нем, неизвестно кем переведенном и подаренном, свидетельство отношения Б.Л. Пастернака к поэтам – его современникам.

«Вопрос внучки Леонида Андреева, американской журналистки Ольги Карлайль к Борису Пастернаку (январь 1960 г., Переделкино):

– Кого из ваших современников считаете вы наиболее близким в 20-е годы?

Ответ: Вы знаете, каковы мои чувства к Маяковскому. Об этом довольно подробно писал я в моей автобиографии «Охранная грамота». К большей части его последних произведений, исключая, конечно, его незаконченную вещь – «Во

весь голос», – я был равнодушен. Упадок в области форм, обеднение мысли, неровность – черты, характерные для поэзии этого периода, – все это стало мне чуждым. Но были и исключения...

Я любил все написанное Есениным, который так схватил и передал запах земли русской. Я очень ценю Марину Цветаеву – она стала совершенной поэтессой с самого ее дебюта. В век аффектаций она имела свой голос – человечный и классичный. Она была женщиной, но с мужской душой. Борьба ее с обыденщиной закаляла ее. Она добивалась и достигала исключительной ясности и прозрачности. Она больший поэт, чем Ахматова, чьей простотой и лиричностью всегда восхищаюсь. Смерть Цветаевой была для меня самым большим горем моей жизни».

НИНА БЕРБЕРОВА о МАЙЕ РОЛЛАН и АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

В Анастасии Ивановне была непререкаемая черта – вставать на защиту, доказывать правоту, защищая и живых и мертвых.

7 сентября 1989 года мне– звонок. Анастасия Ивановна, возмущенно: – «Подумайте! Я обязательно напишу ей!.. – Она, Берберова, сказала, что Майя была приставлена ГПУ к Ромэну Роллану!.. Так сказать – надо совершенно не знать Майю». Речь шла о только что прибывшей из США писательнице, бывшей жене Владислава Ходасевича, Нине Берберовой и о брошенном ею «посмертном» обвинении Марии Павловне Роллан. Обвинение это было высказано в каком-то интервью или выступлении. Анастасия Ивановна знала Майю Кювилье Кудашеву в последствии Майю Роллан близко с юности они были почти одногодки – с 17-ти лет.

«– Я обязательно напишу ей! – повторила Анастасия Ивановна, – буду возражать – вы пойдете завтра на встречу

с ней в Институт литературы (ИМЛИ), так скажите, что вы мой друг – если она повторит что-нибудь подобное, – встаньте от моего имени, скажите ей, что я очень огорчена, что она, такой образованный человек, пошла по линии ошибочного обвинения, получилась клевета, не обдуманная, с чьих-то слов...

– Приставлена ГПУ! – не успокаивалась Анастасия Ивановна, – Не верю! – Майю невозможно было «приставить»! Майя – очень сильная личность. Главное ее свойство было – своеволие. Ее – заставить!? Она очень похожа была на Марину и этой чертой и внешне. Есть фотография, где Марина и Майя. Многие думают, что это я рядом с Мариной. И, как Марина, она несла в себе готовое чувство любви и «клала» его на кого-то...

Может быть Берберова видела фотографии их – Майи и Роллана со Сталиным. Так ее сняли со Сталиным как с собакой на улице... Это всего лишь официальная фотография на приеме... Как жены Роллана...

Однажды, до войны в 1935 году она приезжала – тогда мы не встретились из-за этих приемов, парадности. Но написала мне и подругам, которых в Москве не смогла повидать, что через два года закончит работы по помощи мужу и приедет одна – специально повидаться. Планировалось на 1937 год. Но в 1937 меня взяли в Тарусе.

А виделись мы потом, она приезжала с выставкой на годовщину (15-ую) с дня смерти Роллана и приглашала меня на банкет, мы пошли с внучкой Ритой. Майя была у меня в квартире на улице Горького и мы при встречах всегда говорили о Роллане...

Я сказал Анастасии Иванове, что, помимо прочего, в 1920-21 гг. когда М. Кудашева написала Роллану и встретилась с ним, еще не было понято, победит ли советская власть; шла гражданская война и вряд ли ГПУ уже стало к писателям кого-то «приставлять»... Но она ответила, что об этом не надо

говорить, кто-нибудь, знающий эпоху, может и оспорить... Но выразить ее, Анастасии Цветаевой, недоуменнее о Майе – необходимо!.. – Я на вас полагаюсь вполне, вы ответите ей, сделаете это культурно, мягко. Но я надеюсь, что возражать ей не придется, что она клевету не повторит, что этого не будет...

Я обещал, конечно, исполнить просьбу. Мы попрощались. Положив трубку, я вспомнил о другом, давнем рассказе Анастасии Ивановны о подруге-Майе. Вспомнил потому, что Анастасия Ивановна вскользь упомянула – Ведь я вам рассказывала о моей поездке от Майи к Андрею Белому»...

История с Н. Берберовой имела продолжение. На следующий день я был в 11 часов на творческой встрече в ИМЛИ на улице Воровского. Несколько запоздав, я вошел в зал – в окружении нескольких солидных мужей литературного делового мира сидела и глухо рассказывала что-то в микрофон женщина. Издали она показалась мне моложавой. Говорила с легким «эмигрантским» каким-то англо-французским акцентом, создающим некоторую тягучую манерность, которую я наблюдал при общении и у Ирины Одоецевой. В речи Берберовой была живость, порой она певуче удлиняла фразу, когда речь заходила о чем-то ей когда-то близком. Но теплоты не было. Царили изящество, светскость, даже доброжелательность, но не теплота...

Чувствовался особый «уклон» ее юмора когда она старалась легкими касаниями к прошлому непринужденно затронуть то, о чем ее спрашивали... В ее юморе была не глубина, но психологизм несомненный. Так она рассказывала, как нашла дочь главной героини ее книги «Железная женщина», дочь Марии Игнатьевны Будберг (урожденной Закревской), – что из их письменного контакта вышла встреча. Она просто нашла в лондонском телефонном справочнике ее имя, адрес, и по адресу направила осторожное письмо о матери, написав,

что интересуется М. Горьким и в связи с этим ей хотелось бы кое что узнать...

Рассказывала и Гершинзоне, о Мережковском, о Ходасевиче, конечно, о своих книгах.

Речь зашла об архиве М. Горького, о той его части, которую Горький не мог привести в Советский Союз, оставил на попечении Закревской, потому что там была переписка с Рыковым и Бухариным. По ее словам, Бухарин писал письма Горькому о безобразиях, которые делались в Кремле. И вот Закревская, по мнению Н. Берберовой, была агентом ГПУ. Ее завербовал, грубо говоря, ее нанял Петерс. По его заданию Закревская выкрала шифр, которым пользовался ее друг Ллойд Ждорж. Упомянула она и о фото, где та снята со Сталиным. Ей хотелось узнать, была ли Закревская в России в предвоенные годы. Ответ на вопросы дочери Марии Игнатьевны был таков – отправленное обратно письмо Берберовой, над вопросами меловым карандашом были нацарапан ответы. Над вопросом о пребывании в России до войны стояло – Да, в 1935 году. Зачеркнуто этим же карандашом, и написано: «Нет, никогда!» Из этого «Никогда» Нина Берберова, по ее словам, много что поняла...

Н. Берберова утверждала, что Закревская была агентом ГПУ. – Да, повторяю, ее просто нанял Петтерс, – говорила она, – и еще высказывала подозрение, что оставшуюся за границей часть архива Горького Закревская тайно привезла в 1935 году в Россию – сдала «кому следует». В бумагах были письма Рыкова, Бухарина, которые, как оказывались за границей, писали Горькому письма. Рыков и Бухарин были потом осуждены – не сыграли ли определенную роль в их осуждении письма, материалы, привезенные Закревской-Будберг?..

Потом еще было немало вопросов. Пушкинист Игорь Бэлза спрашивал о ее музыковедческих книгах – о Чайковском, о Бородине...

Встреча, очень длительная, но достаточно интересная, подошла к концу, часть публики устремилась к выходам из зала, часть – к Берберовой... Кто с вопросом, кто – взять автограф. Подошел и я... Был задан вопрос о ее отношении к Марине Цветаевой (я еще не читал книгу Берберовой «Курсив мой»), – она ответила, что любила Марину как поэта, и очень уважала как человека. Я обратил ее внимание, что ее текст о Бородине помещен в восьмом номере «Музыкальной жизни» рядом с несколькими страницами до него опубликованы очерки воспоминания о вокалистах Анастасии Цветаевой, сказал, что я ее друг. Н. Берберова спросила, что Анастасия Ивановна, жива? А вот публикация в журнале без ее ведома ее возмутила – я ничего не знала об этой публикации! У нас так не делается. Мы договаривались, но столь давно – у меня нет этих номеров. Я сказал, что мог бы ей передать 8-ой номер, который у меня есть, при этом не упомянул, что в седьмом было мое предисловие к очеркам Анастасии Ивановны, но она ответила, что ей не нужен восьмой номер, ей нужны все номера, где ее «Бородин».

Потом, спустившись по лестнице и задержавшись в вестибюле, я увидел Берберову уже стоявшей у открытой двери машины, ее *«доспрашивали»* несколько человек. Я остановился и услышал – «Я из архива Горького, – говорила Берберовой пожилая женщина, – Вы когда-то переводили письма Роллана и Горького! – Да, но это было так давно, – отвечала та, – кроме того, имя Роллана так непопулярно во Франции, – с улицы, названной его именем снимают таблички, переименовывают, – он был большой обманщик, а его жена Майя Роллан была к нему приставлена ГПУ... Но извините, мне пора ехать, – резко прервала себя Н. Берберова, она захлопнула дверцу и машина рванулась к уже открытым во двор ИМЛИ воротам...

Я не успел ей сказать того, что поручила мне Анастасия Ивановна...

Придя к Анастасии Ивановне позже, уже вечером, я все рассказал – и о хорошем отношении к ее сестре, Марине Цветаевой, и об отрицательном отношении к Майе Павловне Роллан. Анастасия Ивановна сказала, что ей звонила ее приятельница и говорила, что на предыдущем вечере Н. Берберова спрашивала зал – присутствующих, есть ли кто-нибудь в зале, кто знал Марину Цветаеву?.. Анастасия Ивановна восприняла это как зов. Зов памяти. И снова сокрушалась по поводу несусветной, по ее мнению, оценки М. Кудашевой.

Я так же высказал сомнения, мне показалось, что Берберова как-то бессознательно отождествила Закревскую с М. Кудашевой – во всяком случае в обоих выступлениях в ее речах упоминалась фотография, на которой Кудашева и Сталин, что само по себе – конечно ничего не доказывает. И Анастасия Иванова попросила меня позвонить Н. Берберовой, пригласить ее к ней на Большую Спасскую – поговорить...

Я без труда узнал через администратора гостиницы «Украина» номер Берберовой и Анастасия Ивановна сама позвонила ей, сказала что хотела бы ее видеть, поговорить. Берберова вежливо отвечала, что, к сожалению, у нее все расписано по минутам и встреча невозможна. – я думаю, что меня еще пригласят в СССР, тогда... – Вы хорошо знали свою сестру, – говорила Анастасии Ивановне Берберова, – вы ее знали здесь лучше меня, когда она приехала... – Нет, – отвечала ей Анастасия Ивановна, – я была арестована в 1937 году и не увидела ее, когда она возвратилась. Последний раз мы виделись в 1927 году... – пауза на другом конце провода... – Я просила о встрече потому, что мне 95 лет... – Мне тоже 88 отвечала Берберова, но я здоровый человек, а вы, конечно, после таких испытаний...

– Так как мы не увидимся, продолжала Анастасия Ивановна, мне хотелось бы написать вам письмо по поводу, о котором я не хочу говорить по телефону... Но Берберова ее не поняла, подумала, Анастасия Ивановна хочет что-то

говорить о своей сестре, потому ответила, – А вы читали книгу М. Разумовской «Марина Цветаева: миф и действительность»? – Нет, отвечала Анастасия Ивановна, но Марию Разумовскую знаю, она приезжала ко мне. Но я бы хотела писать вам не о Марине, это другой вопрос. Вопрос был, конечно, о Майе Роллан. Но Анастасия Ивановна не произнесла этого имени. – Я не хотела бы писать за границу об этом. – Почему? – искренне удивилась Берберова. – На том конце провода царила воплощенное непонимание, – как писать о ГПУ для человека, отсидевшего в сталинских застенках – писать за границу – эмигрантке Берберовой. Как было понять трудность такого шага для Анастасии Цветаевой, столь много пережившей и не очень-то верившей на 95-ом году жизни в невозвратность тех времен!.. – Ну хорошо, – все же согласилась Анастасия Ивановна. Я напишу Вам. – Напишите, я отвечу – отозвалась Берберова. Потом Анастасия Ивановна передала мне трубку и Берберова стала диктовать мне свой американский адрес. Тяжело было записывать, потому что она английский текст диктовала русскими буквами. Я переспрашивал по-английски, но русские буквы на английскую «тему» адреса продолжались. Наконец адрес был записан. Анастасия Ивановна снова взяла трубку попрощаться, сказала что знала стихи Владислава, его самого. Но Берберова не была настроена на воспоминания и, почуяв это, Анастасия Ивановна поспешила закончить разговор. Потом за чаем она сказала, что у нее создалось ощущение чуждости с Н. Берберовой. Это просто человек холодного склада и мира...

Для нее дело должно быть было в бизнесе. Ведь перестройка и гласность того, 1989 года были в моде в Америке и успех писателя в СССР стал существенным. Печататься в русских журналах стало престижно, столько их выходило в то время, когда было мощное возвращение интереса к Серебряному веку...

Еще через день мне позвонила Галина Игнатьевна Медзмариашвили, которая побывала у Майи Роллан незадолго до ее смерти в Париже с письмом от Анастасии Ивановны. Она занималась личностью и судьбой Н.П. Ролан, писала о ней. Она сказала, что переписка у Майи с Ролланом началась в 1923 году и, следовательно, ГПУ к Роллану Кудашеву приставить не могло, поскольку зарубежные писатели для советской власти не представляли еще интереса в то время, и, кроме того, по ее мнению, это совершенно психологически не вязалось с обликом Марии Павловны.

Анастасия Ивановна потом еще несколько раз возвращалась к этой теме – добавляла новое, – говорила что в последний приезд Майи в гостинице, та спрашивала, почему в советской России гонения на церковь? – ведь церковь это такое устроение, которое приносит только добро. Она была религиозна. Этот разговор происходил при еще одном собеседнике, профессоре, который был, как сказала Анастасия Ивановна, очень «советской ориентации» – профессор чувствовал себя от этих слов очень неуверенно, ежился...

Майя Кудашева, урожденная Кювилье, много в юности влюблялась, и в неизвестных людей и в знаменитостей. Она написала письмо Франсуа Копе, известному в те годы французскому писателю. Послала свои французские стихи. Но Копе ответил ей сдержанно и сухо. Послав же письмо и стихи Роллану, в ответ получила почти влюбленное письмо. Завязалась переписка, которая окончилась приглашением в Швейцарию, в Кантон де Во, где жил писатель. Как говорила Анастасия Ивановна, Майя при встрече сразу же была совершенно очарована Роменом Ролланом, – ничего удивительного, он же был настоящий француз! – со вздохом говорила о той ушедшей эпохе 90-летняя писательница.

Анастасия Ивановна не хотела верить в то, что, возможно, ГПУ подобралось к Марии Павловне позже, уже в 1930-е годы, оно могло воспользоваться тем, что сын ее и князя

Кудашева, ее первого мужа, остался в СССР. И спецслужбы могли использовать его как «заложника». Жил он до войны с бабушкой. А потом был призван в войска и на войне погиб... Во всяком случае известно, что Мария Павловна старалась, чтобы Ромен Роллан поддерживал своим пером Советскую Россию, и не всегда, но очень часто ей это удавалось.

О СТИХОТВОРНОМ НАСЛЕДИИ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

Анастасия Ивановна Цветаева (1894-1993) была человеком большого душевного пространства и трепетного, поэтичного душевного строя. Знаменитые её «Воспоминания» поэтичны насквозь, а вторая её книга, «Дым, дым и дым», написанная в 1915 году, начинается прямо поэтической ритмической прозой...

Писательница слила поэзию с самой сущностью своей прозы, ибо восприятие мира было у неё поэтическое. Однако в юности Анастасия Ивановна стихов не писала, душа её просила широты прозаического листа, и она создавала прозу. После революции, в условиях советской цензуры, печататься она, конечно, уже не могла.

Потом, преподавая английский язык, неожиданно для себя, написала стихотворение на английском языке, потом ещё одно и ещё, — получился небольшой цикл английских стихотворений, довольно богатых лексически, изысканных по неожиданным «поворотам» рифмы...

Но далее — 1937 год, арест, — её и сына взяли в Тарусе, и началось многотрудное скитание по тюрьмам, этапам, лагерям. Именно в тюрьме, после многих часов допросов, в максимальном душевном напряжении — не уронить достоинство, не сделать неверного шага, не сказать лишнего, невольно не

предать – в аду переживаний – стали рождаться – «в воздух», – записать было нечем – одно за другим – стихотворения…

«Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать,
Так будьте же, слова мои тихи,
На вас тюремная лежит печать…»

Тюрьма, отчаяние и надежды. Встречи в пылающих адом камерах с женщинами-заключёнными, миг приязни и дружбы, затем – неумолимо – расставание. Она создала два больших цикла, посвящённых таким встречам. Один посвящён М. Яковлевой; она сама была поэтессой, печаталась под именем – Марианна Ямпольская. Другой цикл – Раисе Мамаевой, революционерке, которая вместе с мужем участвовала в «создании революционной ситуации» в Китае, но, как говорила Анастасия Ивановна, они там что-то не так сделали и это им потом не простили…

Стихотворение «Словно стрелою твой век пролетел» посвящено Берте Александровне Бабиной, – она тоже была литератором, писателем, и она, как и М. Яковлева, вернулась потом из лагеря, была реабилитирована, дружила с Тамарой Жирмунской, поэтом и литературным критиком… Строка же в стихотворении ей посвящённом: «Масок игрою ты тешился, мим!», – как говорила сама Анастасия Ивановна, – означает горькую иронию над былым увлечением Б.А. Бабиной идеями революции, коммунизма, которые призрачны по своей сути, это – «Дионисийский обман…»

Из мужских посвящений характерно – Николаю Миронову. Это была самая роковая встреча, самая роковая страсть в жизни А.И. Цветаевой. С ним, с царским офицером, она уехала проводить его на фронт, потом – снова его приезды с фронта… Много позже, после смерти ее мужа и сына, в 1933 году, Миронов вновь предстал перед ней, снова вспыхнула

былым пламенем любовь, но Анастасия Ивановна не допустила себя к запретному порогу, потому что уже приняла к этому времени тайный обет аскезы, и ей оставалось – потопить безнадёжную ныне любовь в рояльных трагических звуках.

«Портрет» посвящён Б.А. Бахтину, предположительно, родственнику известного философа-лингвиста, его потом расстреляли в лагере, а был он – само обаяние тонкости, интеллектуализма.

В сборник вошли две поэмы, посвящённые близкому другу А.И. Цветаевой, Борису Михайловичу Зубакину, поэту-импровизатору, художнику, скульптору, гипнотизёру, потомственному мистику. Одновременно с ним А.И. Цветаева была у А.М. Горького, в Италии.

Тут и поэма, и стихотворение, посвящённые, памяти Леонида Фёдоровича Шевелёва, о котором – в мистической новелле А.И. Цветаевой «Родные сени», что входит в цикл «Невероятные были».

Шевелёв долгие годы после своей смерти давал о себе знать, как рассказывала Анастасия Ивановна, – то замигает лампочка, то таинственный стук в окно, и было это всё во вполне определённый день – в день его рождения. Он вносил в жизнь Анастасии Ивановны маленькое чудо.

Стихотворение «Ёлка» посвящено Б.Л. Пастернаку, потому что тот его особенно – любил. Когда Анастасия Ивановна с ним встречалась, они часто читали друг другу стихи. Причём, бывало, происходило это даже прямо на улице. Одну из последних довоенных встреч особенно запомнила и потом вспоминала Анастасия Ивановна – он нёс домой два бидона с керосином. Но вот, бидоны поставлены на тротуар и разговор унёсся в поэтические дали…

У Б.Л. Пастернака была действительно большая дружба с А.И. Цветаевой, он заходил к ней на службу, когда она работала в Музее изящных искусств, он писал ей в лагерь, посылал свои стихи и переводы, среди них – «Гамлет»…

С Мариной Ивановной Цветаевой у Пастернака был эпистолярный роман, но не столь воплощены жизненные реальные встречи.

Я хорошо помню осень 1985 года, когда мы с Анастасией Ивановной работали в Коктебеле над её «Единственным сборником стихов», она настаивала именно на таком простом, ясном названии. Печатать, однако, стихи свои она не спешила, – было много первоочередной, прозаической работы. Но тогда уже зрел замысел подготовить в печать лагерный её роман «Amor», где – поэтическая тетрадка из нескольких стихов, посвящённая главному герою – Морицу.

Мориц – встреченный ею в лагере реальный человек, Арсений Этчин, под началом которого она работала в проектно-сметном бюро. В романе в сюжетную линию вплетён мотив – она как бы пишет поэму, посвящённую главному герою. Сюда относятся – «Портрет», «Улыбка», «Морок», «Полынь», «Гений юмора». Не все они попали в роман, но все входят в сборник стихов, так что ее «Мой единственный сборник» («Изограф», 1995) – ещё и настоящее продолжение романа.

Тогда, на берегу холодного, но яркого под солнцем моря, Анастасия Ивановна много рассказывала о героях своих стихотворений и – шлифовала, стилистически правила, изменяла и сокращала некоторые давние свои стихи. Особо работала над стихотворением о Тарусе – «Чужбина». Было удивительно, что человек, которому девяносто, не только помнит практически все свои тексты наизусть, но, уже не создавая стихов, снова на миг становится поэтом, изменяя отдельные строфы. Женственно, плавно взлетала её тонкая сухая рука, когда она чертила узор в воздухе, ритмически, ещё и ещё повторяя стихи, вслушиваясь... В этом преображении казалось, что она вновь молода. Мы гуляли по коктебельским тропинкам, пешком ходили на кладбище, где похоронен умерший в 1917 году её сын Алёша. Она рассказывала, как тогда утешал её, безутешную, поэт В. Ходасевич, сколько внимания проявил к её скорби.

И ещё тогда помню моё удивление глубиной культуры стихов А.И. Цветаевой, её образности – классического, раскрытого накала, богатству орнаментации её поэтического мира и выражения:

«...Эрос! Психея! Не прав Феогнид,
Солнце любви над миром горит.
В руку легла рука...»

Или, прямо гениальные по поэтической силе, две строки из тюремного стихотворения «Сюита ночная»:

«...Не спит, как и всегда, в своей тоске библейской
Больная Ханна Хейм, химера с Нотр-Дам...»

А.И. Цветаева при жизни увидела изданный крошечным тиражом маленький сборничек стихов. Имя сборника – «Тетрадь Ники». Нетрудно догадаться тем, кто читал роман, что стихи – из «Amor»а. Их издала в серии небольших книжек поэтов-лагерников член Общества репрессированных, Заяра Весёлая, дочь репрессированного и погибшего в лагерях поэта Артёма Весёлого.

Некоторые из стихов А.И. Цветаевой печатались в отечественных и зарубежных газетах и журналах. В частности, посмертно, к ее 100-летию в журнале «Знамя» (1995, № 1). Тем, кто любил и ценил Анастасию Ивановну Цветаеву, человека удивительного творчества и судьбы, предназначено было издание её «Единственного сборника стихов».

О моих стихах

Как и когда я начала писать стихи, будучи прочно прозаиком? На этот вопрос я отвечу так: ...начала – и кончила. Так не бывает, но так со мною было.

С детства живя рядом с моей сестрой Мариной, и обе среди поэтов: Эллис, Бальмонт, Брюсов, Чурилин, Мандельштам, Парнок – я никогда сама не пробовала писать стихи (без них не представляла себе жизни – в молодости).

На 41-м году жизни я, погрузившись в английский язык (преподавая и глубоко изучая его), – стала писать английские стихи: первое – нерифмованное, один ритм, его похвалили англичане. Затем рифмы полетели ко мне в изобилии, и так возникли уже рифмованные стихи, числом, должно быть, около двенадцати. И тогда, незаметно и радостно, я перешла на русский язык, и писала я стихи до 1943 года, до того, как в заключении на Дальнем Востоке узнала – два года от меня скрывали – о гибели Марины. Сам с собою иссяк источник стихов.

В 1974 году, в Коктебеле, у моря, ища камушки, я написала стихотворение «Мне 80 лет». Оно существует. В 90 лет, готовя еду и моя посуду, я промурлыкала в воздух стихи «Мне 90 лет». Радуясь, что они нисколько не хуже тех, 10 лет назад. Но телефоны, дела, люди, день до вечера без возможности записать стихи... А когда в поздний час я захотела их воплотить – они растворились в воздухе – память не удержала их. Вот «история» моего стихотворства. Самое любопытное то, что в моих стихах – никакого сходства с Мариной. Марина – гений, я – просто талантливый человек, каких много...

Анастасия Цветаева, на 97 году жизни.

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА – «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ, 1971-1972 гг., МОСКВА – КРЫМ»

Рукопись А. Цветаевой вышла посмертно, к 110-летию со дня рождения писательницы.

Анастасия Ивановна не хотела при жизни издавать эту рукопись. На то были глубоко личные причины. Тот, кто прочтёт книгу, поймёт, несомненно, – какие.

«История одного путешествия» повествует о лирическом очаровании, которое пережито и прочувствованно автором повести, главный герой которой – молодой поэт Валерий Исаянц. У А.И. Цветаевой в её, почти всегда автобиографическом, творчестве есть несколько разных по накалу чувства примеров подобного трагического «трения» – души о душу, когда А. Цветаева, человек сильного характера, личность своеобразная, закалённая годами лишений и тягот, берётся «выпрямлять ввысь» душу другого человека.

Убедительный пример: взаимоотношения героини её романа «Амор», Ники, с Морицем. Прототипом Морица был Арсений Аркадьевич Этчин. Под именем Ники выступала, конечно, сама А.И. Цветаева. Как она была настойчива в заботах о Морице, о его здоровье, порой даже чрезмерно... Она описала ему свою жизнь, его сделала героем поэмы, отдельные стихи из которой вошли в роман... Бой за душу! Реальный, пережитый в годы её заключения в сталинском лагере, где она одно время работала в сметно-проектном бюро.

И в «Путешествии...» – нечто подобное. Здесь с ещё большей откровенностью обнажается глубоко женственная природа её, во многом материнского, чувства. В ней теплится надежда: «Может быть, мне удастся что-то в нём – во благо ему – повернуть».

Вот они вместе в Крыму. Встретились у Марии Степановны Волошиной, там он предстал перед уже семидесятишестилетней «сестрой Марины Цветаевой» как внимательный к ней, удивительно внешне красивый, талантливый... «ангел». Отношения незамутнённо возвышенные, именно ангельского она и ждала от него – «Между мною и Валерием – полстолетия. (Отчего же он так – в этом же мне нет сомненья – нежен комне?) Ангела послала судьба?» Тяготение не физическое, духовное. Она упоминает об обете, данном ею в 28 лет, – не лгать, не поддаваться зову низменной, греховной составляющей человека. Только и в ней остались чувства

далеко не ангельские, а просто человеческие, пусть и освещённые религиозностью, духом живого, искреннего сочувствия… Она глубоко переживает проявляющееся порой в отношении её невнимание, безразличие. А она — требовательна. Требовательна не современной, облегчённой требовательностью, а взыскательной требовательностью своего, дореволюционного поколения. Как в романах её детства, в романах XIX века, находясь рядом, она пишет письмо своему герою, о душу которого бьётся, как птица об стекло. Вот несколько строк из письма: «…И тот факт, что я, наконец, не выдержала, повела себя, как каждый бы повёл, тривиально — подняла голос, заплакала, бросила что-то об пол — и ринулась прочь — только это Вас привело в себя, заставило за мной броситься и — выслушать те простые деловые, по ходу дела неизбежные, в заявлении слова, которые Вы отвергали. Вам переписать полстраницы оказалось — по моему совету — трудно, Вы вскочили и осмелились мне крикнуть: «Вы мне испортили день, моё настроение!..» — мне, за всё для Вас поднятое, слушать о — настроениях? В деловой час! Мне, презирающей «настроения»; бросившей Вам в помощь все мои силы, требующие ваших — для дела…» Вот до какого накала доходили уже изменяющиеся к худшему взаимоотношения. А речь в письме была о вещи действительно необходимой — о написании заявления о восстановлении потерянного паспорта. Откуда же у Валерия грубое, глухое противодействие? Может быть, дело только в его молодости и жажде — наперекор всему — свободы?! Увы, дело не только в этом. Герой повести, и об этом упомянуто, лежал в психиатрической клинике, он психически болен… Мне приходилось видеть поэта Валерия Исаянца в жизни, когда он, многие годы спустя, уже во второй половине 1980-х приходил, приезжая из родного ему Воронежа, к А.И. Цветаевой. Тогда уже, сохранив свой поэтический дар, он имел вид человека явно душевнобольного. Помню отчетливо пришитый у плеча

его пиджака карманчик из парчовой материи, из которого у него торчал коробок спичек. Заметив мой взгляд, устремлённый на коробок, он сказал: «Я забываю, где спички, начинаю хлопать себя по карманам, по телу и натыкаюсь на них...» В остальном же, исключая странного порой выражения лица, он был вполне адекватен. Талантливо, хотя и не всегда чётко по мысли, говорил о поэзии, о литературе. Те же особенности несут и опубликованные приложением к тексту А.И. Цветаевой тексты самого В. Исаянца. Недаром к одному из них, озаглавленному «К 90-летию Анастасии Цветаевой», имеется подзаголовок «Очерки импрессиониста». А. Цветаева говорила о том, что близорукие люди (а она, как и её старшая сестра, была близорукой) видят мир слегка размыто, комплиментарно-импрессионистически... Но её импрессионизм, проявившийся ещё в дореволюционных книгах – в «Королевских размышлениях» (1915), в «Дыме, дыме и дыме» (1916), был художественно много более чёток, чем у её молодого друга. Уже там, в первых книгах, сквозил её вздох над миром и понимание того, что – «Только утро любви хорошо, хороши только первые встречи...»

Ей показалось, что он увидел в ней, уже старой, молодую душу. Недаром она столь резко отвергает попытки причислить её к «бабушкам». Окончательный душевный отход от героя наступает тогда, когда она, «...о ж и в – полюбив – поверив», постепенно понимает, что невозвратно ушло, погасло то утро любви, ушла первозданная нежность, которой герой когда-то, при встрече, окружил её, сломав лёд её одиночества. Он всё больше тяготится взятой над ним опекой. Наступает неизбежный «эпилог».

В эпилоге к «Истории одного путешествия» А. Цветаева пишет: «Перо по бумаге бежало, где-то внутри глубоко окунутое в горечь...» И далее: «...И всё же билась я – за Иллюзию! Как хотелось претворить её в жизнь! Как билась! Но Высокая Трезвость уже говорила цветаевским (маминым!) голосом:

тут звучит – музыкально – готовность к отказу. И шёпот: откажись... Но – бесконечная жалость к уже родному, кому без меня будет тяжче! Та жалость мышкинская, о которой Рогожин: «Твоя жалость пуще моей любви!..» Уже не юношу ангелоподобного я отдавала, а – «дитя моё», своего ребёнка! И это может понять только мать...».

Анастасия Ивановна старалась помочь Валерию Исаянцу, познакомила его с П. Антокольским, в книге есть след хождения их к Мариэтте Шагинян. О Шагинян в упомянутых «Очерках импрессиониста» пишет сам поэт. В книге опубликовано среди приложений и «Предисловие к сборнику стихов Валерия Исаянца» А. Цветаевой. Однако в сборнике стихотворений поэта, который хранился в библиотеке Анастасии Ивановны, было опубликовано предисловие не её, а её подруги, Татьяны Спендиаровой, известной переводчицы и поэтессы, дочери армянского композитора-классика. Спендиарова помогла выпустить книгу в Ереване. Маленький сборник лирики стал единственной книгой больного душою поэта. В годы развала Советского Союза он продал свою квартиру и стал на долгие годы странником, или, современным языком говоря, человеком без определённого места жительства... Однажды мне пришлось видеть его издали. Он сидел близ Центрального дома художника на остановке, вокруг него было несколько сумок-пакетов, взгляд его был тёмен, устремлён в себя. Он не узнал меня...

Когда исчезает поэт, уходит в Вечность или в путь странника, бывает, от него остаются рукописи, стихи. В моём архиве сохранилось несколько листков машинописи, подписанных спутником А.И. Цветаевой. Она когда-то отдала их мне, сказала: «– Возьмите, может быть, когда-то придёт время и это пригодится». У меня хранилась и рукопись “Путешествия...” Анастасии Ивановны с Валерием. О нем А.И. Цветаева писала: «Валерий Исаянц в лирике своей глубоко человечен, благожелателен. Он не отъединён, он на

всё отзывается. Посетив выставку Сарьяна, своего соотечественника, он зажигается пламенем его картин:

...Надолго я запомню
десятки солнц, слепящие безгранно,
как шаровыми яблонями молний
катились в руки яблоки Сарьяна.

Поэт сочетает в себе две крови – русскую и армянскую, о чём он говорит так:

...Два цвета в моей крови,
Два солнца – и нет исхода.

Так поэт называет предельное чувство богатства – быть сыном этих двух жизней».

Книга «История одного путешествия» издана была в 2004 году совместно издательским домом «Коктебель» и Домом-музеем Марины Цветаевой в составлении и с комментариями друзей А.И. Цветаевой Г. Васильевым и Г. Никитиной и известного популяризатора крымской тематики в литературе и искусстве Дм. Лосева.

ТАК ДАВНО, С А.И. ЦВЕТАЕВОЙ В 1985 ГОДУ, В КОКТЕБЕЛЕ

К осени 1985 года мы с Анастасией Ивановной уже год как работали вместе, редактировали ее рассказы, тюремные стихи. Однажды она сказала, что собирается в Дом творчества писателей, в Коктебель, Анастасия Ивановна говорила – Поезжайте, прибудете незадолго до моего приезда – поселитесь у сестер Журавских, это удивительные сестры, увидите!..

И вот – поезд, затем автобус из Феодосии до – Планерского, так тогда назывался Коктебель – Карадаг меня сразу сразил своей вулканической мощью, орлиным полетом гор-

ных высот, монументальностью... Но, прежде чем пойти к морю, я отправился к самым воротам Дома творчества, там был вход к Журавским. Меня встретила очень старая, но еще энергичная женщина, одна из трех сестер, из которых к тому году две были живы... Она повела меня вглубь сада, где одиноко прятался каменный толстостенный гостевой домик, в нем я и поселился. Пройдясь по саду, я удивился, увидев сколоченную из досок настоящую сцену домашнего театра, спиною повернутую к Карадагу... Я подумал – для домашних спектаклей. Оказалось, сестры в те времена, когда на Карадаге и на берегу моря близ него еще находили драгоценные камни, собрали уникальную коллекцию камней и создали Театр камней, показывали коктебельцам и приезжим эти камни, которые волшебно искрились под лучами солнца... Журавская показала мне и принадлежавший ее семье альбом, полный редких фотографий Максимилиана Волошина, и более поздних, его вдовы Марии Степановны... Где этот фотоальбом теперь?..

И вот приехала Анастасия Ивановна, – не одна, с Ольгой Владимировной Трухачевой, родственницей по первому мужу и ее сыном, Михаилом Смирновым... Помнится, я встречал ее в Феодосии, куда подошел московский поезд. Из Феодосии в Планерское ее сопровождала еще бойкая местная журналистка...

В Доме творчества Анастасия Ивановна расположилась со своими бесчисленными коробочками с гомеопатией, папками с рукописями, над которыми нам предстояло работать.

И вот начались наши прогулки по Коктебелю – помню наш с нею поход к Арентам, ко крестнице М. Волошина, Ариадне Арендт. Они были из рода врача Пушкина – Николая Федоровича Арендта, лейб-медика императора, облегчавшего страдания Пушкина после дуэли с Дантесом. Ариадна Александровна и ее второй муж, скульптор Ана-

толий Иванович Григорьев в Коктебеле имели дом-мастерскую, всю уставленную скульптурой – портретами-бюстами, причудливыми созданиями из окаменелостей, гальки... И больше всего – маленькими, на ладони помещались – барельефами головы Максимилиана Волошина, с которым по горам Ариадна некогда бродила юной девушкой. Были и большие бюсты Макса. Ариадна в память друга Макса на своих пышных волосах носила, как и он, полынный венок, что делало ее несколько внешне схожей с ним.

В мастерской были и скульптурные портреты Волошина работы Григорьева, о котором Анастасия Ивановна говорила, что он автор изображения Льва Толстого, что установлено памятником в Симферополе... С Ариадной мне общаться было особенно интересно, поскольку в те годы я зачитывался книгами по теософии и антропософии, к чему мировоззренчески столь близка была Ариадна... Скульптор Григорьев был к тому времени уже очень болен, он ходил по мастерской с «выводом» трубки из организма, и я с грустью подумал, что жить ему осталось недолго... В память того посещения у меня осталась глиняная головка цыпленка, подобных немало было в мастерской... Это был подарок Ариадны Арендт на память... Там, в доме у Арендт я помню и Юрия Арента, ее сына... Забегая вперед, скажу, что через годы, когда я побывал по приглашению Юрия Арента в мастерской Ариадны в легендарном доме художников на Масловке, я увидел «отражение» того коктебельского дома. Ю. Арент позвал меня за собой в их квартиру, этажами выше, мы вошли в комнату где лежала его мать, Ариадна. Глаза ее уже ничего не выражали. Я услышал вместо слов петуший крик – разум покинул Ариадну, мне вспомнилась головка цыпленка, подаренная Ариадной, когда разум ее был еще светел, она была полна жизни, хотя с довоенной поры ходила на протезах, под трамваем лишилась ног... Умерла она в 1997-ом, Григорьев раньше, в 1986-ом.

Выйдя от Ариадны Арендт и Анатолия Григорьева мы с Анастасией Ивановной шли по коктебельской пустынной улице – в те годы народа было немного, незастроенная набережная перед Домом поэта плавно переходила в пустынные пляжи... Так вот, Анастасия Ивановна вдруг как то юношески быстро сорвалась с места и побежала, как бежала некогда в Коктебеле, еще в 1911 году, когда впервые попала сюда по приглашению своего друга Макса.

Тогда состоялся розыгрыш – будущий муж ее сестры Марины, Сергей Эфрон изображал для ее манерного Игоря Северянина, сестры Эфрона преобразились. Елизавета – в ревнивую испанку Кончитту, влюбленную в Макса, а Вера в бездарную поэтессу Марию Папер, всем читавшую ужасные стихи... Однако этот, устроенный Максом розыгрыш, разбился о невозмутимость юной Аси Цветаевой...

В дом, где это все происходило, мы пришли с Анастасией Ивановной и ее родственниками в другой день.

Перед домом, Анастасия Ивановна увидела только что тогда установленный на постамент бюст М.А. Волошина, который принес в дар музею А. Григорьев. Бюст этот был установлен, как вспоминается, под открытым небом, и был выше человеческого роста... Анастасия Ивановна захотела, преодолев близорукость, поближе рассмотреть своего друга, изваянного в камне. Она затребовала себе в музее стул и на него ступив, стала смотреть в лицо Максу, что повергло присутствующих в немалое удивление – со стороны это выглядело так – сухонькая, маленькая старушка через очки, близоруко щурясь, старательно рассматривает только что установленную скульптуру, стоя на довольно ненадежном стуле – не дай бог треснет и разрушится под ней!, – но ничего подобного, стул выдержал миниатюрную старую женщину.

В более поздние годы у Анастасии Ивановны «изобрела» своеобразную градацию. Она говорила – Раньше я была молодая старуха, а теперь я старая старуха! – но это потом.

А тогда, несмотря на некоторую глуховатость, шаг ее был быстр, о палку она скорее не опиралась, а просто постукивала ею о землю, или вообще носила ее под мышкой...

И вот наконец все мы в Доме Волошина. Проходим комнатами, хранящими тот, дореволюционный неповторимый дух. На стенах картины, масса французских книг...

Входим в мастерскую. Анастасия Ивановна говорит молодому тогда директору Музея, Борису Гаврилову — тут стоял Максин стол, а его вынесли! Все должно быть как при Максе. — Ей объясняли, что стол вынесли, чтобы могла поместиться группа экскурсантов. Им просто негде бы было слушать экскурсовода. Но Анастасия Ивановна неумолима — Пусть потеснятся! Все должно быть как было!..

Поднимаемся по лестнице наверх, к смотровой площадке над мастерской, снизу доносится завывающий голос молодой женщины-экскурсовода, которая громко читает стихи Марины Цветаевой в манере... Беллы Ахмадулиной. Анастасия Ивановна говорит — Она воет Марину как свои стихи Бэлла, а Бэлла воет как лирический шакал! — кто еще мог так сказать!..

Итак, мы перед дверью на башню. Служительница музея говорит Анастасии Ивановне — дальше нельзя, ключа нет. — и тут Анастасия Ивановна волевым голосом, твердо, императивным тоном сказала: — Откройте! Мне Макс разрешал!.. — Последовали уговоры не ходить наверх, но она была непреклонна. Тогда ключ неожиданно «нашелся»... И перед нами — еще более крутая, почти что отвесная лестница — Анастасия Ивановна энергично поворачивается ко мне, — Станислав, я сюда 75 лет назад без палки поднималась и сейчас поднимусь! — отдает мне свою трость и — взмыв энергии, она взбежала по лестнице на башню. Мы поднялись следом. День был солнечный. Блистало море. — Видите, — говорила Анастасия Ивановна, — Макс обнял собою Коктебель, с одной стороны своим профилем, падающим в море,

а с другой стороны своей могилой на горе Янычары... – И продолжала. – В 1914 году мы тут наблюдали солнечное затмение, половина неба была темной, светила луна, мерцали звезды, а в другой половине неба было солнце. Детей нянька не пускала наверх, говорила, что такое смотреть – грешно, но они вырвались, тоже прибежали наверх и повторяли за нами: – *Какая класота, какая класота!*..

Вскоре после приезда Анастасии Ивановны приехал и Андрей Борисович Трухачев, ее сын от первого брака. С ним мы ходили к певице М.Н. Изергиной, о которой Анастасия Ивановна упоминула потом в ее очерке 1988 года – «Мой зимний старческий Коктебель». Писала с восхищением о ее голосе. При нас, когда с Андреем Борисовичем мы приходили к ней вечером в гости, Изергина не пела. Она развивала свою собственную мистическую теорию о строении Вселенной, имеющей форму колокола. У нее собирались весьма оригинальные писатели из молодых, в том числе и из криминальной среды. За столом была водка, которую мы и пили с бородатыми писателями и Андреем Борисовичем...

А потом – был наш поход с Анастасией Ивановной и Михаилом Смирновым на кладбище, где сохранилась могила второго сына Анастасии Ивановны, Алеши, умершего от дизентерии в Коктебеле в 1917 году...

Поднявшись в гору меж могил, пришли к участку, огороженному низким деревянным заборчиком, тут был похоронен Алеша Минц-Цветаев, сын от второго, незарегистрированного, гражданского брака с Маврикием Минцем. Рядом – деревянный немалый темного цвета крест с воскрылиями – домиком – над могилой Елены Оттобальдовны Киреенко-Волошиной, легендарной Пра, матери Максимилиана Александровича. Она умерла в 1923 году. И там же, рядом с могилой Алеши, была могила маленького мальчика Алика Курдюмова, сына художника, умершего тоже от дизентерии

за три дня до Алеши... Я помню, что Анастасия Ивановна принесла большие белые астры. Хлопоча у могил, пристраивая цветы, рассказывала, как при смерти Алеши ее утешали Макс и еще поэт Владислав Ходасевич с женой. Вот, указала она на находящийся прямо у ограды старинный, черного гранита памятник с изображенной на нем раскрытой книгой – тут похоронена (в 1932 году) гонительница Макса, ревнительница приличий в дореволюционном Коктебеле, певица Мария Дейша-Сионицкая. – Вот, Макса не любила, а теперь лежит близ его матери, – перед смертью все равны! – вздохнула Анастасия Ивановна.

В Коктебеле в 1985 году чудом оказался фотограф Б. Панченко, который присутствовал на концерте моего отца в Сыктывкаре незадолго до того. Узнав, что в Коктебель приехала Анастасия Ивановна и встретив ее на аллее Дома творчества, он сфотографировал ее с Михаилом Смирновым и Ольгой Владимировной, и также отдельно меня с Анастасией Ивановной, и нас всех. Потом он прислал эти фотографии мне в Москву. Фотографировал и М. Смирнов.

На свой день рождения, ей тогда исполнялось 90 лет, Анастасия Ивановна сказала: – Мне писатели хотят устроить празднование, я этого не хочу. Давайте удерем в Феодосию! И мы, тайно, не сказав никому, нашей компанией уехали из Коктебеля в Феодосию, где ей некогда пришлось жить, и где мы с нею посетили музей Александра Грина, с которым она не была знакома, но которого видела однажды на улице, а знакома была с его вдовой. В музее хранится памятная запись, которую оставила Анастасия Ивановна. Я тоже, вслед за ней написал несколько строк от себя. Сотрудники музея вызвали срочно фотографа, он фотографировал этот «исторический» визит современницы Грина. Посетили мы и Феодосийскую картинную галерею в доме Айвазовского, где она бывала в гостях у своих близких знакомых, потомков патриарха маринистов до революции, что описано в полном своде текста ее «Воспоминаний»...

О НЕПОСТИЖИМЫХ

Вклад семьи Цветаевых в русскую культуру огромен. Иван Владимирович Цветаев подарил России созданный его трудами грандиозный музей классического искусства. Старшая дочь его – Марина Цветаева – поэт, чьи стихи – золотые листья на антологическом древе поэзии. Трагическая судьба М. Цветаевой стала темой многих статей и книг. Младшая дочь профессора Цветаева, Анастасия Ивановна – писатель. «Воспоминания» ее – впечатляющий, объемный рассказ о русской интеллигенции начала века. Кто сумел, как она, запомнить и художественно передать волшебное «междустрочие» оттенков чувств и мыслей ушедшей эпохи?

Но Анастасия Ивановна не принадлежала безраздельно той седой поре. Она – через преодоления и провалы судьбы – через тюрьмы, ссылки, лагеря не только выжила, но сохранила талант прозаика.

Тематический «конек» Анастасии Ивановны оставался неизменным. Это автобиографическая проза, но – в самом широком смысле: в поле зрения писательницы попадали события и люди, которые во всем многообразии отражаются в кристалле творчества.

Почему все-таки автобиографическая, а не иная прозаическая волна? Да потому что цветаевский стержень столь явственно крепок, что за всем, что вышло из-под пера, чувствуется – воля, твердое «Я» – своеобразная точка нравственного отсчета. Эта точка отсчета есть сокровенное ядро личности, согретой светом религии, лучами христианства.

Еще в детстве она жарко молилась о том, чтобы больная собака, которая не могла ступать на все четыре лапы, ходила на трех, – выздоровела. Сколько радости было, когда собака по детской молитве действительно излечилась!

Духовная энергия молитвы, добра дает *провидчивость* и чуткость к миру. «Любовь» на языке планет – притяжение. Так Анастасия Ивановна *притягивала* впечатления...

Она с любовью относилась к природе, к людям, к животным. И вспомним, что в высоком смысле Любовь – это Бог – «Бог есть Любовь»!

В той мере, в какой человек способен к духовному пути, в той степени он нужен планете.

На этой дороге не ржавело, не никло перо…

…После революции Анастасия Ивановна вошла в число первого состава Всероссийского союза писателей по рекомендации его основателей – М. Гершензона и Н. Бердяева, выдающихся авторитетов в области литературы и философии.

В 1920-30-ые годы она много писала – роман «SOS, или Созвездие Скорпиона», несколько повестей, книга о голоде, одобренная М. Горьким. Но то время было слишком неблагодарно к тем, кто не был согласен воспевать строй и его «вождей». Потому ее не печатали – не желала она по указке редакторов «выпрямлять» биографии героев под «нужную линию». Оставалась верной себе… Оттого – арест в 1937 году, тюрьма и приговор – по 58 статье, за «контрреволюцию» – десять лет лагерей. Но и в заключении эта хрупкая женщина не сдавалась. Не отрекалась от того, что с 27 лет составляло прочно ее духовную суть. От христианства…

Рукописи А. И. довоенного периода почти все не уцелели, не найдены. Но из этого печального «правила» есть довольно крупное «исключение»: в 1990 году в журнале «Москва» (№№ 2, 3, 4, 5) вышел из забвения к читателям «новый», то есть ранее никогда не публиковавшийся, роман «Amor».

«Amor» – по-гречески – Любовь. Любовь в духовном, возвышенном смысле. Стремление романа, как говорила Анастасия Ивановна, – выразить сложную природу разности мужского и женского жизневосприятия.

Психологический роман писался в сталинском лагере и через вольнонаемных тонкими, мелкоисписанными листками передавался на волю.

Буквально в последние дни, часы перед выходом романа, Анастасия Ивановна «вплавляла» в монолит текста новые сцены; среди них – вставными эпизодами влившиеся в роман невыдуманные истории о животных. Такие, как раздробленное в романе повествование о собаках «Мишках». Собственно, собак звали Мишка и Каштанка. Их убили. Убили потому, что они раздражали коменданта своей веселостью. В лагере не положено веселиться. Собаки «не подчинились» и были уничтожены, как могли быть уничтожены за неподчинение люди. «Шаг влево – шаг вправо – расстрел!» – таков закон идущей по снегу колонны заключенных. В лагерях гибли тысячи. Но и смерть животных, бессловесных, по природе своей безгрешных, потрясала.

И другая новелла, другого психологического уклона – тоже некогда записанная отдельно, вошла в «Amor». Первоначальное название новеллы «Мурыся». Она о кошке, которая оказалась котом, и не просто котом, а существом, способным проявить в момент расставания чувство дружбы и горечи, тоски… то есть приблизиться к тем высотам душевным, которые уже граничат с духовностью.

Анастасию Ивановну занимал «проклятый» в своей кажущейся нерешенности вопрос о глубинном, философском отличии человека от животного в смысле их посмертной судьбы. Она, конечно, обращалась с вопросом этим к своим духовным наставникам, к священникам. Но и у них не находила ответа.

– Животные так много страдают от человека! – говорила она, – достойный человек войдет в Царствие Небесное. И, кроме того, Христос взял на себя грех человека, а о преображении животных мы ничего не слыхали.

И недоумение длилось, пока в Павлодар, где работал сын Анастасии Ивановны, Андрей Борисович Трухачев, и куда приехала она, не была прислана книга «Рай и ад». Много

было в ней удивительных вещей. И среди прочего – рассказ о том, как Блаженный Андрей – а блаженных Андреев было три – один жил в III, другой в IX и третий – в X веке, – так вот один из них, – Анастасия Ивановна не запомнила точно какой, – был «восхищен», т.е. призван до третьего неба. У Данте в «Божественной комедии» – девять небес. Так – на третьем небе, изумляясь необычайной красотой и высотой райских деревьев, Блаженный Андрей увидел за ними силуэты животных. Шерсть на них была, как шелк, – цвета неба и зари. И животные перекликались меж собою музыкальными звуками.

Блаженный Андрей удивился, не ожидал он встретить в раю животных, но услышал голос сверху: «Что ты удивляешься, Андрей, что ты думаешь, что Бог хоть одной твари своей даст тление?..»

После такого известия из церковной книги у Анастасии Ивановны сомнения в возможности преображения животных отпали.

Поясним, что с точки зрения тайных наук, в которые посвящали лишь самых достойных сынов человечества, «третье небо» не что иное, как «мир огненный» – то есть мир мысли, находящейся вне зёмных измерений. Его йогическое имя – Девакхан – он представляет собою более тонкую субстанцию, чем мир астральный, который ближе по частоте вибраций к нашему, физическому миру... Это действительно духовнейший из доступных величайшим ясновидящим слоев сверхматериального бытия. Если в астральном мире разлиты краски, то в девакханическом мире в доминанте – звуки, звучащие сферы пифагорейские. Что еще касается животных, то по антропософскому учению доктора Штейнера, животные имеют все «компоненты» человека – физический состав, чувства, даже мысли, но не имеют только одного – своего «Я». «Я» у каждого рода животных – коллективное, одно на мно-

гих. Оно живет в четвертом измерении, и оно значительно мудрее, чем отдельно взятый человек...

Ту же истину, даже более проникновенно, чем Рудольф Штейнер, высказал десятилетний мальчик, сын священника, духовника Анастасии Ивановны. Он сказал: «У животных есть душа, но у них нет Духа. Дух только у человека». Что ж, по Евангелию – устами младенца глаголет истина.

И тем не менее, мы равноправны с животными нашей душевной жизнью. Она у животных очень развита. Вот почему чудеса преданности, верности проявляют собаки, кошки, вот почему животные способны на ласку, на эмоции, которые больше ожидаешь встретить у людей. Хотя в силу той же интенсивности душевной жизни животные способны на гнев, на обиду.

Весь этот спектр чувств и удивительных проявлений наших «младших собратьев» мы встречаем в рассказах Анастасии Ивановны о животных, написанных в разные годы. Некоторые, такие как «Бобка и Барбос», «Руслан и его хозяева», «Домка», «Миша, Вася и Фея», «Друг», «Три собаки», «Кроля», «Свин» – созданы были в Сибири. (Потом в несколько измененном виде они были включены в книгу «Моя Сибирь»), Там, в ссылке «навечно», Анастасия Ивановна не оотчаивалась, верила в высшую помощь, высший промысел.

Она не считала никогда, что жизненный путь должен быть усыпан розами. Жизнь – это испытание. Кому Бог испытаний не посылает, тот испытаний не достоин. Недаром испытания приходились на долю замечательных людей, святых или праведников.

Рассказы Анастасии Ивановны о животных проникнуты состраданием. С какой болью описывает она смерти животных! Для нее, как для человека духовного, существенна не только жизнь, но и смерть. «Memento mori!» – повторяли древние. – «Помни о смерти!» Смерть, в силу великого и тайного закона

взаимосменяемых противоположностей, напоминает о Жизни. Так, смерть котенка в «Наших подопечных» или птенца из рассказа «Птенец» – заставляет души наши встрепенуться жалостью, пережить скорбь о несовершенстве нашего мира, зыбкого, как мираж, способного «уйти из-под ног» в любую минуту. Это наиболее проникновенно знали Будда и Христос. Их слезы были об этом мире.

И слезы писательницы – о наиболее естественных и беззащитных, приученных существах.

Может показаться, что в рассказах навязчиво много о смерти. Публикуя в журнале «Полярная Звезда» два рассказа Анастасии Ивановны – «Безымяночка» и «Кроля», редакция предпослала публикации еще одно, общее заглавие – «Жестокость». Но лучше – и больно и много о смерти, чем эмоциональная усредненность, охранительная позиция – лишь бы не через край! Пусть даже через край, но потоком – в душу ощущающую, в которой – пламенеющим зерном – сочувствие, соединяющее с Природой, с Богом.

И еще. Печатью духовности в рассказах Анастасии Ивановны – ее покаянность. Она не стыдится признать собственную вину перед собакой ли, кошкой ли, свой грех, совершенный в миг душевной черствости, нечуткости. Этот миг мучает через годы и десятилетия, вспоминается, не оставляет.

Мотив покаяния явлен особенно в «Домке», в «Наших подопечных» (эпизод с кошкой Совой), в трогательном рассказе о гусе Теге, в «Мишках»...

Грех перед животным – меньше ли он, чем грех перед человеком?

Совершенно особым событием собравшейся воедино книги рассказов о животных А.И. Цветаевой стало эссе – философское размышление «Насекомое». Это парадоксальное, как

того и требует эссеистический жанр, произведение – размышление о жизни и смерти, о праве человека прервать жизнь другого, пусть даже самого малого существа... Это эссе – о милосердии.

И за строкой незримо встает христианская заповедь «Не убий!» – а в древней транскрипции тайноведения: «Не покушайся на жизнь единицы в физическом плане!» Заметьте – любой единицы.

Заповеди христианства все просты, и все в простоте своей трудны. К соблюдению одной из них зовет Анастасия Ивановна в своем небольшом «Насекомом». Прочтя «Насекомое», мы понимаем, что любой грех – то есть допущение в любой сфере жестокости и дисгармонии – это грех перед Творцом.

По закону подобия – в душевном смысле мы подобны животным, животные подобны нам, антропоморфны. И думается, несправедливо в предисловии к русскому переводу книги знаменитого зоолога Дж. Дарелла столь проклинается антропоморфизм. Видя в животных схожесть с человеком, порой – в лучших, высоких проявлениях, мы вовсе не смотрим на них, как на «уменьшенную копию человека». Просто в животном – его зачаточная индивидуальность уникальна именно своей первозданностью, искренностью. Об этом у Анастасии Ивановны – рассказ «Боксер Том и Черный Рыцарь». В рассказе кот – кается! – не убегает, не противится наказанию. Он понимает душою, чувствует, что наказание справедливо...

Перед нами не вымысел, быль!

У Анастасии Ивановны, даже в самых удивительных рассказах – будь они о людях или равно о животных – нет вымысла. Жизнь куда богаче любого вымысла! – говорила она. Здесь – отличие творчества Анастасии Ивановны от творчества сестры ее Марины Цветаевой, которая на крыльях

вымысла уносилась далеко от реальности и даже достигала – интуитивно – почти сверхчувственных состояний, как в «Поэме Воздуха», где поэтически описано пограничное миру иному состояние души.

И в заключение – о рассказе «Кот Дракон», пожалуй, одном из самых удивительных. Кот Дракон, обладавший столь уникальной чувствительностью, как и все остальные герои книги Анастасии Ивановны, реально существовал. Принадлежал он замечательному семейству Цомакионов, фамилия которых, по преданию, восходит к роду императора Цимисхия Византийского (Иоанн I Цимисхий – византийский император в 969-976 годах. Иоанн происходил из знатного армянского рода). Женщина-философ Марфа Викторовна Цомакион, жившая в Одессе, обладала ярким эйдосом – образным мышлением, воображением. Она была также и художником-орнаменталистом. Ее «мыслеобразы», существующие, как полагают теперь некоторые современные теоретики квантовой физики, на лептонном уровне (уровне элементарных частиц), научился улавливать ее пушистый друг. И в силу кошачьей восприимчивости он «медиумически» выполнял то, что ярко стояло перед мысленным взором хозяйки…

Все случаи с котом Драконом объясняются подобным образом. Людмила Георгиевна Цомакион, дочь Марфы Викторовны, рассказала о Драконе автору этих строк, а последний передал поразительные случаи Анастасии Ивановне, и «разгорелся» из-под пера ее рассказ, почти слово в слово – в силу феноменальной памяти автора – повторяющий непостижимые факты невыдуманных происшествий.

СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ

Вспоминается 20 апреля 1993 года. Анастасии Ивановне нездоровилось, простуда, болело горло. Бывшая у нее в гостях писательница Марина Урусова опасалась, как бы болезнь не спустилась в легкие. Я читал Анастасии Ивановне недавно написанные ею три сходные по теме небольшие новеллы. Сначала – «Драгоценный кот», о простой тряпичной игрушке из времен ее с сестрой детства, потом «Звери игрушечные» и – «Воспоминание о муфте».

Но вот «Воспоминание о муфте» мы немного подправили. В нем рефреном повторена была фраза о памяти, – «Память не прейдет, не проходит. Намять пребывает вовек. «Сначала хотели эту трехступенчатую фразу сократить, но Анастасия Ивановна передумала, решила не сокращать, сказала, сказала: – Пусть останется тройным. Пусть нагнетается!..

Потом она почувствовала усталость. Легла. Поработали немало, а наступал уже поздний вечер, Но я знал: она скоро встанет. Долго не сможет отдыхать, ее характер – устремление в долг, в жизнь.

И верно – вскоре мы с Мариной Урусовой слышим, что Анастасия Ивановна, не открывая глаз, но четко, громко говорит, точнее спрашивает:

– Ну, продолжайте об этой женщине... – Понимаем, что это она во сне, но Анастасия Ивановна, настойчиво: – Случайная встреча, а дальше?.. Эта женщина хорошая, Стасик?..

Понимаю, что ей привиделся целый диалог со мною, подхожу ближе, наклоняюсь над нею, уже проснувшейся: – Анастасия Ивановна, что Вам приснилось? Она, с силой: – Что у Вас будет ребенок! Я, изумленно: – Ребенок?..

– Да. Вы познакомились случайно с женщиной, а оказалось, это судьба и Вы рассказывали мне, что у нее родится ребенок. Я спросила у Вас, какова она и ожидала, Вы скажите

– о, это такая личность!.. Но… Вы этого не сказали. Она приподнялась на ложе, и внезапно так звонко, так юношески рассмеялась и очень добро добавила, уже обращаясь к М. Урусовой: – Он отрекся от всего! Впрочем, он не обязан следовать моему сну! Потом, помолчав, продолжала: – Я каждый факт принимаю как судьбу. Если случится, значит так должно быть. А пока не случилось, значит должно быть одиночество… Поздние встречи лучше ранних. Возьмите Глеба и Галю. (Васильевы, близкие друзья А.И. Цветаевой. – *См.А.*) Поздняя встреча, это когда кроме любви присутствует уважение и служение друг другу, а ранние встречи…

У меня много очень было прочной любви в моей жизни, но я не была ревнива, я сама ввела в дом женщину. Одно время у нас была только дружба втроем, потом – помните в моем романе, в «Amor»е – Анна, Андрей Павлович, – за те же свойства, необыкновенные, за которые я ее полюбила, Андрей Павлович влюбился в нее… – Это чума в моей жизни, а настоящее – это только Вы! – говорил он, но мне оставалось только грустно качать головой в ответ. Потом я потеряла их из вида, они бежали или уехали за границу. Слышала, будто потом они превозмогли страсть, расстались на почве религии.

А Вы, – снова обращается она ко мне, – хотите долго быть вольной птицей?..

– Пока есть возможность…

– Мудрый ответ… – сказала она.

Я всегда знал, что Анастасия Ивановна – за свободу. Одинокую свободу, прерываемую визитами родных, самостоятельную жизнь она оберегала и ценила, как пролог к творчеству, возможность думать, писать, увлекаться, познавать, не отягощаясь бытом, который в наших условиях часто губит в людях все… Анастасия Ивановна, не была белоручкой, напротив, в ней была особая, мало кому ныне свойственная

энергия служения. Она жила не для себя, для других. Внимание ее к человеку было безмерно, бывало, хватало одной ее беседы и треснувший было по швам союз двух закреплялся навек. Дар убеждения ее был поразителен. И поразительна была в ней стойкость веры... В ее комнате, близ кровати в специальном шкафу и у изголовья – иконы. И слышны далеко в ночь слова ее молитв... Сколько людей она отмолила. Скольким целительно стало ее ночное, идущее к Богу, слово.

...Анастасия Ивановна вынула градусник, который, когда она ложилась отдохнуть, дала ей Урусова. – Теперь она приняла градусник из рук Анастасии Ивановны и вздохнула облегченно, она очень волновалась, нет ли опасности – Температуры нет! – 36,6.

– Есть, – спокойно возразила Анастасия Ивановна. Моя старческая норма – 36,2. И добавила – Старость уже достаточная нагрузка, чтобы были еще болезни! – Так порой она любила высказаться афористически, и через ее парадоксы порой мерцало лукавство причудливо выраженной истины.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА: «В ЭТОЙ СТОРОНЕ КЛАДБИЩА...»

Родной сестре Марины Цветаевой, Анастасии Ивановне, 27 сентября 1992 года минуло 98 лет. Она продолжала писать автобиографическую прозу. Тем летом А.И. Цветаева побывала в Голландии, где была единственным представителем России на международной книжной ярмарке... Дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, талантливая переводчица, умершая в 1975 году, тоже оставила книгу воспоминаний «О Марине Цветаевой» (М., «Сов. писатель», 1988). Интересна ее переписка с Борисом Пастернаком.

Сложными были отношения А.С. Эфрон с родной тетей – с А.И. Цветаевой, и тому были причины.

В начале 1937 г. Ариадна Сергеевна первой вернулась в СССР. Вернулась после совместной со своим отцом, Сергеем Яковлевичем Эфроном, работы на заграничную службу НКВД, чьим фактически «филиалом» был «Союз возвращения на родину» в Париже. Она помогала отцу, а тот был секретным сотрудником НКВД, одним из организаторов «ликвидации» невозвращенцев. Годы спустя, 28 июня 1955 г. А. Эфрон напишет в Главную военную прокуратуру письмо, где упомянет о «нашей заграничной работе». («Горизонт», 1992, № 1, с. 53). После убийства Игнатия Рейса, резидента советской разведки в Европе, который в 1937 году публично порвал с режимом Сталина, Эфрон, на пароходе, который тайно вышел из французского порта не зажигая огней, бежал в СССР, где впоследствии был арестован и расстрелян. Шестнадцать лет в лагерях провела А.С. Эфрон. В тюрьме ее избивали, и она подписала «документы» на многих, в том числе и на собственного отца. Эти факты были преданы гласности в 1992 году в журнале «Столица» № 38 (96), в публикации М.И. Фейнберг, Ю. Клюкина «Дело Сергея Эфрона». Там, на с. 58, в частности, сказано: «Дочь Эфрон С.Я. – Эфрон Аридна Сергеевна, признав себя виновной в том, что является агентом французской разведки, на допросе от 27 сентября 1939 года показала о том, что ее отец, Эфрон С.Я., является агентом французской разведки: «Не желая скрыть чего либо от следствия, я должна сообщить о том, что мой отец, Эфрон Сергей Яковлевич, так же, как и я, является агентом французской разведки... об этом мне говорил сам отец Эфрон Сергей Яковлевич».

Там, во Франции, А. Эфрон два последних года до своего отъезда не жила с матерью, они резко разошлись. Не разделяла М.И. Цветаева и увлеченности дочери, сына и мужа Советской страной, о чем писала друзьям. Сестре своей,

А.И. Цветаевой, она тогда написала: «В Советский Союз едет Аля. Будь с ней осторожна. Никого она не любит, может только заиграть человека».

А.И. Цветаева говорила, что когда племянница, очарованная идеей коммунизма, приехала и стала бывать у нее, то была несколько разочарована тем, что ее родная тетя вовсе не горит идеями Ленина – Сталина и пятилеткой, а по-старинному религиозна. Но Анастасия Ивановна стала давать ей уроки английского языка. Об этом М. Цветаева писала в письме А.А. Тесковой в Прагу: «Живет она (А. Эфрон. – *Ст. А.*) у сестры С/ергея/ Я/ковлевича/ больной и лежачей, в крохотной, но отдельной комнатке, у моей сестры (лучшего знатока английского на всю Москву), учится по-английски» (2 мая 1937 г.).

По возвращении из Франции, когда семья воссоединилась, М.И. Цветаева жила с мужем, дочерью и сыном Георгием (Муром) в Болшеве, на даче НКВД.

Вряд ли Марина Ивановна вернулась бы в Советскую Россию, если бы они, родные, не скрыли от нее то, что А.И. Цветаева в 1937 году была арестована и увезена – в тюрьмы, в лагеря...

После смерти родителей и брата, после окончания «сталинской эры» и после ее собственной реабилитации А.С. Эфрон стала преданно служить делу восстановления имени своей матери. Она, видимо, чувствовала и свою вину перед ней... Если бы не «деятельность» Сергея Яковлевича в Париже, если бы не тот фатальный энтузиазм возвращения, который разделяли дочь Ариадна и сын Георгий, возможно, М.И. осталась бы в живых. Не случилось бы того, что произошло в Елабуге, о чем свидетельствует в своей книге «Охотник вверх ногами» Кирилл Хенкин, бывший чекист: «Сразу по приезде М. Цветаевой в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил «помогать». Возможно, как Хенкин предполагает, «предложили доносительство», потому что

знали – семья «увязана» с органами. Был слух, что Марине Ивановне пригрозили свободой сына. И ради сына, жертвенно, – может быть, сироту не тронут? – она ушла в смерть.

Сейчас на «могиле» М. Цветаевой в Елабуге стоит памятник розового камня с полукружием сверху. На нем та же надпись, что была на кресте, который А.И. Цветаева вместе с С.И. Каган поставили в 1960 году, но не воспроизведено начало надписи: «В этой стороне кладбища похоронена» М.И. Цветаева, ибо точное местонахождение могилы до сих пор неизвестно. На обороте памятника кто-то кистью, черной краской от руки вывел крест...

Газета «Советская Татария» публиковала в нескольких номерах переписку А.С. Эфрон с писателем В. Мустафиным, вся переписка – по поводу памятника, о том, каким он должен быть...

Сама А.С. Эфрон в Елабугу никогда не ездила. Она отговаривала А.И. Цветаеву ехать одной, все обещала, что поедут вместе. Так и не дождавшись поездки совместной, Анастасия Ивановна поехала с С.И. Каган, и тогда А.С. Эфрон написала ей: «Так знайте, там в Елабуге для меня мамы нет!..» Возможно, она чего-то боялась, так как, по свидетельству жителя Елабуги А.И. Сизова, «хоронили ее те, с набережной», то есть опять-таки сотрудники НКВД...

Трагедия судеб поэтов. Трагедия Есенина, Маяковского... Но, как это ни грустно, именно из трагического конца, из последней, одинокой «точки», поставленной в жизни, воскресают в душах людей родники сочувствия, особой бережности к памяти, к творчеству, воскресает внимание к личности, чья жизнь и чья смерть были столь трагичны, загадочны... Память о них останавливается у порога тайны конца. Для этой памяти важно все, каждая черта ушедшего, даже его «посмертье».

Письмо А.С. Эфрон – А.И. Цветаевой

12 сент/ября/ 1966

Милая Ася, пишу Вам и на Кокчетав и на Павлодар, т/ак/ к/ак/ не знаю, где Вы /м/ожет/ б/ыть/ уже в Москве, хоти вряд ли!/ Пишу Вам – наспех, чтобы скорее дошло, вот по какому поводу: совершенно случайно и стороной узнала /от знакомой, нынче, к маминому 25-летию ездившей в Елабугу, что Литфонд поручил елабугскому исполкому сделать проект нового памятника вместо установленного Вами креста. Это то же самое, как если бы поручили переделкинскому сельсовету, совершенно игнорируя семью и комиссию по лит/ературному/ наследию, заняться пастернаковским надгробием! Елабуга или точно скопировала ужасающий купеческий монумент с колонками /украсив его пятиконечной звездой/ или просто решила взять такой монумент с чьей-либо могилы, почистить его, снабдить новой надписью и установить, т/ак/ к/ак/ я считаю, что вместо установленного Вами креста может быть поставлен только крест же, только новый, и надпись Вами составленная должна быть сохранена, что никаких купеческих надгробий со «звездами» на этом /условном/ месте допускать нельзя, что в таких случаях хотя бы не посоветоваться с семьей – недопустимо, я, посоветовавшись с Евг/ енией/ Мих/айловной/, к/отор/ая сейчас в Тарусе, отправила от имени семьи, будучи убежденной в согласии всех с моим мнением, следующую телеграмму в Литфонд:

«Семья русского поэта М/арины/ И/вановнм/ Ц/ветаевой/ разрешает установить на месте ее погребения в Елабуге взамен старого установленного семьей креста новый крест деревянный, каменный или металлический с точным воспроизведением прежней надписи. Никаких иных памятников тем более без согласования проекта с семьей и в обход комиссии по литературному наследию семья Цветаевой устанавливать не разрешает». Подписи – моя, Ваша, Евг/ении/ Мих/айловны/, Инны Цв/етаевой/, Лили, Андрея, Риты, Нины.

Я думаю, что Вы не рассердитесь за то что: написала «крест, установленный семьей» вместо «сестрой» – но это для солидарности! и что поставила подписи Вашу, Андрея и Риты – т/ак/ к/ак/ убеждена в их согласии.

Я думаю – Евг/ения/ Мих/айловна/, убеждена, что и Вы согласны с тем, что на этой /условной/ могиле должен быть только крест, /как его поставили Вы/; что – если другой памятник, /как-то вмещающий в себя символы креста непременно/, то он должен быть сделан настоящим скульптором, скромно, строго, как подобает. Списаться же с Вами предварительно не успела, т/ак/ к/ак/ надо было действовать быстро, чтобы уже утвержденный Литф/ондовский/ нелепый проект обезопасить.

Евг/ения/ Мих/айловна/ пытается навести порядок в Валерином доме. Там немыслимый хаос, грязь и запустение; я, зайдя впервые за 10 лет, ничего не узнала… Между похоронами В/алерии И/вановны и уездом Е/вгении М/ихайловны/ дед сторож выкрал и вынес все, что только мог унести, т/оесть/ обчистил как «профессиональный» вор, каков он и есть. Е/вгении/ М/ихайловне/ не «вещей жалко, а – обидно, что и так одарила выше головы… Е/вгения/ М/ихайловна/ перевезла сюда и тот ореховый шкаф, о котором Вы писали, и вообще всю старинную Валерину мебель, в том числе плетеное кресло И/вана/ В/ладимировича/ Цв/етаева/, так что гнездо остается. Архив В/алерии/ И/вановны/ – в музее у Демской, то, что относится к работе ее студии – в училище цирка и эстрады, где все было принято с восторгом и пойдет в дело; Бахрушинский музей не взял. Вообще ни одной «бумажки» не выкинула – молодец. Я из всего «наследства» попросила себе итальянские ослиные бусы, когда-то привезенные Иваном Владимировичем, не знавшим, что – ослиные.

Как Рита? Ее и Ваше здоровье? Как Ваши трудные хлопоты вокруг нее? Непонятные мне времена, когда бабушки о взрослых внучках пекутся, а не наоборот!

Маринину годовщину провела в сосновом кафедральном лесу. День был чудесный; а в ночь на 31 авг/уста/ неожиданный и единственный мороз. У нас все цветы.

Крепко целую Ваша Аля.

Комментарии

Е. М. Цветаева, жена Андрея Ивановича Цветаева, брата сестер Цветаевых по первому браку отца.

Инна Андреевна Цветаева, дочь А.И. Цветаева и Е.М. Цветаевой.

Лилия – Е.Я. Эфрон, сестра С.Я. Эфрона.

Кот – Константин Эфрон, племянник С.Я. Эфрона.

Андрей – А.Б. Трухачев, сын А.И. Цветаевой.

Рита – М.А. Мещерская, дочь А.Б. Трухачева.

Нина – Н.А. Трухачева, жена А.Б. Трухачева.

Валерия – старшая сестра Марины и Анастасии Цветаевых от первого брака их отца, И.В. Цветаева.

А. А. Демская – заведующая отделом рукописей, хранитель в музее ГМИИ им. А. Пушкина.

МИР СВЕТА И ЛЕГКИХ КРЫЛЬЕВ

Когда Анастасия Ивановна Цветаева уже находилась на девяносто девятом году жизни, она была с нами; мы, встречаясь с нею, пожимали ее полупрозрачную, но все еще сильную руку. До своего столетия она хотела дожить, у нее даже был своеобразный задор в отношении этой даты, – ведь в 70 – она каталась на коньках, в 80 – написала стихотворение, посвященное «окончательному совершеннолетию», в 90 – с легкостью девочки взбегала в Коктебеле на смотровую высокую башню над Домом-музеем М. Волошина, а в 98 – одна представляла в Амстердаме Россию на Международной женской книжной ярмарке. Выступала, читала на английском, по-старинному звучащем языке, участникам ярмарки свои стихи.

Она гордилась тем, что на высоте нескольких тысяч метров над землей, по дороге в Голландию, в облаках, в самолете подняла – за жизнь! – бокал вина…

В ней было много солнечной легкости, солнечной оттого, что – духовной. И много было сил. Силы с годами, конечно, убывали, но их источник – Свет Личности не угасал до последних дней и не угас до сих пор, просто не перенесся в мир света и легких крыльев. В этот Иной мир она со зрелых лет твердо и преданно верила, почитала святых и праведников, молилась горячо за грешников, молитвою возвращала на путь добра ушедших с этого пути…

Если бы не смерть Андрея Борисовича Трухачева, ее сына, умершего внезапно, – ведь он в свои 80 выглядел внешне едва на 60, – возможно, она была бы еще долго с нами. Увела ее именно скорбь о сыне – за несколько дней до его внезапной кончины я слышал, как она говорила по телефону; «Ну что ты, Андреюшка, я вовсе не хочу тебя пережить!..».

Потом тоску по сыну она преодолевала тем, что страницы жизни его оживляла пером – писала рукопись воспоминаний о своем первенце – все, что помнила ценного, характерного. Но вот эта рукопись была закончена, и… порвалась нить. Силы стали как-то плавно иссякать. Пружина молчаливого горя окончательно развернулась в последнюю болезнь. Но и тут она не сдавалась, все же пыталась бороться. Оборение! Мощь внутреннего света. Покаянность. Искренность. Обет никогда не лгать. Неимоверная душевная тонкость, слух на человека, на тончайшие, неслышные почти непосвященному струны его души. И – талант передать потом пережитое «тонко растертой пылью слов…». Когда уже не могла писать – диктовала. Силилась вспомнить важное, недосказанное, то, что нужно было оставить на земле… Когда же Анастасия Ивановна покинула нас, ее лик во гробе был похож на скульптурное, резкое изображение древней славянской святой. И когда ее

хоронили в семейной усыпальнице, в могиле бабушки на Ваганьковском кладбище, вопреки физическим законам природы, при ярком солнце, именно над ее могилой небо чудесно прослезилось, дождь пошел, окропив лишь малый участок земли, где засыпали свежевырытую могилу. Говорят, так бывает, когда хоронят праведников. Многие, в ком не закрыты глаза души, помнят и чтят этот день Цветаевой-последней…

ПОСЛЕДНЕЕ О А.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Анастасия Ивановна не дожила всего двух недель до своего 99-летия. Скончалась 5-го сентября 1993 года, днем. Смерти она не боялась, не верила, что все кончится, погаснет. Хотела уйти легко, всех простив и у всех испросив прощения. У нее есть строка: «Из мрака тела в Дух, — где тихо и светло…».

Это была личность, уверенная в своем слове и деле, решительная, глубокая и темпераментная. Средоточие ее находилось вне литературы, проявляясь в христианском отношении к ближнему — в сострадании, самоотречении, в способности к покаянию. В сердце ее хранилось много любви, оттого она умела по-настоящему радоваться жизни, увлекаться, ценить по достоинству высокое не только в искусствах, но и во всем живом…

Даже на последнем году жизни Анастасия Ивановна каждый день перед сном читала молитву на четырех языках — английском, немецком, французском и родном русском, как бы этим соединяясь с христианами во всем мире.

С уходом Анастасии Ивановны Цветаевой мы потеряли творческую личность большого, христианского (в зрелый период) по сути своей дарования. Да будет спасена талантливая ее душа, пусть оправдается сокровенный смысл ее имени — ведь Анастасия по-гречески значит Воскресшая…

А. ВИНОГРАДОВ

А.К. ВИНОГРАДОВ – ЛИТЕРАТУРОВЕД И ПИСАТЕЛЬ...

Виднейшим представителем историко-биографического жанра советской литературы 1930-ых годов был писатель, литературовед, библиограф и переводчик Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888-1946).

Родился Анатолий Корнелиевич 28 марта 1888, в селе Полотняный Завод Медынского уезда Калужской губернии, в имении Гончаровых, где учительствовал его отец. В 1890 году семья переехала в Тарусу, потом оттуда – в Москву. После окончания в 1906 1-й Московской гимназии А. Виноградов поступил в Московский императорский университет, который закончил в 1908 по физико-математическому факультету, а в 1912 году по историко-филологическому со степенью кандидата. Во время Первой мировой войны служил санитаром 6-го эскадрона Павлоградского гусарского полка 2-й кавалерийской дивизии 5-й армии. В 1917 уволен из армии в 1917 году. Вернувшись после контузии, с 1918 г., вновь посвятил себя работе в Румянцевском музее, где был внештатным младшим помощником библиотекаря с 1906 года, в штате на той же должности, с 1912 го, ученым секретарем (1918-21) и директором (1921-24).

Известный роман А. Виноградова «Три цвета времени» (1931) отправляет читателей в увлекательное путешествие по жизни французского романиста Анри Бейля-Стендаля. Следуя за главным героем, замедляем движение у причалов

его привязанностей, встречаемся с легендарными романтиками, с известными «остроумцами», с целой портретной галереей исторических и вымышленных действующих лиц. Редактировал «Три цвета времени» и писал предисловие к первому изданию книги А.М. Горький, с которым А. Виноградов переписывался, их переписка посмертно была опубликована в журнале «Знамя» в 1968 году.

1930-ые годы – наиболее творчески-плодотворное время жизни А.К. Виноградова. Он создал «Повесть о братьях Тургеневых» (1932). В этом произведении писатель показал судьбы декабриста Николая Тургенева и его брата Александра, художественно воплотил свои оригинальные взгляды на факты связей декабризма с масонством и большой европейской Карбонадой. Потом увидела свет историческая повесть «Черный консул» (1933) о колониальном восстании, где рассказывается о приключениях Туссена Лувертюра, предводителя негров-рабов на острове Гаити в эпоху Французской революции. Назовем и исторический очерк «Шейх Мансур» (1934).

В опубликованном впервые в 1936 году романе «Осуждение Паганини» Анатолий Виноградов изобразил резкими, трагическими красками жизнь и страдания гениального итальянского скрипача и композитора. Роман этот представляет собою видоизмененное воплощение замысла, положенного в основу ранней незавершенной повести «Девочка со скрипкой или тайна графини Орфинской». Тогда же была опубликована книга о Байроне (1936), далее — монография о герое «Трех цветов времени» — «Стендаль и его время» (1938).

А. Виноградов – не только писатель-беллетрист, но и ученый-филолог. Он автор исследования «Мериме в письмах к Соболевскому» (1928). С. Соболевский, блестящий представитель русского дворянской интеллигенции был «другом литературы», «организатором контактов разнообразных литера-

турных школ». В книге проанализированы документы архива Соболевского, найденные и опубликованные Виноградовым. Работа эта, несмотря на некоторые спорные моменты, в ней содержащиеся, вошла в историю исследований литературных связей России и Западной Европы. Академик Е.В. Тарле писал в Экспертную комиссию при СНК СССР по поводу «Мериме в письмах к Соболевскому»: «А.К. Виноградов обнаружил не только обширнейшую эрудицию, не только привлек самые разнообразные материалы, но и с замечательной чуткостью, тонкостью и пониманием воскресил перед читателем целую эпоху культурной истории первых двух третей XIX века...». Книга эта была премирована центральной экспертной комиссией при Совнаркоме, протокол подписал будущий тогда первый вице-президент Академии наук, О.В. Шмидт.

В 1920-е годы Виноградов работал над проблемами поэтики и истории литературы. В I923 году А. Виноградов перевёл и издал объёмный том миниатюрных творений Стендаля «Новеллы, хроники, эпизоды», приложением вышло серьёзное исследование, изданное вскоре самостоятельно под заглавием «Фредерик Стендаль, автор новелл и хроник». В исследовании помимо биографических подробностей, разбираются стилистические особенности манеры Стендаля-писателя. Оно не потеряло познавательной и научной ценности до наших дней. Один за другим выходили в свет художественные переводы произведений классиков французской литературы, сделанные Виноградовым при помощи и участии его жены, Елены Всеволовны Виноградовой. (В браке они были с 25 июля 1920 г.). Он опубликовал немало научных статей, посвященных Стендалю, Мериме, А. и Н. Тургеневым. Две его статьи «Три русские встречи Стендаля» (1928) и «Мерине и русский язык» (1927) вышли в Париже, знакомя французских читателей с достижениями русского литературоведения.

С 1928 года Анатолий Виноградов работал в «Государственном издательстве художественной литературы» «редактором по классикам», был причастен к выпуску многих

книг. Здесь, на издательском поприще, как и раньше в библиотеке, отстаивал, как ему казалось, общие интересы, но... отношения с сотрудниками не сложились и Виноградов ушел в апреле 1930 года из Госиздата. До октября 1931-ого числился в известном издательстве «Academia» но и его покинул ради самостоятельной творческой работы и нового витка биографии.

Издательство Академии наук СССР опубликовало в 1937 году своеобразное продолжение книги «Мериме в письмах к Соболевскому» под названием «Мериме в письмах к Дубенской. Письма семье Лагренэ». В большой ценной публикации, следующей после вступительной статьи А. Виноградова, мы находим прокомментированную переписку французского писателя с его приятельницей, В.И. Дубенской, преподававшей ему русский язык, и несколько писем членам ее семьи – мужу, господину Теодозу де Лагренэ и дочери, Ольге Лагрене. В ней повествуется о выдающихся лицах литературы России и Европы.

Еще в 1932 году Виноградов «оторвался от земли» – поступил в военно-воздушный флот СССР. Ему было сорок пять лет, когда он окончил курс летной школы в Ейске. Он пишет об этом в автобиографии: «В 1934 году я по специальному распоряжению Наркома обороны, Первого Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова прошел курсы военного летчика-наблюдателя и практику строевой службы в действующей части». Через несколько лет стал штурманом военной авиации. «Я бесконечно рад той работе, которая выпала мне на долю», – писал он жене из воинской части. Служа в военно-воздушном флоте, он продолжал заниматься литературным трудом. Опубликовал в 1941 году «Хронику Малевинских», где на материале судьбы гения химии Дмитрия Менделеева и его современников попытался осмыслить ход истории. Роман это подвергся шквалу грубой, резкой критики от недоброжелателей, которых в писательской среде было

немало не в последнюю очередь из-за резкости характера и прямоты самого Анатолия Корнелиевича. В военной, лётной, более нравственно здоровой среде, чем московская писательская, ему было выживать, конечно, несколько проще. О травле, устроенной ему писателями, А. Виноградов написал в сохранившемся в РГАЛИ письме, адресованном И.В. Сталину от 23 июля 1935 года, оно начинается так. «Дорогой товарищ СТАЛИН. Если бы речь шла не о гибели советского писателя Виноградова Анатолия Корнелиевича, которого теперь только Вы можете вернуть к жизни, то этого письма не было бы. Как гражданин, писатель, отец хороших детей и единственный кормилец большой семьи, живущий только литературным трудом, я нахожусь в совершенно безвыходном положении. Я затравлен. Я прошу спасти меня от клеветы и преследований. Я не бездарность, я не «классовый враг...»». Мы не знаем, было ли отослано это письмо... Но некоторая параллель с биографией совсем другого московского писателя, М.И. Булгакова, напрашивается сама собой...

Во время Великой Отечественной войны А.К. Виноградов был в действующей армии, писал статьи и очерки, их печатали центральные и фронтовые газеты, такие, например, как «Красный сокол». Но он не хотел быть «временно допущенным к авиации», желал офицерской должности и настоящих дел. В качестве военного корреспондента участвовал в боевых вылетах в тыл врага. Существует малая и ныне забытая брошюрка. Название ее – «Бандит Гитлер», в ней под общей обложкой объединены обличительные статьи А. Виноградова и его приятеля, корреспондента и собрата по историко-биографическому жанру, писателя Александра Дейча.

Войну Анатолии Корнелиевич окончил в звании гвардии подполковника. Но силы были подорваны: гибель 5 августа 1942 г. на фронте любимого сына Юрия, невыполненные во время войны обязательства по творческим договорам с издательствами, неудачи в личной жизни, надвигающиеся

болезни, депрессии, пагубные пристрастия и, наконец, вынужденный, по возрасту, уход из армии, предопределили трагический уход из жизни. 26 ноября 1946 года писатель покончил с собой, перед смертью стрелял во вторую жену и ранил сына Адриана. К тому времени писатель находился уже в браке с Анной Михайловной Лебле. От этого брака у него также был сын Клемент, названный в честь К.Е. Ворошилова, родившийся 3 января 1945 года. В 1947 году архив писателя «от Анны Михайловны Виноградовой» поступил в ЦГАЛИ. В 1949-ом еще часть архива была передана от Союза советских писателей.

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ – РАННИЕ ГОДЫ

«Три цвета времени», «Осуждение Паганини», «Черный консул» – эти романы в советское время были очень известны, популярны, читаемы, даже были дни до войны, когда за ними, как за новинками, выстраивались очереди в библиотеках. Их автор – Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888-1946). О нем опубликованы статьи в Большой советской и литературной энциклопедиях. Рукописи писателя хранит Российский государственный архив литературы и искусства.

Родина Анатолия Виноградова – село Полотняный завод, имение Гончаровых, тех самых, «пушкинских» Гончаровых, к которым, в родовую вотчину жены, дважды приезжал великий поэт. Но не только «географически» связано начало жизни Виноградова с пушкинскими местами, связь эта прочнее. Его крестной матерью была родная племянница Н.Н. Пушкиной-Ланской – Екатерина Дмитриевна Гончарова.

Е.Д. Гончарова – одна из первых русских женщин-врачей, общественница, пацифистка, участница Рейнского конгресса 1867 года. Она близко дружила с Н.Н. Виноградовой, матерью будущего писателя и на семью Виноградовых оказала большое влияние – особенно в то время, когда отец Анатолия

Корнелиевича, Корнелий Никитич Виноградов учительствовал в полотнянозаводской школе. «Память об этой замечательной женщине – писал Виноградов в одной из поздних своих автобиографий, – является для меня одним из самых дорогих воспоминаний прошлого».

По ходатайству семьи Гончаровых К.Н. Виноградов получил в 1893 году перевод в земскую школу Тарусы, города на берегах Оки. Не тихой ли и возвышенной красотою тарусской природы очарована была душа мальчика, который – «обладал такой яркой свежестью мироощущения, несмотря на голодуху в семье, таким беспредельным запасом свежих сил, что все кругом, весь мир казался ему собственностью и неистощимым запасом для утоления любопытства» (Из письма А. Виноградова – М. Горькому от 24 февраля 1928 г.).

Из Тарусы Виноградовы перебрались в Москву, чтобы дать детям, Анатолию и Нине хорошее образование. Мать Анатолия, Надежда Николаевна, с детства прививала сыну любовь к литературе, по приезде в Москву стала приучать к посещениям библиотек и музеев, она же провела необходимую домашнюю подготовку – для поступления в гимназию.

Учиться он начал во 2-ой мужской прогимназии на Якиманке, а через год перешел в 1-ую московскую мужскую гимназию вслед за отцом, получившим там место учителя и должность воспитателя. Трудно жилось первое время в Москве на скромное учительское жалование. Квартира – в подвальном этаже дома в Бабьегородском переулке. Ее ежегодно заливало москворецким разливом и Виноградовы на это время перебирались к друзьям или ночевали на верхней лестничной площадке. На лето выезжали в Тарусу. В гимназии, где Анатолий учился, была принята старая классическая программа с полным курсом греческого языка, с удвоенным количеством уроков латинского, с телесными наказаниями, с карцером.

Помимо гимназических занятий, Анатолий обучался искусству препарирования у известного ученого-орнитолога

Федора Карловича Лоренца. Это – его первые шаги в естественнонаучную область.

Анатолий был подростком самостоятельным. Да и родители, видимо, не стесняли его желания попутешествовать. Ему не приходилось тайно бежать из дома в Америку, как героям чеховского рассказа «Мальчики». Он дважды в летнее время уезжал на Черное море. Поступал на корабли юнгой. Лето пятнадцатилетия Анатолий провел на берегах Ледовитого океана. Там он оказался в составе научной экспедиции приват-доцента харьковского университета А.В. Шидловского. При экспедиции исполнял обязанности мальчика-препаратора. Путешествие 1903 года Анатолий описал в путевых заметках – «От Кандалакши до Колы».

«...Кругом ни тропинки ни дороги, ни одного человеческого следа. И ни один звук не проходит в эту постоянную полутьму леса. Только слабая трель зяблика тоскливо раздается в его таинственной тишине, да изредка подымается куропатка. Но когда налетит ветер, набегут тучи и по вершинам гор поползет холодный туман, тогда загудит вихрь в ущельях и в пропасти посыплются, как песок, гранитные обломки и камни. Тогда зашумит под резкими порывами ветра темная хвоя сосен, елей, затрещат под страшным напором молодые пихты, заволнуется могучая гладь Имандры и пойдет синий взводень с белыми барашками, ударяясь о скалы и пенясь и разбиваясь в брызги и вновь ударяясь. Словно... горный дух в гневе хочет разорвать тучи, снести леса и раздробить скалы. И вот опять покой, опять сон и безмолвие, опять тот же суровый северный пейзаж!.. (ЦГАЛИ, Ф. 1303, № 219, с. 27-28.)

Но не только описания природы, в которых чувствуется перо будущего писателя, волнуют в путевых заметках юного путешественника: «...Мне преграждает дорогу утес. Взбираюсь на него и иду дальше. Вот, думаю, если оборваться немного сейчас, то и готово – прямо в море. Уцепиться не за

что, голый гранит, скользкий, мокрый от непрекращающегося дождя. Только что это подумалось – нога поскользнулась, ружье выпало и я стремительно покатился по выпуклому гладкому склону. Единственно что меня спасло, так это кустик можжевельника, о который я продрал руки и повис на нем.

Кое-как поставил я ногу в ямку, потом с грехом пополам немного дальше другую и выпрыгнул. Оглянулся и посмотрел вниз; прозрачная морская вода, в ней продолжается крутой, почти вертикальный спуск и исчезает в черной бездне. Я отделался только двумя патронами, которые утопил». (Там же, с. 99).

Кроме «заметок» сохранился еще дневник путешествия, где подробнее описаны перехода от стоянки к стоянке и по пути встреченные – растения, птицы, местные жители прибеломорского края. Сквозь трудности и смертельную усталость пеших переходов все же пробивается очарованность северной первозданностью природы.

Часть экспедиции во главе с ее руководителем Шидловским, погибла в море у Айновых островов. Потом нашли только щепки от суденышка – «карбаса», да парус... Анатолия не было в лодке, он не поехал туда, откуда не возвратился никто... Но у него были предчувствия, даже «странное видение» от усталости, о котором он решил никому не говорить, побоялся, что его сочтут «сумасшедшим». Только позже он записал в дневнике; «Значит утром 28-го я получил какое-то предупреждение. Или это усталость? Я не верю в видения».

Потом Анатолий через Норвегию «без паспорта и почти без денег» возвратился домой, в Россию.

В сохранившуюся его ученическую тетрадь вписаны два стихотворения. Под одним из них дата – 23 июня и надпись, свидетельствовавшая о том, что юного поэта вдохновляло «Побережье Ледовитого океана». Вот это стихотворение,

написанное не без некоторого влияния царившего в те годы в русской поэзии К. Бальмонта:

Романтический закат

Догорает закат, и в последних лучах
Чайка белыя крылья купает
И в последних лучах, в бледно-розовых снах
Океан голубой засыпает.

Тишина и покой. Лишь волна за волной
На песчаный откос набегает;
Нежным всплеском полна, в белой пене она
Пламя алой зари отражает.

Где-то там, в синеве, в лучезарной дали,
Парусами на солнце сверкая,
Окрыленная шхуна от сонной земли
В бесконечную даль убегает.

А.К. Виноградов считал началом своей литературной деятельности 1905 год. Но Виноградов, когда упоминает об этой «точке отсчета», скорее всего имеет в виду не свои ранние стихотворения, не путевые заметки, а первые переводы из Мицкевича, которые, как он пишет в автобиографии, «вышли нелегальным порядком».

К числу этих переводов относится прежде всего посвящение Адама Мицкевича «Друзьям в России». Подписанное переводчиком — «Анатолий Виноградов. Пер. 1905 года», оно вошло в книгу «Избранных произведений» Мицкевича, изданную Госиздатом уже в 1929 году со вступительными статьями А.В. Луначарского и А.К. Виноградова.

Адам Мицкевич
Дорога в Россию.
Приложение к третьей части «Дзядов» (1833).
Посвящение. Друзьям в России.

Забыт ли я вами? Когда пробежит вереница
Поляков казненных, погибших в тюрьме и в изгнаньи,
И ваши встают предо мной чужеземные лица,
И образам вашим дарю я любовь и вниманье.

Где все вы теперь? Посылаю позор и проклятье
Народам, предавшим пророков своих избиенью…
Рылеев, которого братски я принял в объятья,
Жестокою казнью казнен по цареву веленью.

Бестужев, который как друг мне протягивал руку,
Тот воин, которому жребий поэта дарован,
В сибирский рудник, обреченный на долгую муку
С поляками вместе, он сослан и к тачке прикован.

С иными страшнейшее горе, быть может, случилось,
Иному тягчайшая послана кара от бога:
Продав свою вольную душу за царскую милость,
Поклон за поклоном у царского бьет он порога.

Продажною речью он царские славит успехи,
В угоду царю, проклинаемый, в нашей отчизне,
Быть может, он вновь проливает кровавые реки
И хвалится мукой друзей, уходящих из жизни.

О, пусть эта песнь из страны, где свободны народы,
До вас донесется на льдистые ваши равнины,
Да будет она провозвестницей вашей свободы,
Как вестником вешней поры — перелет журавлиный.

Мой голос узнайте! Пока, извиваясь в оковах
Змеей молчаливой, я тихим казался тирану,
Лишь вам рассказал я о чувствах моих тайниковых,
От вас простоты голубиной скрывать я не стану.

Мой кубок, наполненный ядом, теперь опрокинут
И гневом палящим полно мое горькое слово:
В нем слезы отчизны кровавым потоком нахлынут
И пусть прожигают.., не вас, но лишь ваши оковы.

А если иной мне ответит словами укора,
То будет он мною приравнен к собаке трусливой,
Привыкшей ошейник железный носить терпеливо,
Кусающей руку, расторгшую цепи позора.

Революционный пафос, заключенный в строфах Мицкевича, был созвучен времени, когда Виноградов сделал перевод. 1905 год прошел по Российской империи стачками, забастовками, кровью 9 января, шквалом Декабрьского вооруженного восстания.

События повернули гимназистов старших классов «лицом» к политике. В Первой московской мужской гимназии создался литературно-политический кружок, в котором обсуждались и изучались памятники мировой литературы и книги по марксизму. Анатолий принимал участие в этом кружке.

Когда восстание в Москве было подавлено, и началась пора столыпинского «умиротворения», семья учителя Виноградова укрывала бежавших из тюрьмы рабочих, оказывала денежную помощь заключенным революционерам.

Отец Анатолий был заподозрен. До окружного начальства дошли сведения, что К.Н. Виноградов замечен в политически-вредных высказываниях. Прямыми доказательствами инспекция не располагала, но Корнелия Никитича все же лишили прав преподавания, под тем предлогом; что он, не имея университетского диплома, служит учителем средней школы. Тогда учитель заявил окружному инспектору, что: «Приобретение университетского диплома не представляет для него никакой трудности». Инспектор потребовал письменного подтверждения этой фразы. И К.Н. Виноградов имел смелость предстать перед Государственной испытательной комиссией; он не только блестяще выдержал экзамен, получил диплом I степени, но единодушно был избран членом Математического общества при Московском университете. Только в гимназию Корнелий Никитич не вернулся, место его было потеряно, а стал помогать Надежде Николаевне, исходатайствовавшей право открыть частную приготовительную школу…

Каким осознавал себя Анатолий в те ранние его годы? Вот маленькая, пожелтевшая фотография – любительская,

начала века. На ней – подросток в сапогах, в шляпе, с охотничьим ружьем. И надпись на обороте, бисерным почерком, знакомым по дневнику путешествия, по путевым заметкам: «Анатолий Виноградов, род. 1888-го 20 марта. Умер – ? Еще не умер. Не спеши. Характеризуется суммою следующих признаков: 1) Сам себя не знает. 2) Не знает, чем интересуется. 3) Отсутствием способности работать. 4) Ленью. Ожидает от себя очень многого, но это от незнания самого себя. 5) Считает себя более чем обыкновенным, по неопытности. 6) Что бы он ни делал, у него ничего не выходит. 7) Все его работы не окончены. 8) Небольшой недостаток умственной способности. Общая характеристика: малый славный, но бездельник и надоедлив» (ЦГАЛИ, Ф. 1303, № 1315, л.16).

В записи этой самокритичность борется с юношеской лукавой самоуверенностью. Тогда – было время его юности, уже начинающей обо многом задумываться, но еще – бесшабашной, которая – и за книгой в библиотеке Румянцевского музея, и – в кулачных боях на льду Москвы-реки.

ГОДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ

Окончив в 1906 году гимназию, А. Виноградов поступил, идя по стопам отца, на физико-математический факультет Московского университета. Ко времени зачисления Анатолия студентом, факультет физико-математический считался одним из самих сильных в Университете. Там занятия вели преимущественно профессора, многие из них – с мировым именем: Н.Я. Умов, П.Н. Лебедев, Н.Д. Зелинский и др. Два академических года А. Виноградов учился на естественном отделении. Сдав экзамены за восемь семестров и «чувствуя себя достаточно подготовленным в области точных наук», он изменил направление образования – в 1908 году поступил на философское отделение историко-филологического факультета.

При всей широте образования, получаемого студентами историко-филологического факультета, основное направление преподавания на философском отделении было религиозно-философским.

На кафедре философии главенствовали профессора – Лопатин и два брата, князья Трубецкие, С.Н. и Е.Н., принадлежавшие к школе Владимира Соловьева. О Вл. Сольвьеве, известном русском философе-идеалисте, красноречиво сказано было во 2 номере журнала «Заветы» за 1914 год: «Трудно было не поддаться чарующему обаянию его в даль устремленной мысли, его волнующей писательской речи. Соглашались немногие, прислушивались почти все». (с. 2). Неудивительно, что студенческая курсовая работа А. Виноградова, хранящаяся в РГАЛИ, называется «Обоснование этики по Вл. Соловьеву». Религиозно-мистическое учение Вл. Соловьева, философа и поэта, имело большое влияние на русскую дореволюционную культуру.

Особенно увлекались спиритуалистикой Соловьева «младосимволисты» А. Блок, А. Белый, С. Соловьев – племянник Владимира, двоюродный брат А. Блока, близкий друг А. Белого и... А. Виноградова.

Сергей Соловьев с Анатолием Виноградовым учились в университете на одном факультете. Только С. Соловьев – не на философском, а на классическом отделении и был старше Виноградова на курс. Еще студентом он выпустил свои первые поэтические книги «Цветы и ладан» (1907) и «вторую книгу стихов» – «Апрель» (1910). В «Апреле» среди стихов, написанных в 1906-1909 годах А. Виноградову посвящено мрачноватое стихотворение «Иоанн Грозный».

Не остался в долгу перед Соловьевым Виноградов. Обращением к «другу, неизменно любимому, Сергию сердцу любезному», открывается его большая, в рукописи сохранившаяся поэма «Век Сатурна». Эта «филологическая» поэма относится к 1910-1911 годам. Она написана античным

размером, но в ней, несмотря на тяжеловесную «антику» рифмы, изображены не деяния греков и римлян, а живые, уютные картины лета в Тарусе, красоты русской природы, таинства тарусской старины.

Еще больше, чем с С. Соловьевым, Виноградов дружил с поэтом Юрием Сидоровым. Юрий Сидоров, по мнению Андрея Белого, был «человеком замечательным». «Эти люди нужнее многих прекрасных книг, те, кто помнит Сидорова, знают, что унес он с собой; он унес с собой редчайший дар, который делает человека знаменосцем целого течения...» – писал А. Белый в предисловии к посмертно изданному «Альционой» сборнику «Стихотворений» поэта. Были еще в сборнике предисловия Б. Садовского и С. Соловьева.

Совсем молодым, 22 лет, после недолгой болезни умер Ю. Сидоров. С его смертью записные книжки Виноградова наполнились записями отчаянными, говорящими о том, как глубоко Анатолий переживал смерть друга: «Никто в мире не был мне так близок, как Юра. С ним я не был одинок. Теперь нет его...» Чувство скорби доходит до апогея: «Избави мя, Господи, от искушения пойти за Юрушкой» – записывает он.

А. Виноградов в 1909 году переживает глубокий душевный кризис. Каждое воспоминание о друге он наполняет особым смыслом. Ему кажется, что уход из жизни «Юрушки» имел мистическую окраску.

Его посещают болезненные сновидения, в которых является умерший друг. В одном из снов ему привиделось, что Андрей Белый и Сергей Соловьев непонимающе и даже издевательски отнеслись к его горю. Тем не менее Виноградов сделал попытку сблизиться с Андреем Белым – Борисом Николаевичем Бугаевым. Но когда он пришел к нему в назначенный час помянуть вместе покойного Сидорова, А. Белого не оказалось дома. И А. Виноградов послал 12 мая 1909 года

Белому письмо, в котором написал о том, что «посещение было последней попыткой к сближению» и заверяет, что оно «никогда не повторится».

Ю. Сидоров и А. Виноградов, настроенные мистически, были серьезно увлечены «апокалиптическим» христианством Дм. Мережковского. Поэт Борис Садовский, решительно не принимавший учения Мережковского, писал во вступительной статье к посмертной книге Сидорова: «В мае 1908 г. встретившись с Юрием проездом через Москву, я заметил в нем необычайную нервную напряженность в соединении с какою-то странною переменой, к которой я не имел времени присмотреться. Увлечение идеями Мережковского достигло в нем в ту пору наибольших пределов. На личности Мережковского сосредоточились все надежды Юрия до самых последних месяцев его жизни», Ю. Сидоров перед смертью на слова матери: «вот выздоровеешь, будешь жить», ответил: «Как я могу жить: сейчас приходил Антихрист и меня убил».

Ужаснули Виноградова эти слова об Антихристе. Обреченными предтечами осознал Анатолий себя и своего погибшего друга. Он заносит бисерным почерком в записную книжку: «Мы дело говорим и положение наше серьезно и ответственно и опасно; что имя Гоголя воистину обязывает, это лучше всего показывает Юра своею смертью...» К чему «обязывает» имя Гоголя, разъясняет С. Соловьев в своем предисловии все к тем же, упомянутым уже, «Стихотворениям» Ю. Сидорова: «Гоголь являлся для него носителем христианского, аскетического начала, Пушкин – идеала языческого. Борьба Гоголя и Пушкина в современной поэзии является для проникнутого Мережковским сознания Сидорова чем-то вроде борьбы «Христа и Антихриста».

Виноградов встречался с Мережковским: «Во второй день по смерти Юры я был в теснейшей связи с Мережковским. Только в этот день я был ему так близок, ибо говорилось и думалось о смерти, а Мережковский знает, что он и все, что

идет за ним, умирает... «Дерзновенны наши речи / И на смерть осуждены / Слишком ранние предтечи / Слишком медленной весны». Строки из известного стихотворения Д. Мережковского, обретают в записи А. Виноградова невольную «обращенность» к кончине В. Сидорова. И смерть молодого, не успевшего себя широко проявить поэта, становится для нас символом декаданса, быстро расцветшего, быстро угасшего...

Но вскоре А. Виноградов усомнился в своем кумире, авторе «Христа и Антихриста». И уже в запальчивом тоне, с осуждением обращается он к Мережковскому: «Вы имеете что-то, что Вы очевидно именуете сошествием на Вас Святого Духа и присутствием господа Иисуса Христа. Но тогда где ручательство, что то, Вас осеняющее, не есть от Антихриста? Вы сами знаете это не безусловно и не твердо. Как же вы нас влечете, во имя какой реальности? К каким берегам нас зовете?

Раскрыл бы я все это. Смерть моего друга очень побуждает меня крикнуть: «Слово и Дело». Но подождем.» (ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 296, Зап. кн. I, л. 22).

Итак, в «апостоле» заподозрен «Антихрист». Где же «Христос»?

Тогда было время подобных вопросов, время богостроительства, время богоискательства... Не только. А. Виноградов искал «духовных учителей». Вся интеллигенция была в поиске пути, который бы вывел из тупика, определил смысл жизни, деятельности. Людей обуревала мечта об изменении мира и себя — это и было предчувствие перелома, предчувствие, так причудливо отразившееся в художественной литературе.

ВСТРЕЧА СО ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ

Выяснить вопросы наболевшие, камнем на сердце лежащие, А. Виноградов отправляется... в Ясную Поляну. У Льва Толстого захотел он найти истину, которую многие

другие искали у Н. Бердяева, В. Розанова, Ф. Ницше, Р. Штейнера...

27 февраля 1909 года Душан Маковицкий, автор «Яснополянских записок» сделал в своей хронике такую запись:

«Л.Н. спал хорошо; утром гулял. После полудня был у него московский студент, говорил час о вере».

Д. Маковицкий не записал имени молодого человека. Мало ли молодежи посещало Льва Николаевича, писало ему...

Встрече Виноградова с Толстым предшествовало письмо студента-философа яснополянскому мыслителю; «...может менее, чем кто иной, смею беспокоить Вас, но не праздное меня зовет к Вам любопытство; не дерзнул бы я идти к Вам, но умер спутник мой и скорбь меня побуждает...» (Государственный музей Толстого (ГМТ), Отдел рукописей, № 68327).

Прочтя письмо, Толстой принял Виноградова.

«26 февраля 1909 года. Ясная Поляна. Спор с Гусевым[1] бесплодный. Ему хорошо, а мне каково? Л.Н. Вошел в прихожую. Шаркает ногами и говорит: «где молод чщеловек? Слышу через дверь, снимает калоши. Вошел в черной блузе, в сапогах порыжелых. Глаза светло-синие, лицо потемневшее красно от мороза, серые волосы. Горбится. Поздоровался. «Помогу чем умею. Каждый сам себе помочь должен. Так ведь?» – и засунул руки за пояс. Засим просил остаться и позавтракать: «а сейчас мое время» – сказал еще слов десять и ушел, спросивши сколько мне лет». (...).[2]

Трепетно ожидал Виноградов предстоящего разговора с Толстым. Хотел с этого разговора, с этой встречи начать «иную жизнь». Намеревался – «Беречь старика, с любовью и осторожностью говорить, не беспокоя».

---

[1] Гусев Николай Николаевич (1882-1967) – секретарь Л. Толстого в 1907-1909 гг.

[2] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 296, Зап. кн 2, с. 46.

Толстой при кратком, первом свидании дал Виноградову почитать «статьи неизданные и издаваемые за границей» и копии двух своих писем – Рукавишникову Н.А. и индусу Таракут Дасу. Дал затем, чтобы приехавший молодой человек ближе познакомился с толстовским мировоззрением. «Читаю и нехорошее со мною делается» – записывает Виноградов, – это впервые бросились ему в глаза противоречия у Толстого. Потом поехал к жившему неподалеку от Ясной Поляны В.Г. Черткову, другу и единомышленнику Толстого, издателю его сочинений. Читая хранившиеся у Черткова толстовские дневники и делая из них выписки, он опять не соглашается, пишет по поводу прочтенного: «Л.Н. Это любовь сквозь человека, не к живому человеку».

И, наконец, час свидания наступил.

Из записной книжки
27 февраля 1909. Ясная Поляна.

«Рука несколько дрожит. Только что сошел с верху из кабинета Льва Николаевича. Пишу с трудом. Вошел к нему в кабинет, вижу сидит в углу на кресле. Встал, здоровается. Я спрашиваю: «как Ваше здоровье?» – он говорит: «Ничего теперь, вчера слабость была большая. Нынче хорошо. Быть может паралич будет. Помирать скоро, к смерти ближе». Я говорю: «Зачем помирать, с нами побудьте», а он: «да и смерть хороша и умереть хорошо», улыбаясь. Затем начал – «Мне вчера Ф.А. (Степанов Ф.А., толстовец. – *Ст. А.*) сказал о Вас, не думаю, чтобы ног я быть Вам чем-нибудь полезен, если Вы придерживаетесь таких убеждений, то я ничего не могу Вам сказать. Затем говорил о Достоевском – «много путаницы», о том, что «в мире тайны нет и вера не нужна, а знать о Боге нужно, это я знаю», о М(ережкском. – *Ст. А.*) он ничего не знает и не помнит. Когда я рассказал ему, то он сказал, что это религиозные конфетки и что если Вы любите Бога, то зачем Вам Мережковский, зачем Чережковский, и Тережковский, к черту Мережковского. Никто Вам не нужен

и Толстой Вам не нужен, к черту Толстого, ну его к собаке под хвост. Тут он рассмеялся веселым и быстрым смехом. Но дверь отворилась и вошла Софья Андреевна. Она очень молода и имеет прекрасный цвет лица. Поздоровалась со мною улыбнувшись и строго посмотрела на Льва Николаевича. Он спросил: «Ты что, Сонюшка», «Да я, – сказала С.А., – слушаю ваши разговоры и мне кажется, ты очень горячишься»[1].

Толстой в самом деле потом разгорячился, потому что Виноградов осмеливался не соглашаться, спорить, противоречить.

«Когда сказал мне, что надо душу спасти, я быстро спросил: – “От чего?” Он сим вопросом был изумлен и рассержен».[2]

Несогласие проявилось и во мнениях о революционной деятельности социал-демократии, к которой Толстой относился отрицательно, а Виноградов, напротив, придерживался оценки положительной, несмотря на то, что в те годы он был достаточно религиозен и в мировоззрении своем, конечно, был идеалист.

«Пьяный с трезвым сошлись» – характеризует свое идейное столкновение с Толстым «московский студент», имея в виду понимание Толстым веры как знания, резко противоречащее «пьяной» жажде мистического озарения, которой томился А. Виноградов. В Толстом не нашел он учителя жизни, но узнал мнение Толстого о Мережковском, творения которого апостол литературы русской назвал «религиозными конфетами». Посреди выписок из толстовского дневника, в той же записной книжке отчетливо читается запись: «Неужели Юра умер от ядовитой конфетки?» Толстой говорит, что да».[3] Но трудно было Виноградову согласиться с Толстым: «Л.Н., это не религиозные конфекты. Там, где смертью

[1] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 296, Зап. кн. 2, с. 48.
[2] Там же, с. 49.
[3] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 296, Зап. кн. 2, с. 47.

платят, там не из-за конфект умирают! Там душу полагают за истину. Мне же своя жизнь не дорога»,[1] – возражает он.

«Л.Т. прост в одну точку, не сворачивая шел, поразительна в нем эта прямолинейность. Обратив внимание на точку предмета, обо всем предмете позабывает[2] – пытается охарактеризовать Толстого студент-философ.

Из предисловия к полузабытой книжечке А. Виноградова «Шейх Мансур»[3] узнаем, что Виноградов не единственный раз был в Ясной Поляне и у Чертковых – «А через полгода с Е.Д. Гончаровой, моей крестной матерью, я два раза был снова там, где А.К. Черткова нас принимала...»[4].

Во второй приезд Виноградов слышал от Толстого рассказ о деятеле кавказской войны XVIII века Мансуре, предшественнике Шамиля. Этот устный рассказ годы спустя вдохновил Виноградова написать очерк «Шейх Мансур». Правда, когда в 1934 году очерк увидел свет, критика указала на то, что сам Толстой почерпнул сведения о Мансуре из журнала «Русская старина», и лишь пересказал содержание сомнительной по достоверности статьи. Но, тем не менее, очерк ценен как свидетельство неиссякаемого интереса создателя «Хаджи Мурата» к истории Кавказа.

О февральской поездке в Ясную Поляну Виноградов упоминает также в статье «Происхождение и смысл военных картин у Л. Толстого». Статья эта, опубликованная в 1928 году в октябрьской книжке журнала «Печать и революция», проводит параллель меж творчеством Толстого и Стендаля. В том же, 1928 году имя Виноградова находим в предисловии к парижскому изданию «Четырех книг для чтения» Л. Толстого. Профессор Шарль Саломон, лично знавший Толстого, и тоже навещавший его некогда в Ясной Поляне, выражает признательность «г-ну Виноградову из Румянцевского музея,

---

[1, 2] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 296, Зап. кн. 2, с. 52, с. 52.

[3] А. Виноградов, Шейх Мансур, б-ка «Огонек» № 783 М., 1934, с. 4.

[4] А.К. Черткова – жена В.Г. Черткова, секретаря Л. Толстого.

стендалеведу и меримеисту, столь же эрудированному во французской, сколь и в русской литературах» за «указание источников, которые Толстой дал в первом издании»[1].

А ведь об этом четырехкнижии, в русском издании называвшемся — «Круг чтения» (Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении), Толстой говорил А. Виноградову в 1909 году: «Зачем Вы его (Д. Мережковского. — *Ст. А.*) читаете, ведь столько истинно хороших книг. Посмотрите мой «Круг чтения» сколько их там»[2].

Так переплетаются судьбы людей и книг. Не прошли даром часы и дни, проведенные в Ясной Поляне. Они остались среди самых сильных впечатлений жизни, отразились в творчестве.

В НАЧАЛЕ ТВОРЧЕСТВА

Художественное творчество начинается с воображения, с мышления образами... И.А. Гончаров писал о творческом процессе: «...лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров — и мне часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня и мне только надо смотреть и вдумываться[3].

Подобным образным, эйдетическим воображением обладал и Анатолий Виноградов: «Не чудо ли то, что мое создание, отпавшее от меня, меня же терзает и, отделившись, дает мне цепь странных и новых неожиданных душевных состояний...» — и далее — «Не моя ли тень от меня отделилась и, получив жизнь, ты простираешь руку на меня? Улыбается, беззвучно

---

[1] Leon Tolstoi. «Les quatre livres de lecture» Ed. Bossard, P., 1928, p. LXXII.

[2.] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 296, Зап. кн. 2, с. 49.

[3] И.А. Гончаров, Собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 71.

смеется моя тень и качает головой, словно хочет /сказать/: «Не твое, я само!»...[1]

И еще – способность вживаться в человека, ощущать его – собою. – Этим качеством славился Ф.М. Достоевский, В тех же записях Виноградова: «С моей... способностью перевоплощаться я мог на минуту искренне и глубоко пережить психологию толстовца»[2].

Вот каковы были психологические предпосылки будущей приверженности к художественному творчеству. Конечно, одних этих свойств души недостаточно, чтобы стать и быть писателем. Первые ростки писательского мастерства пробиваются на тернистом пути самоанализа, они – расцветшие зерна духовного роста, с детства питаемые чуткой восприимчивостью, особой открытостью миру...

Рукописный, подготовительный период творчества А.К. Виноградова начался в начале века. Среди ранних, неопубликованных его сочинений – небольшая стилизованная поэма «Перунов цвет», насыщенная образами русской сказочности. В поэме туманно повествуется о расцвете цветка папоротника, взращенного в зачарованном саду Перуном, древнеславянским богом грома и молний.

Талантливому писателю Виноградову не суждено было стать большим поэтом. До последних лет жизни он писал для себя – выразить состояние души – стихи, но не публиковал, чувствуя, наверно, их слабость. Его юношеская поэзия подражательна. В ней отзвуки Бальмонта и других русских символистов. Наиболее совершенно и самостоятельно романтико-символическое стихотворение «Встреча» (1907):

Встреча

Весенний день уж к вечеру склонялся
И солнечный заход был недалек –
Мне странничек верижный повстречался
Неведомый и тайный старичок.

[1] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 296, Зап. кн. 2, с. 51, 53.
[2] Там же, с. 48.

Немало лиц я видел стариковских
Особенно вблизи монастырей,
Но никогда на улицах московских
Не попадалось мне лица старей.
Как будто на бровях его почили
Столетия угасшего следы
И старческие щеки сохранили
Глубокие старинные бразды.
Передо мною он остановился
И крестик сломанный с улыбкою подал
И, удивленному, мне в пояс поклонился
Затем ушел. Куда – я не видал.
Горели церкви, золотом одеты
И пели по Москве колокола
По улицам вечерние газеты

Газетчиков ватага разнесла
А я как был, так стоя и остался
И всякая утихла в сердце боль
И предо мной из мрака возвышался
Огнями расцвеченный Метрополь.[1]

Вот так выразился интерес к отечественной истории, к религиозному странничеству, старчеству – к старине русской. Карамзинской «Историей государства российского» Виноградов в юности зачитывался «до самозабвения». «Историю», как он пишет в письме к поэту Б. Садовскому, он читал в библиотеке, принадлежащей сестре князя Н.А. Ливена. Сам князь, застав однажды юношу за чтением, изрек: «Читай, читай! Если теперь ты любишь прошлое родной земли, то выросши яснее увидишь грядущие ее судьбы». Слова эти запомнились. Любовь к истории впоследствии определила избранный им литературный жанр – историко-биографический. И без любви к истории не могли бы быть созданы книги его, посвященные истории литературы – «Мериме в письмах к Соболевкому» (1928), «Мериме в письмах к Дубенской-Лагренэ» (1937).

[1] Стихотворение записано со слов А.И. Цветаевой.

Ранних прозаических проб у А. Виноградова было не меньше, чем поэтических. К ним относятся этюды «Солнечные сказки»[1] – одна из первых попыток исторической прозы. В «Солнечных сказках» описана природа библейской Галилеи, «страны Генисаретской». Изобразительные средства этюдов выходят из берегов. Форма захлестывает содержание и яркость красок затмевает само изображение.

Интерес к библейской тематике Анатолий унаследовал от матери. Надежда Николаевна также пробовала написать на сходные мотивы повесть, оставшуюся незавершенной. Библейская тематика не сходила со страниц русской дореволюционной литературы. Интерес к ней «реставрировался» по временам – то появлением «Иуды Искариота» Л. Андреева (1907), то «Суламифи» (1908) Куприна; или также изданиями и переизданиями всевозможных жизнеописаний Иисуса Христа – Ф. Фаррара, Э. Ренана, А. Эдершейма...

В 1909 году А. Виноградовым завладел замысел «Дивного марева или повести об очарованном книжнике». Героям «Дивного марева» назначены были таинственные приключения и превращения, описанные причудливым языком – с элементами романтизированной архаики. Проникнутая влияниями Мережковского, Лескова и Мельникова-Печерского, повесть была задумана, как «толкование» раннехристианской легенды о святом Граале, той самой легенды, что лежит в основе сюжета опер Р. Вагнера «Парсифаль» и «Лоэнгрин».

Почему Виноградов решил художественно интерпретировать эту легенду? По всей видимости потому, что в ней – контраст чувственного и духовного, столь характерный для литературы символизма, к которой склонялась мечтательно-таинственная повесть.

Повесть «Девочка со скрипкой или тайна графини Орфинской» также не окончена, как и «Повесть об очарованном книжнике», страницы ее тоже пронизаны чудесно-таинственным.

---

[1] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. 2, № 71.

В основу «Девочки со скрипкой» начинающий прозаик предполагал положить историю исчезнувшей бесследно дочери молодого графа Потоцкого и тайно обвенчанной с ним Комаровской, однако замысел несколько раз менялся.

Воспитатель девочки – Чекалинский – однофамилец богатого игрока-банкомета из пушкинской «Пиковой дамы». Это не случайно, ведь Виноградов сам писал о том, что «образцом стиля» он хотел взять «Пиковую даму», а «образцом конструкции» «Вильгельма Мейстера» Гете. В повести «слышны» исторические мотивы. Чекалинский – мастер последней польской масонской ложи, заговорщик, преследуемый полицией. Он, видимо, причастен к польскому освободительному движению 1830-ых годов, мечтает сохранить «хоть одну искру патриотического пламени» своей отчизны. Тема масонской революционности XIX века будет еще развернута Виноградовым в историческую «Повесть о братьях Тургеневых» (1932) – о представителях дворянской интеллигенции пушкинской поры.

В «Девочке со скрипкой» «ведущий» мотив – иной. Вслушаемся в «музыку» описания: «...Меня поразила необыкновенная полнота звука, соединенная с его непрерывной длительностью. У меня стеснялось дыхание от этой магической тягучести нот, когда непосредственно после кантилены скрипка запела с сурдинкой и звук, не теряя певучести, стал мягким и задушевным, как бы дремлющим или дальним, когда скрипка запела, словно боясь разбудить ребенка и послышалось только жужжание пчел над цветами, я почувствовал волнение волшебной дремоты и не мог отогнать его, пока звуки не прекратились, угаснув вместе с золотыми лучами...»[1]

Как не узнать в этом описании игры девочки знакомые краски, те самые, которые через много лет использовал А. Виноградов в «палитре» одного из лучших своих романов: «Нечеловеческая длительность этого звука, этой последней затянувшейся ноты, подавляла. Казалось, что эта нота сейчас

[1] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 486.

оборвется, истощенная яростным движением смычка. Но она, обманув ожидание, приобрела новую силу и волной толкнула человеческую кровь к вискам. Напуганные, смущенные и утомленные слушатели в изумлении смотрели друг на друга... словно стремясь проверить, во сне или наяву продолжается этот волшебный, усыпляющий звук».[1] Так «звучит» игра гениального итальянского скрипача и композитора в известном романе А. Виноградова «Осуждение Паганини» (1936).

Романтическая повесть, писавшаяся в 1911 году, оказывается тематической предшественницей романа. В ней — столь же впечатляющее проникновение в природу звука, вдохновенная образность, пепереводящая музыку струн на музыку слов.

В сюжете «Девочки со скрипкой» намечался неожиданный поворот — автор, наделивший юную героиню феноменальными музыкальными способностями, приоткрывает тайну ее рождения. Оказывается, она — побочная дочь Паганини!..

А. ВИНОГРАДОВ И ЦВЕТАЕВЫ

«Девочку со скрипкой» А. Виноградов читал у своих друзей — у сестер Цветаевых, в ныне несуществующем и легендарном доме в Трехпрудном переулке, о котором в стихотворении М. Цветаевой: «В переулок приди Трехпрудный, / Эту душу моей души...». С крыльца скромного московского домика, где жили Цветаевы, в литературу русскую сошел «Вечерний альбом» (1910), первая книга талантливого поэта.

Тогда Цветаева не была широко известна, но уже замечена — «Первая книга Марины Цветаевой «Вечерний Альбом», заставила поверить в нее и, может быть, больше всего — своей неподдельной детскостью, так мило-наивно несознающей своего отличия от зрелости.» — писал Н. Гумилев.[2]

[1] А. Виноградов, Избр. произв. в 3-х томах, М. «Худ. лит.», I960, т. 3, с. 316.

[2] Н. Гумилев, Письма о русской поэзии, «Аполлон», СПБ, 1915, № 1, с. 50.

«Мы нередко бывали у Виноградовых, – вспоминает А.И. Цветаева. – Как то так разделялись, что я – с Толей, Марина с Ниной. Толе было более двадцати лет. Большой, тяжелый, с русой бородкой, ледяными и ласковыми голубыми глазами...»[1]. Они принадлежали к одному дружескому кругу, в котором были Эллис, Нилендер, С. Соловьев. Об этом М. Цветаева упоминает в «Пленном духе», ее очерке об Андрее Белом.

Виноградовы жили на Волхонке, близ храма Христа Спасителя. Окна их выходили с одной стороны на стены Музея изящных искусств, основанного И.В. Цветаевым, отцом Марины и Анастасии; с другой стороны – во двор, где сквозь деревья виднелся лепной дворянский герб на особняке князей Голициных. Там же, на Волхонке, помещалась частная приготовительная школа, которую держала в те годы мать Анатолия, Надежда Николаевна.

А.И. Цветаевой запомнился «заглядывающий в сердце взгляд», которым отличались мать и сестра Толи. Красивой, синеглазой Нине Виноградовой посвящены два стихотворения в «Вечернем альбоме», в одном из них, названном «Нине», звучат строки:

«...Детский взор твой, что грустно тревожит,
Я из сердца, о нет, не сотру
Я любила тебя, как сестру
И нежнее, и глубже, быть может!..

Как сестру, а теперь вдалеке,
Как царевну из грез Андерсена...
Здесь, в Париже, где катится Сена,
Я с тобою, как там, на Оке.

Пусть меж нами молчанья равнина
И запутанность сложных узлов.
Есть напевы, напевы без слов,
О любимая, дальняя Нина!»

[1] А.И.Цветаева, «Воспоминания», изд. 3-е, М., «Сов. писатель», 1985, с. 283.

Виноградовых и Цветаевых связала Таруса. В Тарусу Цветаевы выезжали на дачу, Виноградовы там имели дом – он стоял на Ясной горе над крутым обрывом. (Там он стоит и сегодня.) Нина хорошо пела. На одном из тарусских любительских концертов она исполняла романс Рахманинова на стихи Бальмонта. К. Бальмонту, который был тогда в Тарусе и присутствовал на концерте, понравилось пение девушки. В ответ на его похвалу Нина подарила ему живую розу – цветок поэтов.

Анастасия Ивановна как-то рассказывала: – Мы с Виноградовыми особенно в то лето дружили, когда Марина была в Париже. Но еще до того был случай – Марина и Нина Виноградова были на вечере. Сидели они с Мариной. Плотный мужчина сидел впереди них. У него была жировая складка на затылке. – Вот в это место вонзить бы нож! – сказала Нина. Марину это заинтересовало... – Заинтересовало, видимо, тем, какие бездны скрываются в этой юной девушке...

Меж Толей Виноградовым и Асей Цветаевой еще летом 1909 года в Тарусе промелькнуло юношеское увлечение. В воспоминаниях Анастасии Ивановны есть лирический эпизод, об этом рассказывающий:

«Мы вступили на зеленую от пронизанных солнцем орешниковых ветвей тропинку, по правому боку долины.

Была вдруг нежность меж нас и простота. (Так бывает от тоски, что скоро расстанутся.)

Толя шел слева, большой, взрослый, по русой бородке его – по чужому, вдруг ставшему близким, лицу бежали круглые пятна солнца, серебряные в зеленом сумраке веток.

Через канаву у поворота тропинки лежало упавшее дерево. Я остановилась. И смеясь и серьезно:

– Перейдите по стволу на ту сторону! (Тоном приказа – и просьбы.) Я ждала улыбки, остроумной реплики, лукавого спора, всего, но не этого: молча, он уже шел, стремительно, тяжелый, большой, – и на миг стал идти с осторожной мед-

лительностью для успеха — и легко и сосредоточенно, двойственным шагом — через длинное, корявое, тонкое дерево. Радостно спрыгнул — развел в сторону руки. С полупоклоном. Кто из нас был счастливее в тот миг? Он теперь весь был на солнце. Я — еще в зелени веток. Хорошо, что он не видел ясно мое лицо!»[1].

Меж ними была, конечно, разница в возрасте. Ему — 20, ей — 14. Но зрелостью ума, знанием литературы и приобщенностью к поэзии, эрудированный Анатолий и Анастасия, многих удивлявшая своим ранним развитием — были почти равны.

Однажды свершилось и письменное «объяснение». Об этом Анастасия Ивановна рассказывает в отдельно изданной главке «Несколько слов о друзьях-писателях», в которой кратко — о Б. Пастернаке и О. Мандельштаме и подробнее о Т. Чурилине, П. Романове и А. Виноградове.

«Темный лес, звезды, холодок, тихие голоса, хруст под ногой, вспыхивающие спички, освещающее на миг личико Нины, Толины светлые глаза, бородку, улыбку... На другой день я написала сказку о ночи под Ивана Купалу. В ней рог луны отражался в каплях ночной росы. Было что-то зловещее, колдовское. Я послала ее Толе. С припиской почти нежной я получила большой конверт: Асе Цветаевой. Руки дрожали. Глаза не совсем видели строки. Тонко, мелко, прямыми точеными буквами на белом листе стояло:

«Дорогая Ася! Я люблю Вас давно», — более ничего не помню. Торжество, радость, ликование заполнили все. Лицо Толи, длинные глаза, синие, ледяные — кому-то — упоенно смотрели в мои...»[2].

[1] Цветаева А.И. «Воспоминания», М., «Сов. писатель», 1984, с. 293.

[2] Цветаева А. «Страницы памяти», «Даугава», 1986, № 11 (113), с. 120.

Ледяными кому-то... растаявшим льдом, «честной голубой водой» те же глаза предстают у М.И. Цветаевой, изобразившей Анатолия Корнельевича человеком поверхностным, корыстным...

А.И. Цветаева не согласна с мнением сестры. Когда она высказала свою точку зрения, я попросил ее записать то, что она сказала, и получился малый очерк, который мы имеем благую возможность привести без изъятий, целиком.

Анастасия Цветаева
Об очерке моей сестры Марины Цветаевой "Жених" (Париж, 1933)

Трудно мне найти настоящие слова, а еще труднее истинный тон возражения на этот очерк Марины. Он написан четверть века спустя тех лет, с которых начинает Марина повествование о Толе Виноградове. Родился этот очерк из затаенной обиды – за меня, за отказ мне в работе в 1921 году (Я пришла к нему, как к старому другу, когда он был директором Румянцевского Музея, а не музея Изящных Искусств, директор которого был наш отец! Эта ошибка придает всему очерку – тон: ошибочность тона сопутствует всему очерку. Марина часто дает себе волю не считаться с правдой, посему трудно возражать ей как автору, по существу имеющему дело, частично – с фантазией (см. мою статью "Корни и плоды" в журнале "Звезда", 1979, № 4). Таков ее стиль художника. За годы нашей с ней разлуки (1922-33) она спутала два Музея: я никогда не служила в музее Румянцевском, и не десять лет, а восемь лет прослужила в музее Изящных Искусств (1924-32). Марина правильна запомнила, что я прослужила (в Музее Изящных Искусств) все восемь лет сверх штата. Но принял меня директор, профессор Н.И. Романов, а не А.К. Виноградов, никогда директором Музея Изящных Искусств не бывший.

В очерке “Жених” А.К. Виноградов назван фамилией Тихонравов, поэтически созвучной. Как не был он директором основанного нашим отцом Музея, так не был А.К. Виноградов женихом – ни Марины, ни моим.

Не был он подобострастным к нашему отцу, и к обеим нам относился не ч е р е з п р и з м у нашей дочерности к нужному ему выдающемуся профессору. Да и отношения нашего отца к студенту А.К. Виноградову оказалось – по моему исследованию – совсем другими, чем мы обе предполагали. И Марине и мне к а з а л о с ь тогда, что папа “продвигает” Толю в Румянцевском Музее, так как Толя был сын очень скромной в средствах семьи. На деле же оказалось, что папа ценил Толю как очень образованного юношу, знавшего древние языки и согласившегося бесплатно работать в Румянцевском Музее три года вольнотрудящимся, отдавшим свои свободные часы раскапываниям в Музее книг, рукописей, документов – как страстный любитель книги. Таким образом выяснилось, что не Толя Виноградов, мой с детства по Тарусе знакомый был заинтересован в отношение к нашему папы, а наш отец хорошо к нему относился, отличал его бескорыстие. Так отпадает версия Марины о его заинтересованности в нас, как в дочерях нашего отца, что ошибочно проходит красной нитью через весь очерк “Жених”.

Мариной он интересовался как поэтом, в женихи ее не метил, а между ним и мной годы длилось небольшое увлечение, во взрослые годы, когда он был женат и я была замужем, перешедшее в дружбу.

В 1915 году он навещал меня, приехав с фронта, контуженный, очень скромно рассказывал о себе, и лишь много лет спустя узналось о том, как храбр он был – в приказе о его награждении Георгевским крестом значится, что не щадя себя, из-под оружейного огня он, командир санитарного отряда, спасал раненых солдат… В день, когда казак – фельдшер, посланный по открытой дороге за истекающими кровью

ранеными, погиб – Анатолий Виноградов сменил его под прямо направленным на него огнем – и успешно выполнил это опасное поручение. Эти факты взяты из приказов по награждению по конному отряду генерала Трубецкого. Знай все это Марина – она, конечно, не писала бы иронического, несправедливого очерка об Анатолии Виноградове...

Меня сердечно тронул пыл Марины за неприятие Толей меня на работу, когда я в ней нуждалась, но восстановление истины дороже. Восстановить облик человека – наш долг.

Просматриваю очерк "Жених" – эпизод с крошечной гусеницей, случайно попавшей в письмо, Мариной дан символично, как увеличенный в лупу. Значения никакого в моей переписке с Толей он не имел. "Дураком" и "наглецом" я Толю никогда не называла – и повода к тому он не давал. Никогда не быв – ни Марининым, ни моим женихом, он был много лет другом, интереснейшим собеседником и напрасно Марина насмешливо трактует его писательство – еще в доме нашем, в Трехпрудном, он читал нам в моем отрочестве свой рассказ "Девочка со скрипкой", тогда уже показавший его талант.

В 1920-х годах, когда он уже был директором Музея, он переживал душевный кризис, и я в письме к нему – что хранится в ЦГАЛИ, напомнив ему давние его стихи о таинственном страннике, пишу: "Я всегда верила в Вашу душу" и – "помните, что я Ваш верный друг".

Приводимого Мариной грубого тона моего к Толе, как будто он в "ухаживании" за мной настойчив, и я "отбиваюсь" – не было никогда – тут Марина "стилизует" мое отрочество – неудачно:

«Когда же Вы, Ася, наконец, вырастете?
Для Вас – никогда.
Наконец прозреете?
На Вас – никогда!
Как вы еще молоды! Слишком молоды!
Для вас – навсегда!»

Другой Толя и другая Ася! Не мы! Разве могла бы десятки лет длиться дружба — после такой “беседы”?

“Жених” никогда не сделавший предложения?..

В моем очерке “Маринин дом” приведен момент, когда Толя читает мне в лицо, при моем юном муже — свои — назвать ли их “любовные” стихи, полные горечи... Момент был тонок, неуловим, трагичен... И посвящены были стихи “написавшей мне из Италии” (откуда я незадолго до того вернулась).

Романа же между нами не было никогда. Но и долго после смерти нашего отца длилась наша нежная, чуть ироничная, дружба, лишь в 1921 году омраченная историей с его отказом мне в работе. Но мне тогда не было известно, что ему было трудно принимать на работу в Музей друзей — людей “из старого мира”, на него давили, и он должен был каждый подобный шаг «объяснять», что не дворян он устраивает, а людей знающих по несколько языков, коих он не мог находить ни в пролетарской, ни в крестьянской среде.

Вспоминаю: после войны — контузии — в Толе начались странности, годами сгущавшиеся, переходившие временами в тяжелые душевные переживания. Много ходит слухов о нем, но слухи — недостоверные, и им верить — трудно. Но образ этого человека во мне живет светлый, несмотря на разнородные суждения о нем...»[1].

Однажды у нас с Анастасией Ивановной об А.К. Виноградове состоялся разговор, который сохранился в магнитной записи. Привожу его тут:

«Ст. Айдинян: — Анастасия Ивановна, Вы мне (в письме) написали, что Анатолий Виноградов никогда не был Вашим женихом, а в то же время как Вы понимаете это слово — «жених»?

Анастасия Цветаева: — Сделал предложение!..

[1] А. Цветаева «Об очерке моей сестры Марины «Жених». Личный архив Ст.А. Айдиняна.

Ст. А: – Вот как... Но его мать шла к Вам с намерением говорить о чувствах своего сына, как Вы пишите в своей книге...

АЦ: – Я не дала возможность ей сказать, потому что боялась, что это ее, (Надежду Николаевну), огорчит...

Ст. А: – А в каком году это было? Вы не помните?

АЦ: – Как же не помню, в 1911-ом году!

Когда она приехала, я сразу поняла чутьем женским, зачем она приехала... Что надо женится...

Ст. А: – Но между Вами было же какое то увлечение?.. Судя по всему...

АЦ: – Да было увлечение, несомненно...

АЦ: – Это был и 1914-ый, 1913-ый год, и потом он бывал у меня...

Ст. А: – А Вы никогда не говорили с ним о его книгах? С Виноградовым…

АЦ: – (Много позже) я наверное сказала то, что могла сказать (ему), что мне очень понравилось начало его книги о Паганини, но это самое начало, потому что в самом начале были прекрасные первые страницы об Италии, я не помню сейчас что там было, но там так был передан дух Италии, но потом, когда я стала читать о самом Паганини, он очень прозаически о нем пишет, – главным образом материальные дела его, о вечерах его удавшихся, неудавшихся... Его импресарио, и так далее... Он говорил о себе, что он очень не музыкален, что медведь наступил ему на ухо, а с таким слухом писать о музыканте было неосторожно...

Ст. А: – Анастасия Ивановна,..

АЦ: – Он хорошо описывал инструменты музыкальные... А дух музыки он не дал в этой вещи, потому что...

Ст. А: – А Вы знаете, здесь есть один очень странный факт... Вы говорите, что ему медведь наступил на ухо, и в тоже время Вы знаете, он же написал свою книгу «Осуждение Паганини» в 1930-ых годах, а что я обнаружил в архиве в его записях 1910-11 года?.. Уже тогда, в 1910-11-ых годах,

он пытался писать повесть о девочке со скрипкой, которая была незаконной дочерью Паганини и он описывает ее игру на скрипке, описывает так музыкально!

АЦ: – Как называлась?..

Ст. А: – «Девочка со скрипкой»...

АЦ: – «Девочку со скрипкой» он нам читал ее в нашем доме в виде рассказа... Так давно... Я просто не помню, хорошо это или плохо... А Вы читали это, да?

Ст. А: – Сама повесть не сохранилась, сохранились многие страницы ее, наметки по ней, в записной книжке, «начатки» это можно назвать...

АЦ: – От того что он... У него не было, допустим, слуха, большого музыкального понимания музыки, но меня поразило, что такая легендарная личность как Паганини, она не зажгла его со стороны слухов о нем, такой мощи его игры, а он писал прозаически о его вечерах… Были сборы, не были сборы, кто-то его обманывал... Кто-то что-то задерживал, этак проходишь с трудом через книгу, и то очарование, которое было в начале, оно потом остыло, впрочем, я может быть пропускала хорошие места, если разочаровалась, то уже невнимательно читала.

Ст. А: – А скажите, что еще он читал Вам, Виноградов, в те далекие годы, когда он к Вам (приходил), бывал, в семье, Вы не помните?

АЦ: – Нет, я не помню, а вот «Девочку со скрипкой» я помню.

Ст. А: – А «Повесть об очарованном книжнике»? Вам ничего не говорит это название?..

АЦ: – Нет, нет... Интересно...

Ст. А: – Там как в том стихотворении, тоже старик мистический... Есть такая незаконченная повесть у него...

АЦ: – Может быть он и читал какую-то главу оттуда, возможно...»

Анатолий Корнельевич действительно весьма сухо принял в своем кабинете Анастасию Ивановну, когда та просила его о месте при музее и не помог, или… не смог помочь.

Причины тому могли быть разные. Во-первых – мест действительно не было. Попробуйте сегодня, не в голодные годы, устроиться на работу в РГБ, бывшую Ленинку и бывшую Румянцевку! Скорее всего вам ответят в отделе кадров, что штат полон и вакантных мест не имеется. Во-вторых, сама А.И. Цветаева в разговоре с автором этих строк предположила – Анатолий просто не захотел иметь на работе человека ироничного и язвительного, какой при случае она могла быть. Она ведь внутренне не принимала того административного «пыла», с которым Анатолий исполнял свои директорские обязанности. А он был самолюбив. И, в-третьих, еще одно обстоятельство, которое могло стать препятствием... А.К. Виноградову и так приходилось в 1920-ых годах оправдываться, он писал в редакцию «Вечерней Москвы»: «Социальный состав всех библиотек и музеев одинаков, я не имел никакого отношения к комплектованию штата в 1918-1920 гг., но свидетельствую, что невозможно было найти людей, знающих много иностранных языков в чисто пролетарских семьях. Музееведы и искусствоведы несомненно были связаны с дворянской Россией, но на службе Советов многие оказались из них на высоте оказанного им доверия».[1]

Вот что имела в виду в своем очерке А.И. Цветаева.

Впрочем, несмотря ни на что, Ан. Виноградов и Ан. Цветаева в 1920-1930 годы продолжали поддерживать дружеские отношения. Она даже писала ему в годах 1920-ых: «Милый Толя. Я Вам не сказала, и поэтому теперь пишу это – я всегда верила и верю в Вашу душу (не смейтесь и не скучайте над этой строчкой) и если когда-нибудь Вам будет еще труднее, – помните, что я Вам верный друг... Христос с Вами. АЦ.[2]

Человеком совершенно неотзывчивым Анатолия Корнелиевича не назовешь. Виноградов помог выехать в Москву из

[1] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 219, л. 20.
[2] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 1086, л. 2.

Балашова и устроиться на службу своему другу Сергею Михайловичу Соловьеву, хотя и пришлось в те недоверчивые времена преодолевать трения при «проведении» его в музей. С.М. Соловьев – не только поэт, филолог, переводчик, но еще до революции он рукоположен в сан священника. У Анатолия тогда уже были иные верования и со времени принятия Соловьевым «священства» их жизненные пути стали постепенно расходиться. Декрет воспрещал проведение служб в церквях при учреждениях. В Румянцевском музее временами декрет нарушали. Старое чиновничество настаивало на продолжении молебнов, и С.М. Соловьеву трудно было отказать. Он писал Виноградову в 1922 году: «Я думаю, ты был прав, опасаясь моих служений в музейской церкви, именно в интересах музея и его репутации»[3]. С. Соловьев по собственной воле покинул музейную службу. Но им суждено будет встретиться с Анатолием еще не раз в будущем.

Завершая тему взаимоотношений сестер Цветаевых и Анатолия Виноградова, нельзя не вернуться все же к событиям более ранним, многое в неприязненном тоне очерка Марины Цветаевой «Жених» объясняющим.

Вот фрагмент из текста «Воспоминаний» А.И. Цветаевой, опубликованный только в 2008 году в большом двухтомном собрании ее мемуаров:

«Был день 14 апреля. Он надолго запомнился. Марина уехала с ночевкой к Нине Виноградовой и вернулась оттуда в нежданное время (не помню – поздно ли вечером или рано утром). По ее взволнованному лицу шла смена выражений – оскорбленная гордость борола смущенность, смущенье – досаду. Она рассказала мне, что произошло: они с Ниной, тайком от Толи, решили попировать и выпить вина. Уговорились, что Марина принесет его, Нина спрячет, и они запрутся в Ниникиной комнате. (Марина звала Нину – «Ниника».)

Нина принесла угощенье – но много ли они выпили, или, может быть, потому что было разное вино, Нине стало плохо.

3 ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, 1246, л. 23.

Марине пришлось выйти из комнаты, позвать на помощь. И произошел страшный скандал: «Толя неиствовал, кричал, мать тоже была очень взволнована… Бывать у них Марина больше не будет. С ней очень грубил Толя, ее ноги больше не будет там!

Вдруг, ожесточаясь на меня (так ей в тот миг сочувствовавшую): «Ты, конечно, будешь бывать, ну, что ж! Ты всегда остаешься после меня – «на затычку!» Я, избегая реплики:

– А как Нина?

– Ничего, пришла в себя, – сухо сказала Марина.

В тот день меня больно кольнули слова Марины.

Только теперь я поняла их иначе. Да, именно так, после Марины, ее трагического конца, я, волей судьбы, осталась людям – заткнуть, хоть частично, рассказом о ней – огромную пустоту после нее. Слова ее, тогда брошенные в раздражении, стали провидческой явью.

Виноградовы при встрече со мной были по отношению к Марине сдержанны, тактичны. Может быть, раскаялись, что погорячились? Но Марина – как и в размолвке с Лёрой (старшей сестрой, – Валерией Ивановной Цветаевой. – *Ст. А.*) – уже не вернулась к ним.

Стихи Марины того времени, никто не помнил их, кроме меня:

Где-то маятник качался, голоса звучали пьяно,
Преимущество мадеры я доказывал с трудом,
Вдруг заметил я, как в пляске закружилися стаканы,
Вызывающе сверкая ослепительным стеклом.
Что вы, дерзкие, кружитесь, ведь настроен я не кротко,
Я поклонник бога Вакха, я отныне сам не свой,
А в соседнем зале пели, и покачивалась лодка,
И смыкались с плеском волны над уставшей головой…»[1]

После этого инцидента уже не было прежней дружбы у Марины Цветаевой с Виноградовыми, у нее остался горький

[1] А. Цветаева Воспоминания. В 2 т. Т. 1, 1898-1911 годы. Изд. подгот. Ст.А. Айдиняном; М., Бослен, 2008, с. 442-443.

осадок, отразившийся на очерке «Жених». Анастасия Ивановна по-прежнему долгие годы до своего ареста в 1937 году продолжала общение со старыми друзьями. А стихи Марины Цветаевой, тут приведенные ее младшею сестрою по памяти, напоминают поэзию К. Бальмонта и отражают бывшие в те годы у юной Марины Цветаевой «эксперименты» с крепкими напитками, о чем вскользь упоминают поздние исследователи ее биографии...

«МУЗЕЙСКАЯ» СЛУЖБА

В гимназические и студенческие годы А. Виноградов часто посещал читальный зал библиотеки Румянцевского музея, который помещался в известном доме Пашкова на Моховой. Именно здесь его еще неуверенное перо выводило строки ранних художественных опытов:

В библиотеке золотые тени
Рождают вдруг, среди старинных зал
Волшебный рой таинственных видений,
А шелест книг – таинственный хорал
Возносит кверху, к куполу большому.
Сафьяны красные, как матовый коралл.
И золото тисненных переплетов
Глядит задумчиво и как-то по-иному
Библиотекарь – маленький старик
Как дух земли среди уснувших гротов
Работает в хранилище для книг...[1]

В том же 1909 году, когда родилось это юношеское стихотворение, 5 ноября Анатолий Виноградов был зачислен в библиотеку Румянцевского музея вольнотрудящимся, то есть внештатным сотрудником, работавшим добровольно и безо всякого денежного вознаграждения.

Ко времени поступления Виноградова в Румянцевский музей состояние библиотеки было критическим. Острая

[1] ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 296, Зап. кн. 3, л. 112.

нехватка средств, малый штат – всего несколько десятков сотрудников, работавших на самое скромное жалованье в тесных, перегруженных книгами помещениях. Людей не хватало и старый библиотекарь И.И. Боборыкин предложил юноше-студенту принять участие разборке книг, скопившихся в подвальных хранилищах. Эта «миссия» увенчалась успехом – Виноградову посчастливилось найти полуотсыревшие библиографические редкости и – как он пишет в автобиографии – его находка была благодарностью отмечена в одном из отчетов.

Так начиналась деятельность А.К. Виноградова, посвященная библиотеке. В рапорте библиотекаря Ю. Готье от 21 мая 1910 года – директору музея И.В. Цветаеву говорилось: «…Осенью 1909 года по личному его самого желанию к занятиям в библиотеке допущен известный лично Вашему Превосходительству, а также и бывшему в то время заведующему читальным залом А.С. Петровскому студент Виноградов. Занимался он в свободное от посещаемых им в университете занятий время, причем управление библиотеки не считало его работником обязательным, а только находило возможным дать ему случай применять на деле его склонность к библиотечному делу и библиотечной службе… Никаких, однако, определенных обещаний, относительно места в библиотеке Виноградову я не давал; напротив, указывал ему, что никаких обязательств по отношению к нему я как библиотекарь принять не могу. Да и со стороны Виноградова никаких претензий на штатное или хотя бы платное место не поступало» (с. 1-2).

Добровольные работы в библиотеке, университетские лекции, занятия и… в те годы совершившееся приобщение к культурной жизни. Имя А.К. Виноградова значится 20-ым в списке членов «Общества свободной эстетики» к 1 мая 1910 года. В списке этом много имен воистину замечательных: М. Волошин, Ю. Балтрушайтис, И. Грабарь, сестры Гнесины, К. Станиславский, Николай и Эмилий Метнеры, В. Серов,

Ф. Шаляпин, Л. Пастернак, А. Гольденвейзер, С. Танеев и др., др.

Собрания и заседания общества собирались чаще всего на Большой Дмитровке в доме Вострякових. Там звучали концерты – исполнялись новейшие музыкальные произведения, читались доклады, устраивались вернисажи, проходили диспуты, обсуждения современных явлений культуры, искусства.

В литературной части задавали тон символисты. «Во главе Комитета общества стояли В. Брюсов и А. Белый, который потом сатирически изобразил «Свободную эстетику» в «Москве под ударом» – в первой части его романа «Москва».

Просматриваем отчет о деятельности общества за 1910 год: ...27 января. – Доклад В.Я. Брюсова о «Египетских ночах» Пушкина. В.Я. Брюсовым был прочитан ряд новых стихотворений; 3 февраля – исполнение Вандой Ландовской на клавесине ряда пьес времен Шекспира; 17 февраля Федором Сологубом прочитан рассказ «Путь в Дамаск» и ряд новых стихотворений. 17 марта – Доклад Вячеслава Иванова «О новых литературных группировках». Доклад вызвал возражения со стороны В. Брюсова, А. Белого, Г. Рачинского и Эллиса. Вяч. Ивановым был прочитан ряд новых стихотворений...

Быть может по поводу этого выступления Вячеслава Иванова в записной книжке у А. Виноградова запись: «Стихи Иванова прекрасны и драгоценны. Чтение его меня испугало»[1].

Далее: 24 марта – Доклад Л. Кобылинского (Эллиса. – *Ст.А.*) «О «симфониях» Андрея Белого». Н. Гончаровой выставлены были ее новые работы (18 картин) – Это о ней Марина Цветаева потом напишет свое поэтико-психологическое исследование «Наталья Гончарова (Жизнь и творчество)».

Один только этот краткий и неполный перечень уже говорит о том, что «Общество свободной эстетики» было син-

[1] РГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, Зап. кн. I, с. 16.

тетическим сплавом представителей литературы, поэзии, живописи, музыки. Видно, что оно служило местом встреч и творческих турниров московских и петербургских символистов, было объединением избранного круга художественной интеллигенции.

Присутствуя на заседаниях общества, встречаясь с его членами, А. Виноградов не мог не испытать влияний. Но замкнутый мир, «отравленный ядом Бердслея и Сомова», — вспомним удачное выражение С. Соловьева (кстати, тоже члена «Общества...»), — не захватил его целиком, не заворожил... Судя по дневниковым записям, жил в нем душевный непокой, тлела неудовлетворенность. И особенно неудовлетворенность жизнью обострилась в 1910 году в день тяжелый для всей России: «Сегодня 7-го ноября в 6 часов 5 минут утра умер Лев Николаевич Толстой. В железнодорожном вагоне на станции Астапово начав свое скитание окончил многоскорбную жизнь в душевной муке за людские страсти. Не вернется более. И мы живем позорною жизнью»[1], — записывает он. Темное, болезненное чувство неприятия бытия становится характерным для лучших представителей культуры — «Более, чем когда-нибудь, я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение...» — пишет в 1909 году в письме к матери Александр Блок (Цитирую по книге Вл. Орлов, «Гамаюн» Жизнь А. Блока, Л., «Сов. писатель», 1980, с. 419), Видим — в этом чувстве никогда не встречавшиеся, или во всяком случае не знакомые, Виноградов и Блок — созвучны...

1911 год был счастливым для семьи Виноградовых выходом книги, которая называлась пространно: «Арифметические упражнения и задачи для приготовительных классов средних учебных заведений и для начальных училищ». Живой и доходчивый учебник этот, выдержавший два издания (2-е в

[1] Там же, Зап. кн. 6, с. 241, (№ 296).

1915 г.) был написан Корнелием Никитичем Виноградовым, отцом Анатолия. В учебнике собраны сочиненные опытным учителем оригинальные задачи, материал для которых был взят из повседневности.

В 1912 году А. Виноградов закончил Московский университет. С успехом защитил философскую дипломную работу на степень «кандидата» – «Понятие абсолютного бытия и его эволюция в пределах элейской школы».

По окончании магистерских экзаменов он был удостоен диплома I степени и после трех лет бесплатной работы вольнотрудящимся получил штатную должность младшего помощника библиотекаря в Румянцевском музее. Младшим помощникам библиотекаря без единого продвижения он оставался до 1918 года.

Так как новообретенная «музейская», как тогда говорили, должность чиновника X-го класса давала мизерное жалованье, то Виноградов подал прошение директору Московской 1-ой мужской гимназии о предоставлении ему уроков истории. После необходимой переписки с попечителем округа он был принят в гимназию, где параллельно с работой в музее стал преподавать историю, позже и приготовительный курс философии. Как преподаватель входил теперь Виноградов в здание гимназии на Волхонке, где служил его отец и где сам он не так давно шалил за спиной у классного надзирателя и отвечал урок перед доской.

ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА

На лето 1913 года Виноградов выхлопотал командировку (на свои средства) от Императорского Московского и Румянцевского музеев за границу, для ознакомления с музеями и библиотеками Германии и Италии. Сохранилось сопроводительное письмо, подписанное министром просвещения Италии, которое открывало перед путешественником-исследователем

двери библиотек королевства с тем, чтобы он изучил в них «все доступные детали, которые могли бы быть ему полезны»[1] . Он вспоминал потом «прекрасные часы, проведенные под тихими сводами Амброзианской библиотеки» в Милане. Бывал в Ватикане, рассматривал Сикстинскую капеллу, пинакотеку...

Уже тогда он интересовался жизнью и наследием классика французской литературы Стендаля (Анри Бейля). В Италии Виноградов посетил места, связанные с именем Стендаля. Впечатления от поездки пригодились потом, через много лет, при создании итальянских сцен романов «Три цвета времени» и «Осуждение Паганини», при создании книги «Стендаль и его время». Все же основная цель поездки была — познакомиться с тем, как в Европе ведется музейное и библиотечное дело. По приезде из-за границы он представил в Совет музея докладную записку. В ней рассказывалось о наиболее передовых, современных формах библиотечной работы, говорилось о необходимости реформы музея. Ведь библиотека растет, пополняемая обязательной присылкой экземпляров всех книг, печатающихся на территории Империи, а ее теснят другие отделы музея — отделы искусства, этнографии, древностей... Записка была принята более чем холодно. Реформу не поддержали, она ставила под сомнение саму традиционную идею перспективы Румянцевского музея — идею создания в будущем всеобъемлющего национального музея, памятника державной мощи России. Старинный этот проект, принадлежащий еще библиотекарям графа Румянцева — Аделунгу и Вихману, давно изжил себя. Энциклопедизм века XVIII остался в веке XVIII.

Хотя на ученой коллегии музея в 1911 году вновь обсуждался проект фантастического «Центрального музея сложного типа», людям практически мыслящим ясна была бесперспективность этой сколь сверх дорогостоящей, столь и малореальной затеи. Нельзя объять необъятное! — эта простая

[1] Архив Гос. б-ки им. Ленина. Оп. 17, д. 166, л. 47.

истина лежит камнем преткновения на пути к созданию в XX веке титанического храма всех знаний, наук искусств и ремесел.

Приложением к «Отчету Императорского Московского и Румянцевского музеев за 1913 год» вышел «Каталог альдин», составленный А. Виноградовым. Текст каталога параллельный – на русском и французском языках. Это библиография изданий, выпущенных венецианцем Альдом Мануцием на заре книгопечатания. В свое время этот первопечатник совершил настоящую демократическую революцию в книжном деле – первым стал выпускать вместо дорогостоящих огромных фолиантов, небольшие тома, которые удобно было вывозить из страны. Альда обвинили в отсутствии патриотизма – коль «альдины» так легко ушли в другие страны, иноземцам незачем уже будет приезжать учиться в просвещенную Италию.

НА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Когда на полях Европы пушки заговорили о войне, Анатолий Виноградов был призван ратником ополчения и зачислен на военно-санитарную работу в ряды Российского Общества Красного Креста – РОКК.

В Первую мировую войну существовали в русской армии льготы, в соответствии с которыми военнослужащего на передовую не посылали, коль он был единственным сыном в семье. Это не помешало Виноградову быть откомандированным на фронт и полгода пробыть на передовой линии. Служил он в 5-ой армии при конном отряде генерал-лейтенанта Трубецкого, при котором сформировал передвижной передовой отряд Красного Креста № 46.

Шли бои с немцами близ деревни Паровица Ковенской губернии. 10 августа 1915 года А. Виноградов под сильнейшим обстрелом артиллерии оказывал помощь раненым – перевязывал раны, вывозил их на санитарных двуколках

из-под огня, при этом «выказывая самоотвержение и храбрость», – об этом говорится в приказе о награждении его Георгиевским крестом.

В том же бою он был контужен осколками разорвавшегося снаряда. Опухли шея и спина, начались головокружения.

Не успел уполномоченный – так назывался командир санитарного отряда, оправиться от контузии, как 28 августа совершил еще один воинский подвиг – доставил на мызу Пикстерн медикаменты по совершенно разбитой артиллерийским обстрелом дороге и вывез из горящей мызы всех оставшихся там раненых, несмотря на ружейный и пулеметный огонь, направленный исключительно на него. Чудом не разделил Виноградов судьбы казака-фельдшера, который за несколько минут до того был послан с тем же поручением и погиб.

Факты эти, взятые из приказов о георгиевских награждениях по 5-ой армии, говорят о храбрости, о бесстрашии Анатолия Виноградова.

В 1916 году он был в отпуску на три недели в Москве и заходил к А.И. Цветаевой, которой писал с фронта. Давние чувства еще не угасли. И раньше, когда Анастасия Ивановна только что вернулась из свадебного путешествия, она встретила Анатолия на вечере у сестры Марины – он читал стихи, посвященные – «написавшей ему из Италии», не называя прямо имени, но все понимали, к кому обращены слова «Покуда в родные сени не придешь». «Дерзостно читает он свою любовь мне в лицо, видя рядом моего молодого мужа...» – пишет А.И. Цветаева в очерке «Маринин дом»[1].

В книге Анастасии Цветаевой «Дым, дым и дым», которая вышла в 1916 году, есть страницы, на которых собеседник героини зашифрован литерой «Т». На экземпляре ксерокопии «Дыма, дыма и дыма», принадлежащем автору этих строк, Анастасия Ивановна сделала надпись на странице 50-ой: «Об Анатолии Виноградове» и подписалась.

[1] А. Цветаева, Маринин дом, «Звезда», 1981, № 12 с. 154.

Вот какова разгадка литеры «Т».

Страницы «Дыма...» – откровенны, лирически-грустные. Они дышат – порой – аристократизмом, всегда – чувством безнадежности: жизнь – дым, жизнь – игра, изящная и глубокая. Анастасия Ивановна считала, что кредо книги – говоря цитатой из С.Я. Надсона «Только утро любви хорошо».

Разговоры с Анатолием Виноградовым из «Дыма, дыма и дыма» достоверно и проникновенно передают атмосферу тех невозвратных дней, когда под светской легкостью, обманчивой непринужденностью разговора скрывались серьезные вопросы, беспокойство, печаль, но и – его захваченность войною, опасной острой жизнью, да и многое, многое другое.

«...(Я остановилась перед ним, опустив руку с папиросой, чуть наклонив на бок голову, и гляжу ему в лицо. Он выше меня на целую голову, в офицерском мундире, волосы и бородка коротко острижены, голубые глаза длинного и холодного разреза, прямо глядят на меня).

– Все пройдет, Ася, это совсем несомненно.

Я гляжу, потом улыбаюсь, потом таю в вопросе:

– «А Вы меня очень любите?»

– «Очень».

Потом вальс «Березка». Он стоит рядом со мной и рассказывает об одной ночи, когда невдалеке разрывались австрийские «чемоданы», – как у него что-то сжалось в груди.

– «Скажите: страх, ужас?»

– «Ужаса никакого. Но скверное самочувствие. Мы прилегли... Из австрийского лагеря, слышно, – немецкая речь, огоньки видны...»

– «Так зачем же Вы едете туда еще раз? Ведь Вы не обязаны ехать? Вы...

– «Да интересно, Асенька».

– «Благодарю покорно. Что за нелепая игра со смертью!»

– «Возмутительная. На другой день мне было поручено перевести наш поезд...»

Я слушаю. Вальс звучит. А где-то рвутся снаряды.

– «Много видали раненых?»

– «Много. Человек по 500... Лошадей очень жаль, невозможно смотреть на раненых. Эти глаза, и они так тяжело дышат...»

– «А людей жаль?»

– «Меньше».

– «Да, я тоже думаю, что меньше. А Вы, все таки, очень добры?»

– «Я? Думаю, что нет». Пауза.

– «А вот еще раз мне пришлось с одним офицером скакать ночью...»

– «Ах», говорю я, – прослушав, – «зачем Вы едете снова? Вдруг будете убиты?»

– «Все возможно».

– «Не жаль?»

– «Да как Вам сказать? – иронически, – жаль – немножечко...»

– «Мне тоже – немножечко жаль...» (он кланяется).

– «Нет, интересно! Сейчас бы трудно не ехать туда!»

– «Да, конечно!» – С внезапным подъемом восклицаю я, «ах...»

– Но тут главное во всем этом, то, чего никак не сказать. Вот солнце узким лучиком упало ему на плечо, и меня что-то остро схватило за сердце... Вальс смолк, и мы оба стоим, замолчав, и я опустила глаза под его взглядом, который не подходит к тому разговору, что мы ведем. Вот я курю, он стоит напротив меня, большой и высокий, я точно девочка перед ним, я что-то шучу, говорим о смерти, кощунство и изящество таких разговоров мне бросилось в голову, как вино – я смотрю на яркий цвет его погон, на бобрик русых волос, вспоминаю, как мне было 13 лет, ему – 20, как я часто

бывала в его семье, летом, в розовом платье, он мне срезывал можжевеловые палочки, давал книги…

И вдруг – ах, вместе с ним, без ответственности, без будущего, так, ради вечера, кинуться в самую бешеную жизнь, – о свобода!

И он и я твердо знаем: что все неважно, что все возможно, что все пройдет!..

– Ах, мы твердо, должно быть, помним, что мы «из хороших семей»!..» (А. Цветаева Собр. соч., М., «Изографус», 1996, Т. 1, 1996, с. 91-93).

Анастасия Ивановна Цветаева рассказывала автору этой книги о том, что она заметила – в Анатолии после фронтовых впечатлений что-то изменилось. Конечно, трудно найти человека, который не изменился бы, пройдя горнило огня и смертей, пройдя лишения и громы обстрелов. А может быть, давала себя знать контузия… «За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий» 19 августа 1916 года он был награжден орденом святой Анны 3-ей степени, а 13 мая 1917 года уволен от службы и вернулся в Москву к работе в Румянцевском музее на ту же должность младшего помощника библиотекаря, продолжал параллельно преподавать в 1-ой гимназии, не оставляя сотрудничества с управлением РОККа.

ПЕРВЫЕ КНИГИ – ПЕРЕВОДЫ С ПОЛЬСКОГО

Вошел А.К. Виноградов в художественную литературу как переводчик. Он хорошо знал польский язык, по материнской линии в нем была польская кровь... В самой ранней юности он пробовал переводить с польского стихотворения А. Мицкевича.

Издательство русских символистов «Мусагет» в 1913 г. опубликовало книгу А. Виноградова – перевод поэмы в прозе Юлиуша Словацкого «Ангелли».

Юлий Словацкий – классик польской литературы, современник А. Мицкевича. Романтики Ю. Словацкий и А. Мицкевич были в свое время провозвестниками польского мессианизма.

Мессианизм – это ультрапатриотическое течение с мистическим уклоном. Оно расцвело в XIX веке в Польше, когда она потеряла политическую самостоятельность, особенно после подавленного польского восстания 1830 года. «Ангелли» – произведение мессианизму очень близкое. Сильное влияние мессианизма сказывается в его библейской форме и в содержании, идея которого – «добровольное искупительное страдание, принятое на себя и впитывание в себя скорбей народа»... (Раздумье польской интеллигенции над судьбой Польши привело к идее польского страдания как искупительной жертвы целого народа за грехи европейского человека).

Сюжет «Ангелли» таков: героя поэмы – польского юношу Ангелли избрал своим приемником волшебник и царь народа сибирского Шаман. Влив в сердце Ангелли любовь к людям и сострадание, Шаман ведет его по местам, где стонут в муках каторжане – страдают сосланные декабристы и повстанцы-поляки. Каторга аллегорическая и фантастическая проходит перед глазами героев, странствующих по сказочной стране вечных снегов. Шаман гибнет от рук поляков, затеявших в своей среде междоусобицы, Ангелли умирает от ностальгии. Образ Шамана – символизирует духовную основу скорби и веры. Ангелли – символ чистоты, жертвенности и искупительного страдания за отчизну.

Поэма кончается апокалиптическим предвестием будущих восстаний и падений жестоких монархий.

Положительной рецензией Л. Козловского откликнулись на выход «Ангелли» «Русские ведомости» (Л. Козловский «Юлиуш Словацкий «Ангелли» поэма, перевод с польского А. Виноградова, изд. «Мусагет» М., 1913. – «Русские ведомости» 4 декабря 1913 г. № 273).

«Русский читатель... вынесет большое эстетическое наслаждение и будет благодарен господину Виноградову, давшему хороший перевод поэмы великого польского романтика» – говорится в рецензии «Ведомостей». Перевод г. Анатолия Виноградова лучший из русских переводов «Ангелли» – утверждает ежемесячный литературный и общественный журнал «Путь» («Путь». 1914, № 3, Записки о новых книгах). Более сдержанно отозвался об «Ангелли» «Новый журнал для всех», где в рубрике «Новые книги» А. Налимов, согласившись с тем, что эта «символическая поэма знаменитого польского писателя, в общем, не дурно переведенная господином Виноградовым», тем не менее считает, что старое и изощренное мастерство поэмы и ее «намеренный и изысканный символизм» для большой русской публики едва ли будут мало-мальски интересны».

Следующей значительной работой А. Виноградова, опубликованной до революции стал перевод «Книг народа польского и польского пиллигримства» А. Мицкевича.

Первоначально, судя по письму А. Виноградова видному русскому издателю М.В. Сабашникову, «Книги...» должны были войти в сборник произведений Мицкевича, который готовило к выпуску издательство Сабашниковых, но Виноградов получил предложение издать «Книги...» отдельно.

«Книги народа польского...» – произведение мессианистическое. Оно, как и «Ангелли» Ю. Словацкого, написано в пророческом стиле. В первой части книг Мицкевич нарисовал путь человечества от начала мира до мученичества польского народа. Во второй части звучит призыв к национальному возрождению, освещенный иллюзорной верой Мицкевича в возможность единства польской эмиграции.

В основе своей «Книги народа польского и польского пиллигримства» – произведение революционное. Это утверждает биограф А. Мицкевича М. Живов в своем труде и говорит о том, что при всей гиперболизации национальной роли Польши, Мицкевич возвысился над чисто национальной устрем-

ленностью борьбы. Мицкевич говорил своим соотечественникам: «...Где только в Европе существует угнетение свободы и борьба за нее, там идет борьба за вашу Отчизну и в этой борьбе вы должны участвовать все».

Революционный характер «Книг...» А. Мицкевича сразу же был замечен и Ватикан включил их в индекс книг, запрещенных папою. Цензор подверг значительным купюрам первое, 1916-го года издание перевода, в результате «Книги...» в переводе Виноградова были частично уничтожены полицией, а потом были переизданы в апреле 1917-го года (А. Мицкевич, Избранные произведения, ГИЗ, 1929, с. 313, примеч.). Издавший «Книги народа польского и польского пиллигримства» «Русский книжник», анонсируя издание, поставил на нем год следующий, – 1918-ый).

В Предисловии ко второму изданию «Книг народа польского и польского пиллигримства», как и в первом издании, помещен очерк жизни и воззрений Мицкевича в связи с историей польского мессионизма и масонства. Предисловие это, датированное 1917-ым годом интересно так же с точки зрения эволюции взглядов А.К. Виноградова.

«...Изменившиеся условия унесли с собой тех, кто ждал, что русская революция сможет обеспечить свободу Польши, – пишет здесь Виноградов, – но за этим утверждением следуют туманные слова: «Мы слишком заняты были индивидуалистической филигранью своих мыслей, и вот теперь, когда нас приковали к необъятным, но скудным по содержанию лозунгам «самоопределения народов», мы в своей стране не смеем заикнутся о культурном русском самоопределении: нас давят с горячей убежденностью изнутри и снаружи добровольные и невольные медиумы демонического космополитизма (А. Виноградов Предисловие к книге А. Мицкевича «Книги народа польского и польского пиллигримства» М., «Русский книжник», 1918, с. IV-V).

А.К. Виноградов в одной из автобиографий пишет: «Я никогда не притворялся, а все, что, думал, писал. В апреле

1917 сдал Мицкевича «Книги народа польского...» со своим предисловием в «Русский книжник». В.М. Экземперский может засвидетельствовать, что манера книжников выпускать издания, авансировать год была им применена и здесь. Книга вышла до установления советской власти, а в преддверии образования власти Советов не один я путал и не знал, как сложится национальное определение на Востоке Европы. Меня волновал вопрос об освободительном значении русской революции... я этого вопроса распутать не мог, считая необходимым сохранение механизма власти государства на время состояния войны «в руках революционного Востока». Все, что мешало выходу России из войны я считал враждебным «революционному самосохранению народности», а наше «национальное самоопределение» считал в опасности, так как державы антантированые против Германии мне казались самыми опасными нашими врагами. Я считал, что наше «национальное самоопределение» должно идти по линии разрыва с Антантой в союзе с Германией. В союз с пролетариатом через головы военной Германии я не верил, и эту путаницу держал в голове... больше всего мне прояснили 1918 и 1919 годы...» (ЦГАЛИ, автобиография, Ф. 1303, ед. хр. 299).

Вздыбились валы Февральской и Октябрьской революции, потрясшие все основы и уничтожившие монархию в России. Они вынесли А. Виноградова на арену общественной деятельности.

ПРИ НОВОЙ ВЛАСТИ

Октябрь 1917 года. В Петрограде восстание. Штурм Зимнего. На Всероссийском съезде Советов были приняты декреты о мире, о земле, создано первое советское правительство – Совет Народных Комисаров во главе В. Лениным. Вслед за Петроградом вооруженное восстание победило в Москве. Над Кремлем – красное знамя, началась «диктатура пролетариата»...

В ноябре 1917-го А.К. Виноградов был избран в комиссию по охране памятников старины и художественных сокровищ при Московском совете рабочих и солдатских депутатов. Это был один из захватывающих моментов в жизни писателя. В обязанности члена комиссии входила деятельность по сохранению культурного достояния республики. Он был среди тех, кто проводил жизнь, декреты Совета Народных Комиссаров об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, подписанные Лениным.

Член Большой коллегии Народного Комиссариата имуществ республики А. Виноградов руководил деятельностью эмиссаров Московского Совета и сам исполнял трудные и подчас опасные обязанности эмиссара.

Эмиссары исследовали библиотеки, составляли доклады об состоянии, описывали их или опечатывали и передавали книги на хранение местных властей, или следили за упаковкой и перевозкой в Москву. Так как не только книги, но и другие ценные предметы искусства бывали в руках эмиссаров, то они подвергались немалым опасностям. Эмиссары водворяли часто порядок там, где прошлась «торопливая и не всегда бережная рука реквизиций».

Неизвестные страницы жизни эмиссара А. Виноградова раскрыл впервые известный журналист, долгие годы работавший в газете «Советская культура», Е.В. Кончин. В его книге «Эмиссары 18-го года» немало написано о Виноградове и его роли в спасении многих ценных книг и экспонатов из императорских и частных собраний. В 1978-ом году Евграф Кончин, со свойственной его перу увлекательностью, рассказал со страниц «Советской культуры» о найденных им в ЦГАЛИ документах, в которых – свидетельство об участии Виноградова в длившемся несколько дней с утра до ночи вывозе в Румянцевский музей библиотеки бывшего Александровского военного училища, где уже успели побывать грабители. В архиве Е. Кончин обнаружил документы, говорящие о том, что Виноградов причастен к спасению уни-

кальных коллекций графов Уваровых из усадьбы Поречье, где «волостное земство» вздумало распродать это имущество и обречь его на уничтожение. Вместе с М.Д. Ейхенгольцем Виноградову удалось вывести из Уваровского имения в музей предметы искусства «исключительной художественной и научной ценности».

Об этих годах красноречиво говорит документ, так же частично цитированный Кончиним в статье. Это характеристика, данная бывшим комиссаром Кремля, затем наркомом имуществ Республики П.П. Малиновским. «Товарищ Виноградов был первым из весьма немногих в то время интеллигентов, пришедших добровольно на помощь Соввласти и оказал неоценимые услуги как по сохранению Румянцевского музея, так и по охране вообще московских культурных ценностей, увлекая своим примером товарищей по специальности и всемерно содействуя Соввласти...»

С 26-го июля 1918 г. Виноградов стал заместителем заведующего Московским библиотечным отделением Народного комиссариата по просвещению.

Заведующим же Московским библиотечным отделением Наркомпроса был Валерий Яковлевич Брюсов, признанный мэтр поэзии Серебряного века, известнейший писатель, переводчик. С ним вместе Виноградов одновременно возглавлял Центральный комитет государственных библиотек.

В письме к В.Я. Брюсову от 16-го августа 1918-го года Виноградов касается обстоятельств их совместной работы и высказывает несогласия с Валерием Яковлевичем по поводу создания нового отдельного иностранного книжного фонда в одной из столиц. По мнению Виноградова это несвоевременная мера будет только «оттяжкой средств от существующих государственных библиотек» (ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 135, л. 6).

Руководил работой А. Виноградова в библиотечном отделе Наркомпроса Нарком просвещения Московской области (он

же председатель Моссовета) М.Н. Покровский, историк, труды которого оказали в последствии некоторое влияние на творчество Виноградова. Позднее Виноградов тесно сотрудничал с Наркомом просвещения Республики А.В. Луначарским, разнообразные контакты и совместная работа с которым длилась далее еще многие годы.

Занимая общественные государственные должности и работая в комиссиях, Виноградов не покидал своей основной деятельности в Румянцевском музее, где 15-го октября 1918 года был избран Ученым секретарем. Как это замечает Е.Д. Ягодина, автор диссертационной работы «История государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина в первые годы советской власти», Виноградов представлял музей и библиотеку в различных советских организациях и «докладывал на совещаниях в Румянцевской библиотеке о мероприятиях советского правительства в области просвещения, о решениях конференций и съездов Наркомпроса и немало содействовал ознакомлению сотрудников Румянцевской библиотеки с программой советского культурного строительства, разъяснению новых задач, поставленных перед библиотекой.

С декабря 1918-го года он – временный председатель Президиума библиотечных сессий.

Библиотека музея 1919-ом году приобрела особое значение в связи с переездом советского правительства в Москву. Она стала удовлетворять правительственные нужды и приобрела общегосударственное значение, какое ранее имела Петроградская публичная библиотека. Книгами Румянцевкой библиотеки стал пользоваться и председатель СНК В.И. Ленин...

Первые библиотечные совещания, которые созывал Наркомпрос в июле 1919-го года обсуждали положение центральных государственных библиотек и касались неудач библиотечной работы на местах. Первому государственному совещанию библиотеки были обязаны расширениям кредитов

и положениям об обмене книг меж центральными библиотеками Москвы и Петрограда.

Совещания и сессии 1919-го года, которые организовывал и в которых принимал участие А. Виноградов, имели цель оживить библиотечную работу и наметить пути осуществления декретов совнаркома («о европеизации библиотечной техники» «о предотвращении недостатков, выявленных в процессе работы и т.п.»).

Горячая общественная атмосфера первых «энтузиастических» лет советской власти вдохновляла тогда А. Виноградова. Он оторвался от семьи, уехавшей в Тарусу. Живя один, работал по 16-18 часов в сутки и еще находил в себе силы хлопотать по просветительским и хозяйственным делам Тарусского трудового сельско-хозяйственного товарищества «Колос», в котором в те трудные времена трудились его родители. Хлопотал он и о государственных субсидиях Тарусскому театру при клубе имени Володарского, где режиссером стала Н.М. Виноградова, его мать.

Особенной тяжестью легла на плечи москвичей морозная зима 1919-го года. Разруха, отопительный кризис, жесткая экономия топлива. Но работа в Румянцевском музее несмотря ни на что продолжалась; библиотека не закрывалась даже в самые черные, трудные дни. За четыре тяжких месяца умерли 24 человека сотрудников музея, многие заболели туберкулезом и другими легочными болезнями.

Болели, гибли люди, болели и гибли книги. В холодных помещениях, в которых хранились книжные фонды Румянцевской библиотеки начала заводится так называемая чернильная плесень, поразившая многие книги, печатавшиеся на древесной бумаге, не содержащей тряпичных примесей.

О том времени Виноградов писал в статье «Судьба русских книжных сокровищ», хранящейся в РГАЛИ, впервые вышедшей в сборнике «Советская культура» М., 1924 (и переиздан-

ной в Германии, в Берлине в издании «Neutige Russland»), статья дает живую картину жизни Румянцевского музея тех лет.

«Рабочим и служащим музея приходится часто перекидываться с одной работы на другую. Сегодня надо усилить состав каталога. Там подали груды требований и их надо удовлетворять в срок в 8 часов утра, когда уборщик метет полы и расставляют книги, в каталоге уже кипит работа, в 10 часов требования расположены по алфавиту, часть удовлетворяется «стариками» по памяти, а большинство требований идут в руки работникам алфавитного каталога. Им надо целый день стоя около ящиков отыскать в каталоге необходимые рубрики и поставить их в требования. Требований много, надо взять помощников, а работы всюду по горло и каждого работника у заведующего приходится выторговывать, обещая ему помощь в его Отделе через день, через два. Но вот наступает срок вывоза нового библиотечного имущества с места его хранения в музей. «Такого имущества вывезено за эту зиму около 300 000 томов. Собирается отряд, заготовляется тара, библиотекари превращаются в грузчиков и начинается египетская работа по разборке в морозной книжной пыли Десятов и сотен тысяч книг». Так работали несмотря на крайние лишения служащие музея, которые к тому же совмещали службу с дополнительными заработками вечером, потому что получали в библиотеке «ровно столько, чтобы десять раз в месяц приехать в Музей на трамвае». Вот где истинно трудовое мужество и героизм людей столько верст по хранилищам носившим на себе «пудовые» книги – чтобы донести до читателей знания... (см. РГАЛИ Ф. 1303, оп. I, № 218, л. 2-3).

Писал ли А. Виноградов в то тяжелое время художественные произведения?

Именно к 1919-ому году относится одна из первых законченных проб пера А.К. Виноградова в исторической прозе.

Не роман, не повесть, – новелла «Тия» из жизни древнего Египта. Это даже скорее романтико-лирическое, чем, собственно, историческое произведение, хотя время действия отнесено ко времени правления египетского фараона Аменхотепа III (1455-1422 до н. э.). На новелле, написанной в легендарно-лирическом ключе, лежит отпечаток влияния символизма. Но тема посмертного существования центральная в новелле, решается, однако, не в традициях символизма. В новеллистике Федора Сологуба, например, тема посмертного существования предстает отражением идеи многократности человеческих воплощений. У Виноградова в «Тие» – напротив, посмертное существование человека, юной девушки, заключается не в инобытии, а в простом произнесении живыми имени умершего, в воспоминании о нем, при котором там, за порогом земного бытия, оживает Тия... Символически выраженная идея не возвышается над реальностью, остается в ней, невольно отрицая тем самым символические атрибуты формы новеллы. «Тия» – поэтична, трогательна. В историко-литературном плане она характерна послереволюционному повороту от символизма к реализму.

Анатолий Виноградов

Тия

новелла

«Это было в Мемфисе в
незапамятные времена»,
«Назовите меня по имени,
ибо в этом отрада покойников».

I

Во времена девятой династии, в правление фараона Аменхотепа III, у старого врача Анориса умерла единственная дочь Тия. Так захотел Создавший небо и тайну горизонта, так повелел Отмеривший дни и часы. В установленные сроки Тию положили в гроб из дерева семилетней акации, срубленной в стране «Ступеней»... Заиграли арфы. Впереди процессии плясали девять карликов. Позади, кроме

Анориса, шли: старая мамка Каясса, молодой воин Фанес и подруга Тии, хорошенькая Нурхит.

На западном берегу Нила была уготована Гробница из белого камня, весьма прочного, обложенного кирпичом, — выделки вечной.

II

Но не вся целиком ушла Тия из жизни. Ибо остался след её имени на губах у нескольких из живущих, и образ её в памяти их глаз и ушей.

Бывало, скажет старуха Каясса: «Тия любила цветы тампакка, Тия любила плоды — анеффэ».

Или, бывало, старый Анорис, склонившись над Вавилонскими письменами, вдруг шепнёт: «Тия», — и тогда возвращалась Тия из страны Неподвижного Часа, где ходят безгрешные по прекрасным Путям.

И говорила Каясса: Вот слышу я ее легкую поступь на пестрых циновках... Разве не Тия поет на кровле?

И говорил сам с собою Анорис:

— «Вот я слышу ее голос: шалунья дразнит ворчливую Каяссу. Разве не Тия выбежала на площадь Красных Ослов и высматривает, влюбленная, воина Фанеса, милого жениха?»

Так оживала она каждый раз, когда на губах и в мыслях живущих воскресало созвучие «Тия».

Ибо написано клеевыми чернилами и обведено краской на свитке папируса, что кладется на грудь покойника в день его погребения:

«О вы, оставшиеся на земле, любящие жизнь и ненавидящие смерть! Мне ничего не надо от вас, кроме дуновения уст ваших. Ибо жизнь мертвых — в произнесении имени их».

III

И еще жила Тия в мыслях у Фанеса. Тия смеется, высоко подняв голову и, по привычке, слегка зажмурила глаза, как от солнца.

Тия бросает в него в саду цветком тампакка и убегает, приплясывая.

Тия ревнует его к Нурхит, — что за мысль несуразная! — так оживала Тия в душе у Фанеса.

Но вот умерла старуха Каясса и немного убавилось жизни у Тии. А потом умер старый Анорис и еще убавилось жизни у Тии.

Но зато прожила она немногим больше семнадцати секунд на похоронах у Анориса, так как за гробом шел Фанес и вслушивался в песнопение Карликов, плясавших впереди.

Карлики пели:

«О назовите меня дуновением уст ваших. Это ведь так нетрудно для Вас. Для этого не надо бежать и делать глубокие вздохи. Нет в этом для Вас и расходов... Назовите меня... Назовите меня...». И пока Фанес шептал: «Тия, Тия, — и карлики докончили песню словами: «Ибо жизнь мертвого в произнесении имени его», Тия ожила на целых семнадцать секунд и шла рядом с Фанесом за гробом Анориса и, хотя было не время и не место, шепнула на ухо Фанеса: «Милый мой, мой возлюбленный!».

Так живут мертвые в мыслях живых.

IV

Настал день, когда воин Фанес отправился в поход против дикого племени Данга. Он оставил тридцать колесниц у подножия гор, а сам же поднялся по пути, где не было проложенного следа, у края пропасти в две тысячи локтей глубины. И внезапно вонзилась в его правый глаз стрела, пущенная черной рукой. И Фанес свалился в пропасть.

Так захотел Отмеривший дни и часы. И во время его падения, длившегося девять секунд, ярким светом вспыхнула жизнь Тии: Тия кружилась в быстрой свадебной пляске все быстрей, вдруг остановилась, громко сказала:

«О, мой возлюбленный, мои руки обнимают тебя!», и она отдалась Фанесу. И вдруг оба умерли.

V

И долго потом не жила Тия. И только уже в царствование Аменхотепа V, как-то летнем вечером на мосту (но не в Мемфисе, а в городе Анхэ), ожила Тия на короткий срок в облаке золотистой пыли.

Это сгорбленная продавщица благовоний, с лицом темным, как спина носорога, безобразная, состарившаяся Нурхит, сказала, обращаясь к соседке:

— «Вон идет девушка и смеется, подняв кверху лицо и щурит глаза от заходящего солнца. Она похоже на одну из подруг моей

весны, на которой хотел жениться красавец-воин, убитый в походе против племени Данга».

И безобразная Нурхит задумалась, уставившись на проходивших мимо верблюдов. И прожила в это время Тия целых четыре секунды.

Но скоро и Нурхит умерла.

VI

Шли годы.

Заносило песками источники, города, деревни, могилы. (Между прочим погиб и город Анхэ, о котором теперь не знает почти никто). И много, много сменилось длинных династий.

Вероятно, нет в живых никого, кто мог бы произнести имя Тии. И если затеряется написанное здесь, тогда уже навеки умрет Тия, и нельзя будет поправить беды.

Хоть вы, если вы любите жизнь и ненавидите смерть, сделайте что-нибудь для нее. Ей нечего не надо от Вас, кроме дуновения уст Ваших. Никакового напряжения воли. И уж, разумеется, никаких расходов. Шепните только ее имя, чтобы могла снова ожить хотя на десятую долю секунды Тия, дочь врача Анориса.

И не опасайтесь, что я просто выдумал Тию и что шепот уст Ваших будет смешон и напрасен.

Нет. Тия действительно жила в Мемфисе, во времена IX династии и умерла ранней весной в царствование Аменхотепа III, как этого захотел Отмеривший дни и часы.

8 ноября 1919 г.

Стилизованная под Древний Египет новелла А.К. Виноградова «Тия» впервые была опубликована в журнале «Социум», 1995, № 7 (50), с. 114-115. Эта публикация в интеллектуальном, элитарном журнале не сделала «Тию» известной... А она заслуживает нашей памяти своим тонким изяществом, свойственным Серебряному веку, который она, несмотря ни на какие «но», миниатюрно и трогательно представляет...

Далее – фрагмент из магнитозаписи разговора с Анастасией Ивановной, где мы касаемся этой новеллы:

«Ст. Айдинян – А о его (А. Виноградова) новелле «Тия»... Вы считаете, что это было написано человеком, которому не было свойственно религиозное чувство?..

Анастасия Цветаева – Ну конечно, что же там говорится?.. Что только когда ее на земле вспоминают, тогда она оживает, а до тех пор где она, где ж душа?.. А о душе очень все убого...

Ст. А. – Но она поэтично очень написана, Вы не считаете?

АЦ. – Ну внешне поэтично, да.

Ст. А. – Формой он владел уже тогда...

АЦ. – Стиль выдержан, но это очень мало, потому что если ты касаешься смерти, ты должен дать свое отношение к смерти, свое отношение к смерти хотя бы данного героя...».

Вот так в конце жизни оценила Анастасия Ивановна новеллу «Тия» не с литературной, а с религиозной точки зрения... Только годы спустя возникло предположение, что Таи-Ах, воспетая другом Анастасии Ивановны, Максимилианом Волошиным в стихах, и Тия А. Виноградова, это одно лицо, хотя Тия – дочь врача, а Таи-Ах – царевна... Тией или Тийей звали «великую супругу» египетского фараона Аменхотепа III. Их роднил только Древний Египет? Однако, как знать, не рассказ ли о тонком лике юной египтянки М. Волошина послужил А. Виноградову импульсом для написания новеллы, ведь они были знакомы по «Обществу свободной эстетики», и оба знали сестер Цветаевых...

В феврале 1920-го года фамилия А. Виноградова появляется в газете «Правда» в связи с перевыборами московского совета («Правда», № 42, 25 февраля 1920 г.).

Оживленная, приподнятая атмосфера общего собрания городского района, на котором избирали депутата в московский совет одиннадцать коллективов, входящих в профсоюз служащих московской губернии. Собрание ведет по поручению коммунистической фракции Анатолий Виноградов. Тогда большевики шумно противостояли меньшевикам и победа осталась за большевиками, которые с огромным преимуществом голосов заняли главенствующее положение в красных Советах, которые «Правда» тогда называла «Сердцем народной воли».

«Председатель собрания, секретарь Румянцевского музея тов. Виноградов отметил кризис интеллигентского отношения

в переходный момент к социалистической культуре и начавшееся наряду с этим оздоровление даже среди «бессознательно саботировавшей интеллигенции» – писала газета.

1920 год был особым годом в жизни Анатолия Корнелиевича. 25-го июня московский отдел записей гражданского состояния зарегистрировал его брак с Еленой Всеволодовной Козловой, которою он в стихах, к ней обращенных, называл нежно «Елочкой». От этого, первого, брака у Виноградова потом родилось двое детей, – Юрий и Надежда.

Имя Е.В. Козловой мы встретим так же в книге Проспера Мериме «Избранные произведения» – эту книгу в 1930-ом году А.К. Виноградов выпустил совместно с написавшим предисловие А.В. Луначарским. Е.В. Виноградова переводила с французского тексты самостоятельно и вместе со своим мужем, А.К. Виноградовым.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ

В многообразии деятельностей А. К. Виноградова в первые послереволюционные годы не должна затеряться еще одна, особая струя – дипломатическая.

С 1918-го года Анатолий Корнелиевич выступал представителем в комиссии по Брестскому договору. Этот «грабительский» мирный договор Германия навязала России. По нему от Советской России отторгались Литва, Латвия, Эстония, Украина, и часть Белоруссии; города Ардаган, Карс и Батум аннексировала Турция.

Чрезвычайный четвертый съезд советов, где с докладом выступил Ленин, ратифицировал договор, тогда необходимый большевикам для единой цели – прекращения войны и установления мира.

В 1920-21 годах Виноградов был делегирован в Латвию на мирные переговоры с Польшей, находившейся тогда в состоянии войны с советским государством. Виноградов исполнял обязанности эксперта по музеям, библиотекам и архивам. Вот где переводчику Мицкевича и Словацкого снова пригодилось знание родного для его матери польского языка.

Вместе с академиком С.Ф. Ольденбургом и Игорем Грабарем входя в состав смешанной РСФСР и УССР делегации на переговорах он участвовал в выработке 11-ой статьи Рижского мирного договора с Польшей, подписанного 18-го марта 1921-го года.

Статья, в выработке которой участвовал Виноградов, касалась взаимного возвращения имуществ, принадлежавших Польше – на территории РСФСР и предметов, составляющих достояние русской культуры, оказавшихся на территории панской Польши. Польская делегация при этом настойчиво выставляла часто непомерные претензии, что серьезно затрудняло ход переговоров, продолжавшихся около пяти месяцев.

Вот как академик И.Э. Грабарь описывает в письме к А.К. Виноградову атмосферу переговоров, которые велись в здании XIV века в «Доме Черноголовых» в Риге в марте 1921-го года: «Очень торжественно – 28 человек, огромный стол, покрытый красным сукном, у всех польских делегатов победоносные лица, сияющие и наглые» (И. Грабарь «Письма» 1917-1941 М., «Наука», 1977, с. 52).

С заключением Рижского договора работа Виноградова, касавшаяся дел иностранных, не прекратилась. Он был постоянным представителем НКПР в составе смешанной советско-польской комиссии, предусмотренной Рижским договором сроком на три года, которая следила за проведением договора в жизнь. Председательствовал в комиссии выдающийся дипломат П.Л. Воейков.

Тогда председательствовал Виноградов от Наркомпроса и ВЧК в Народном комиссариате внешней торговли по вопросам охраны экономических интересов СССР. Игорь Грабарь, с которым Виноградов делил свою дипломатическую миссию в Риге, рекомендовал Виноградова в художественно-историческое отделение Всероссийской Академии Истории материальной культуры, куда Виноградов и был утвержден научным сотрудником 2-ой категории. Грабарь и Виноградов были знакомы еще со времен их совместных заседаний на московских конференциях музейно-библиотечных работни-

ков, но особенно они сдружились в Риге. Вместе разыскивали по книжным магазинам нужные книги. Виноградов для Румянцевского музея отбирал научную литературу, а Грабарь искал издания по искусству, что выходили с 1914-го года.

Виноградов и И. Грабарь в Риге печатались в одной газете, которая имела просоветскую ориентацию. Называлась она «Новый путь». Статьи в «Новом пути» знаменуют новый этап в мировоззрении А. Виноградова. Показательна в этом отношении статья «Литературные устремления и политическая практика Польши» опубликованная 2-го июля 1921. В статье этой Виноградов вновь обратился к литературной истории польского мессионизма, но обратился принципиально по-новому.

Вспоминая о литературных манифестациях польских писателей XIX века, Виноградов показывает что на последнем этапе польского мессионизма возобладал своеобразный интернационализм, который при всей приверженности, «избранности» Польши утверждал стремления к политической свободе всех народов. Виноградов пишет об историческом переломе, который переживает современная ему Польша. Его интересовало, отдаст ли польская интеллигенция «свои культурные силы и устремелния на обслуживание буржуазной идеологии буржуазного государства, или возобладают иные идеи?..»

«Ближайшее будущее покажет, – пишет в статье А. Виноградов, – станет ли Польша глухой провинцией антантовской дипломатии, или совместными усилиями своей интеллигенции и тех классов, которые в Польше изведали рабство так полно, как никто другой, станет действительно «страной свободы», несущей другим народам раскрепощение, а не рабство» («Новый путь» 21 июля, № 122, с. 2-3).

Не менее интересна другая статья – «Цветы без стебля», опубликованная 18 июля 1921 года в том же «Новом пути». Это рецензия на две книги о русской революции, вышедшие на западе. Первая из книг этих – «История Второй русской революции» принадлежала профессору П.И. Милюкову (Первое издание Киев 1918, второе – в Берлине, в 1921 году).

Вот что пишет о ней Виноградов: «В сущности говоря, книга Милюкова вовсе не есть история какой бы то ни было революции, а история беспомощной смены кабинетов временного правительства. Характеристики товарищей по несчастью, и негодование буржуазного министра, для которого прошли бесследно опыты политических и социальных революций прошлого, вот что является стеблем, на котором распускаются траурные листья и мрачные цветы милюковского красноречия».

В этом же очерке он останавливает внимание также и на другой книге – «Русский опыт» – историко-психологический очерк русской революции» (Издание книгоиздательства «Север» в Париже в 1921 г.). Автор этой книги П. Росс, по мнению А. Виноградова, «погружая нас в море своих случайных, противоречивых благоприятных и неблагоприятных характеристик, совершенно не касается внутренней логики вещей, неумолимой связи и последовательности событий». Характерно, что книгам он противопоставляет работы, изданные в Советской России, среди которых на первом месте стоит «Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата» Н. Ленина 1919 г. Из статей, которые вышли на страницах «Нового пути», подписанных А. Виноградовым, или его псевдонимом «Авинов», назовем еще «Дневник А.С. Пушкина» (6 марта 1921), «Закат Европы» – 5 мая 1921 года, «Литературные сокровища России» 6 февраля 1921 г.

Причем надо особо отметить, что А. Виноградов внес свой вклад в пушкинистику, например, в серийном сборнике, посвященном памяти Б.Л. Модзалевского, им был опубликован тогда новонайденный отрывок из пушкинского «Евгения Онегина» («Новые строфы «Евгения Онегина» как свидетельство оставленного замысла», «Пушкин и его современники», Л., 1930. Вып. XXXVIII-XXXIX. с. 1-10).

СЛУЧАЙ С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ

Ко времени возвращения Виноградова из Латвии в 1921 году относится забавный инцидент, происшедший меж А. Виноградовым и А. Белым.

А. Виноградов любезно согласился переписать рукопись А. Белого «Кризис сознания». Этой рукописи Белый отдал девять с половиной месяцев работы и считал ее тогда лучшей из всего, что написано им в форме статей. Каков же был ужас Белого, когда ему передали, что его рукопись исчезла и Виноградов не знает – куда. «Об утрате речи быть не может – пишет Белый Виноградову. Вы все равно в случае утраты осадите рукопись из воздуха и мне ее вернете немедленно»... (ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 815). Но «осаживать из воздуха» рукопись не пришлось. Прошло немало времени, с обоих сторон истрачено немало нервных сил, пока не случилось то, о чем мы узнаем из письма А. Виноградова к А. Белому: «...Ваша рукопись «Кризис сознания» сегодня после четырех часов дня обнаружена мною на письменном столе моего служебного кабинета. Положенная неизвестным лицом, она была покрыта куском бумаги с весьма наглой надписью – «Вот!». Проделка эта мне дорого стоила, я мучился ужасно...» (ЦГАЛИ, Ф. 53, оп. I, ед. хр. 165). Рукопись через В.О. Нилендера была возвращена А. Белому. Теперь – к сожалению, в неполном виде, она – достояние отдела рукописей РГБ.

А.К. ВИНОГРАДОВ – ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ имени ЛЕНИНА

А.К. Виноградов был в марте 1921 года назначен директором Румянцевского музея и библиотеки.

Еще научным секретарем музея, Анатолий Виноградов подал проект полной реорганизации Румянцевского музея. Он, как и много ранее, придерживался мнения о необходимости расчленения ничем не связанных частей музея и придания библиотеке, существенно пополненной во время революции, решающего значения.

Луначарский поддержал идею реорганизации, по которой этнографические коллекции и картинная галерея становились самостоятельными учреждениями. Положительно к проекту отнеслись В.Я. Брюсов и М.Н. Покровский.

Даже соглашаясь на перспективу превращения Государственного Румянцевского музея во Всероссийскую публичную библиотеку, музейская Ученая коллегия, тем не менее, была против расчленения музея как «учреждения достаточно заслуженного». По мнению коллегии, высказанному в 1920 году, Российская Публичная Библиотека (2-ая после Петроградской) «должна по-прежнему оставаться составной частью единого Румянцевского музея» (Художественная жизнь. Бюллетень художественной секции народного комиссариата по просвещению. Март-апрель, 1920, № 3, с. 12 («О Всероссийской публичной библиотеке»).

Еще научным секретарем музея, А. Виноградов в 1919 году подал проект о полной реорганизации Румянцевского музея. Молодой директор максималистично относился к своим обязанностям и на работе ради дела выступил даже против закрытия музея в воскресные дни. Была в нем большая энергия, была воля, превозмогавшая болезни, и — удивительная, огромная работоспособность.

Не хватало ему другого административного качества — умения ладить с разными по характеру людьми, необходимого руководителю большого учреждения. Несмотря на то, что по заданию правительства, дипломатическую миссию за рубежом он исполнил, однако в жизни повседневной дипломатом он не был. Трудно, нервно, складывались его отношения с сослуживцами. Этот недостаток характера, может быть усугубленный последствиями контузии на войне, — преследовал его всю жизнь.

Положительной чертой А. Виноградова, как руководителя, было пристрастное отношение к своей работе, доходящая до резкости пристрастность, бескомпромиссное ощущение дела общего как дела личного, своего.

Старое чиновничество в музеи во главе с бывшем директором князем В. Голициным отвергало преобразования. Новшества реорганизации были опасны для них в основном по двум главным причинам — в случае расформирования музея они лишались насиженных мест и, во-вторых, многие из

них во время революции привезли в музей «на временное хранения» свое имущество, музейное и немузейное, спасая его от конфискации и реквизиции. Была опасность, что они это имущество никогда не вернут. Эти обстоятельства ставили под удар авторитет Румянцевского музея в глазах новой власти, все это беспокоило Виноградова, который уже тогда настаивал на необходимости «большей осторожности» при принятии подобных временных «даров» от частных лиц. Музей могли обвинить в содействии владельцам «из бывших», их попыткам сохранить ценности «им уже не принадлежащие». Князь В.Д. Голицин, директор музея до 1921 года, конечно, покровительствовал подобной практике хранения в музее ценностей «до лучших времен». Можно представить себе какую бурю негодования вызвала политика «невозвращения» завезенного в музей имущества.

Борьба старого чиновничества против плана реорганизации, естественно, была направлена на инициатора реформ. В ход шла клевета о якобы тесной связи А. Виноградова «со старообрядчеством» и т.п. Другая часть работников приветствовала деятельность директора, об этом свидетельствует коллективное письмо работников Румянцевского Музея к Наркому просвещения А.В. Луначарскому. Вот что они пишут о Виноградове:

«Мы видели его еще девятнадцатилетним юношей, всегдашним другом и защитником библиотечного рабочего, горячим инициатором всякого нового усовершенствования в музее, вдохновителем всех наших усилий, не прекращавшихся в годы войны, голода и холода... Мы вправе сказать, что все успехи музея и, главным образом библиотеки, основаны на его инициативе, сплоченность нашего коллектива – это его работа... Но главное: мы видим в нем надежного рулевого и как бы ни были тяжелы иные дни и годы работы, мы всегда видим его на посту бодрым и неизменно верным труду. Он делил с нами все наши тяжести и первый шел навстречу нашим комсомольцам и нашему месткому, не забывая ставить на большую высоту авторитет исследовательской и научной

работы музея, он часто отрывался от семьи и личных дел, отдавая все силы работе профессиональной». Это письмо, адресованное Наркому просвещения А.В. Луначарскому и подписанное восьмью сотрудниками музея во главе с Г.П. Гершевским опубликовано в газете «Известия» 22 июня 1923 г. (№ 137 (1874)). В кратком предисловии к письму Нарком писал: «Я думаю, что Анатолий Корнилиевич Виноградов будет глубоко тронут такой аттестацией его деятельности со стороны подчиненных ему героев труда. Лично я охотно примыкаю к ним в оценке его выдающихся трудов в ползу Советской республики». Как видим, из религиозного человека А. Виноградов превратился в посоветски настроенного руководителя учреждения.

У директора перед библиотекой были и другие административные заслуги, о которых мы узнаем из официального письма заведующего Главным управлением научных учреждений И. Гливенко от 21 мая 1923 года в Московский ГУБПРОС. Из этого письма (ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 135 ед. 2) мы узнаем о том, что благодаря стараниям Виноградова, учреждение освободилось от своей большой задолженности, несмотря на «незначительность» выделенных ассигнований. Оказывается, что в течении двух лет Виноградов был единственным руководителем и гласным исполнителем редакционно-издательского плана Румянцевского музея. Результатом явилась значительная программа изданий, готовых к печати рукописей и обработанных вполне документов. Работа эта велась «лично тов. Виноградовым без какого бы то ни было вознаграждения» и дала средства покрыть долги. Издания, подготовленные А.К. Виноградовым, выходили как выпуски «Трудов Государственного Румянцевского музея». Первым выпуском было назначено издание дневника А.С. Пушкина. О пушкинском дневнике Виноградов издал еще в Риге статью в «Новом пути» (6 марта 1921 г.). Одно из изданий, которое подготовил Виноградов, вышло Вторым выпуском трудов Музея и остается уникальным по сегодняшний

день. – «К.Н. Победоносцев и его корреспонденты» Письма и записки. С предисловием М.Н. Покровского, ТТ. 1, 2. Гос. издательство М.-Пг., 1923.

Трудно переоценить значение этой публикации, дающей интереснейший исторический материал из истории «реакции» в России. Встают со страниц переписки живые картины Российской империи времен Александра Третьего, над которой всесильный Победоносцев «простер совиные крыла». Здесь письмо Победоносцева к Монарху, настойчиво требующее казни петрашевцев. Здесь же – тайные донесения доносчиков и полицейских чинов прокурору Синода. Рядом – материалы, касающиеся постановки пьесы «Власть тьмы» Л. Толстого. Среди темного царства бумаг «великого инквизитора» России – смелое, полное гражданского мужества письмо философа В. Соловьева, подвергшегося репрессиям и поруганиям по злой воле К. Победоносцева, ненавидевшего его и Л. Толстого. В письме философ выдвигает Победоносцеву обвинение в «политике религиозных преследований» (с. 969). Неоспоримы историческое значение и ценность документального двухтомника. Однако, профессор П. Преображенский, откликнувшийся рецензией в журнале «Печать и революция» (1924, кн. 1) отметил и недостатки редакторской работы местами «не вполне тщательной и аккуратной».

Виноградов в 1920-е годы не только редактировал, но и писал для периодической печати и сборников одну за другой статьи о Румянцевском музее и библиотеке – в «Красной Ниве» (1923, № 3), в «Огоньке» (6 апреля и 13 июля 1924 г.) сборниках «Советская культура» (1924) и «Книга рабочего» (1925); в «Библиотечном обозрении» (1926 № 1,2) и многие, многие другие.

Тогда же изданы были его две ныне чрезвычайно редкие брошюры по библиотековедению: «История и организация Румянцевской библиотеки» и «История и состояние отдела рукописей Румянцевского музея». Среди этих работ выделяется «Общий очерк истории Румяновского музея», на-

писанный А.К. Виноградовым и вышедший в «Путеводителе по Государственному Румянцевскому музею». В нем он снова приводит идею о необходимости расчленения отделов музея и вывода из Пашкова дома всего, что органически не связанно с библиотекой. Очерк заканчивается кратко изложенным планом реорганизации, который уже стал проводиться в жизнь, постепенно превращая в музей в «Российскую Публичную Библиотеку» в Москве. Отметим тот факт, что экземпляр путеводителя был и в личной библиотеке В.И. Ленина в Кремле среди нескольких других изданий по библиотечному делу, которыми Ленин интересовался.

Евграф Кончин в книге «Эмиссары московского совета» (1981), задался целью выяснить, не было ли личных соприкосновений директора музея А.К. Виноградова с В.И. Лениным. К мысли о возможности таких контактов Е. Кончина привел сам А. Виноградов, который в разных вариантах своей автобиографии говорит о том, что: «В 1924 году судьба Библиотеки была декретирована по непосредственному распоряжению В.И. Ленина, которому я лично выдал обязательства положить основания крупной новой стройки». Кончин считает, что их свидание было вполне возможным. Вот еще фрагмент из автобиографии: «Виноградов был назначен директором Румянцовской библиотеки и музея и том же году получил изустное предложение В.И. Ленина реорганизовать и представить план расширения обогащенной революцией библиотеки». Однако Кончин считал, что сведений о контактах Ленина и Виноградова не сохранилось.

Контакты были, но какого рода?

Вот что пишет Виноградов: «мировое значение этой библиотеки давно установлено как по инвентарю, так и по масштабу работы. Ее будущее процветание вполне обеспеченно и место, которое она занимает в культурной истории человечества, является местом твердым и незыблемым; вот почему Владимир Ильич с таким интересом и бережным вниманием

относился к работе этого учреждения. По его инициативе Н.П. Горбунов (управляющий делами Совета народных Комисаров. – *Ст. А.*) отбирает у директора А.К. Виноградова расписку в том, что «все Дары революции будут пущены в оборот библиотеки...»

В другой автобиографии находим такую фразу: «после свидания с Лениным и декретированием постройки нового книгохранилища 14.07 1921 г. был начат цикл больших строительных работ». (ЦГАЛИ, Ф. 1303, № 219, л. 16, 17).

И, наконец, траурный номер газеты «Известия» № 20 (2055) пятницу 28 января 1924 года с объявлением о похоронах В.И. Ульянова (Ленина) Председателя Совета Народных Комисаров Союза ССР: «Нет лучшего способа почтить память усопшего вождя, осуществить его заветы...», – написано в передовице газеты, которая сообщает о многих собраниях и траурных митингах по стране. Вот репортаж об одном из них: «Вчера в Румянцевском музее состоялось общее собрание рабочих и служащих музея, посвященное кончине Ильича. Директор музея А.К. Виноградов поделился воспоминаниями о его соприкосновении с Ильичём, в частности, о требовании тов. Ленина о приведении в систему книжных богатств, полученных музеем от революции. В настоящие время задание Ильича по постройке нового книгохранилища почти полностью выполнено». Виноградов, как это следует опять таки из его автобиографии, 24 января 1924 года внес предложение через замнаркома М.И. Покровского о присвоении имени Ленина Библиотеке (ЦГАЛИ, Ф. 1303, оп. I, № 299).

В том же траурном номере «Известий» за 25 января печаталось сообщение о том, что «Коллегия Наркомпроса постановила Государственную Румянцевскую библиотеку наименовать Всероссийской публичной библиотекой им. тов. Ульянова-Ленина». (Речь идет о протоколе № 4/566 24 января 1924 Коллегия НКП Постановление.) Получив имя Ленина, библиотека, тем не менее, оставалась частью Румянцевского музея.

28 марта 1924 г. на Заседании коллегии Главнауки НКП было принято решение упразднить Румянцевский музей и, выделив из него «организации, имеющие музейное значение», придать библиотеке долгожданную самостоятельность, которую она и сохранила до сегодняшнего дня.

НЕ ВЫШЕДШАЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

О реформе Государственного Румянцевского музея А. Виноградов, находясь в отпуску в летние месяцы 1924 года, написал книгу «Организация центральной библиотеки С.С.С.Р как культурный памятник Ленину».

Книга эта, которая вместе с приложениями насчитывала 557 страниц, мыслилась Виноградовым как документальное обоснование ходатайства Народного комиссариата просвещения перед ЦИК ССР о переименовании музея в Российскую публичную библиотеку имени В.И. Ленина... «Я хочу этой книгой дать сведения о том, что надо сделать, чтобы имя Ленина, как революционного вождя пролетариата... действительно было связано с многомиллионной библиотекой, обязавшейся быть достойной этого имени» – писал А.К. Виноградов в Предисловии (с. 1).

В своем библиотековедческом труде Виноградов стремился дать полный технический портрет библиотеки, анализ ее структуры, организации. Одновременно книга должна была служить своеобразным учебником для молодых библиотекарей, справочным пособием, играть роль единственной в своем роде энциклопедии одной библиотеки.

«Организация центральной библиотеки С.С.С.Р» в основной своей части показывала путь реформы, каким он мыслился А. Виноградову. Книга содержала здоровое рациональное зерно, возросшее на большом опыте библиотечной работы ее автора.

Виноградов ратовал за научную организацию труда, за строгую экономию и, сколь это возможно, снабжение

библиотеки техникой, освобождающей человеческий труд, за рациональность работы библиотекарей. В книге с достойной подражания прямотой говорится о недостатках недочетах, нуждах и слабостях учреждения и о путях их преодоления.

Вопрос о выпуске книги решался в Главнауке – главном управлении научными, научно-художественными и музейными учреждениями. Этот орган был сформирован в составе Академического центра Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) в 1921 году и действовал до 1930 года. Сохранился отзыв Павла Захаровича Зенковича о книге Виноградова, адресованный заместителю заведующего Главнауки В.П. Зылеву. В нем говорится – «Книга А.К. Виноградова «Организация Центральной Библиотеки С.С.С.Р» содержит в себе основной материал по превращению Румянцевского музея в Главную Публичную библиотеку С.С.С.Р. Она дает историю, документы и план организации, а так как автор писал на основе многолетнего опыта исчерпывающего знания Румянцевской библиотеки, с его инициативой связано прокладывание основных путей реорганизации, то книга эта является необходимым источником, отражающим 10 лет роста Библиотеки и 8 лет реорганизационной работы.

«Количественное накопление и качественное использование» – два этапа, пережитые учреждением в Революцию. Если бы было признано необходимым ее печатать, то следовало бы: 1. В статье «Принципы организации» устранить все устаревшие теперь места. 2. «Конструктивные части» – оставить. 3. Функц/иональные/ связи оставить. 4. В «Приложениях» а) добавить постановление ЦИК С.С.С.Р о переименовании. б) «Бюджет и штат» оставить. в) Диаграммы оставить. г) Денежный отчет за 1923 год выбросить. д) Правила книгопользования сохранить. ж) О книжных вредителях сохранить. е) Правила коллективного абонемента сохранить, за исключением последнего абзаца з) Инструкции сохранить. и) Программы и материалы институтов сохранить. к) Систему

каталога местного отдела – выбросить. л) Последнюю статью о И.Ф. Федорове выбросить. м) План и экспликации сохранить.

Цели, поставленные автором: доказать правильность реформирования музея и организации вместо него Библиотеки достигнуты. Работа автора по реорганизации учреждения велась им с полным знанием деталей плана, поэтому надлежит признать книгу вполне компетентным собранием материала. Допечатание книги и снабжение ее указателем обеспечило бы возврат части сумм затраченных на нее.» (РГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 223).

16-ой типографией, по распоряжению Главнауки, было выдано А.К. Виноградову «четыре сверстанных экземпляров с полным оттиском всех клише для предоставления по инстанциям и для редакционного и корректурных разметок макета» (РГАЛИ, Ф. 1303, оп. 1, № 221). Из них один находится в фонде А.К. Виноградова в РГАЛИ, другой – в РГБ. Основной тираж выпущен так и не был.

Из «Трудового списка» А. Виноградова (образца 1927 года) узнаем, что 22 сентября 1924 года он – «Вследствие обострения туберкулеза и общего утомления подал ходатайство об освобождении от административных обязанностей», – об этом заявление в Главнауку было написано 24 ноября 1924 года, согласно тому же источнику, он был освобожден от должности директора и назначен заведующим (Главным библиотекарем) научного подотдела по славяноведению и славянским литературам в той же библиотеке». На этой должности он пробыл до 27 апреля 1929 года.

Многие мечты Виноградова о библиотечном устройстве потом стали реальностью. Долгое время, пока она была Государственной библиотекой СССР им. Ленина, имя основателя государства служило с большой пользой центральному книжному собранию страны. Но пришли новые времена. СССР пал. Пали с пьедестала бюсты и статуи вождя и основателя более не существующей страны. Так из

названия библиотеки исчезло и имя Ленина, но библиотека осталась главным книгохранилищем Российской Федерации под названием – Российская государственная библиотека.

Были у книги и слабые стороны. А. Виноградов несколько преувеличивал значение библиотеки. Так преувеличением кажется его предложение о «государственной мобилизации наиболее талантливых, наиболее образованных библиотекарей страны по созданию Ленинской библиотеки».

Странно звучат в наши дни некоторые введенные им в книгу «для красного словца» неологизмы, такие как, например, «октябрирование» библиотекаря. Но за причудливой формой скрывается вполне приемлемое для раннего советского времени содержание: под «октябрированием» Виноградов понимал всего лишь «общественное перевоспитание на советский лад библиотекаря», повышение уровня его «сознательности».

Каковы бы ни были достоинства и недостатка этой книги, судьба ее печальна...

ПРИЛОЖЕНИЕ

О жизни и о творческой биографии Станислава Айдиняна

Хочу рассказать о жизни и о творческой биографии **Станислава Айдиняна** литератора, поэта, искусствоведа, художественного критика, журналиста, хотя бы вкратце. Станислав Артурович Айдинян (1958 г.р.) – сын Артура Айдиняна, репатрианта из Греции, знаменитого в 1950-60-е годы певца, тенора, Народного артиста Армянской ССР. Возможно, что соприкосновение с детства (благодаря отцу), с мировыми шедеврами классического вокала навсегда стало для Станислава камертоном, развившим у него абсолютный поэтический слух при оценке творчества как собственного, так и собратьев по литературному цеху. Он неизменно доброжелательно, но и без скидок оценивает и отбирает работы для публикации в возглавляемом им литературном журнале «Южное Сияние», который выходит в Одессе, и где он также – заместитель председателя Южнорусского союза писателей. Эрудиция и организаторский талант сделали Станислава Айдиняна признанным арбитром в многочисленных научных и арт-институциях России и мира. С 1992 года он – член ученого совета Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых в Александрове. С 1996 года официальный искусствовед Федерации Акваживописи Международного художественного фонда. Станислав Айдинян – вице-президент Российско-итальянской «Академии Феррони», аркадской академии художественного творчества и импровизации, вице-президент по общественным связям Творческого союза профессиональных художников. Лауреат литературной премии Международного сообщества писательских союзов и

Конгресса литераторов Украины имени Юрия Каплана (2012), литературной премии фестиваля «Славянские традиции» (2016). Его изящные поэтические сборники, эссе, новеллы публикуются в Москве, Петербурге, Одессе, как отдельными изданиями, так и в толстых журналах, альманахах, в числе которых – «Грани», «Новый мир», «Меценат и Мир» и др. За творческие успехи и заслуги на общественном поприще награждён медалью Лермонтова, медалью «Профессионал России» и медалью Чехова. Общеизвестный факт: Станислав Айдинян был незаменимым и бесценным помощником А. Цветаевой, ее литературным секретарем и редактором, начиная с 1984-го года – и до последних дней ее жизни (1993 г.). О нем Анастасия Ивановна отзывалась так: «В работе со Станиславом я все глубже погружаюсь не только в разносторонность его дарований и широту его познаний в литературе, но и в его высокий вкус, в творческий темперамент, в привычку мыслить, оценивать и выражать, какие даются человеку только талантом писательского масштаба. /…/ Кстати, мастерство его – редакторское не случайно. Станислав – действительно писатель. Его интеллектуальная проза возвращает к тем эпохам и странам, когда из прошлого в будущее прорастали вневременные произведения, плоды мысли, воображения, принимавшие форму эссе, легенд, философских новелл…»

Кира Сапгир,
член Международного ПЭН-клуба
(Французское отделение).

СОДЕРЖАНИЕ

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ 3

Константин Бальмонт – великий поэт Российской империи (Глазами современников) 3
В ореоле памяти: Константин Бальмонт 12
К. Бальмонт **«Я был в России. Грачи кричали».** Стихотворение 14
К. Бальмонт **«Себя страданием не тешь...».** Стихотворение 25
М. Цветаева **«Брюсову».** Стихотворение 30
О нескольких рукописях К. Бальмонта 38
К. Бальмонт **«Чернобыль».** Фрагмент стихотворения с авторской правкой 40
К. Бальмонт **«Rondo».** Стихотворение 41
К. Бальмонт **«Любовь».** Стихотворение 42
К. Бальмонт **«Среди снегов».** Стихотворение 42
К. Бальмонт **«Юность».** Стихотворение 44

А. и М. ЦВЕТАЕВЫ 46

Из дневника И.В. Цветаева
О создании Музея изящных искусств в Москве 46
И.В. Цветаев. Дневник 12 марта, четверг (1898 год) 48
Марина Цветаева – Незамутненный источник 58
Марина Цветаева – **Асе, 1914.** Стихотворение 62
Хрустальный голос истины 63
Памятное о Анастасии Ивановне Цветаевой 68
Тарусские страницы воспоминаний Анастасии Цветаевой 75
Анастасия Цветаева. Тарусские воспоминания 76
Эллис, Цветаевы и Серебряный век 86
Эллис: Из поэзии 94
«Асе». Стихотворение 94
«Ангел Хранитель». Стихотворение (М. Цветаевой) 94
«Призыв». Стихотворение 95
«Аккорды чудные в душе моей звучат...». Стихотворение 96
«Аллеи дремали задумчивым сном» – из ранней поэзии Марины Цветаевой 96
О главе из «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой – «Николай Миронов» 106

Анастасия Цветаева ***Николаю Миронову****. Стихотворение*.....109
Марина Цветаева **«Жизнь приходит не с грохотом и громом...»**
Стихотворение.....111
Анастасия Цветаева **Николай Миронов.** *Глава из «Воспоминаний»*...113
Первая книга Анастасии Цветаевой.....142
О главе «Александров» из «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой155
О второй книге Анастасии Цветаевой.....158
П. Сурмин **«А. Цветаева. “Дым, дым и дым”. (Москва, 1916)».**
Рецензия.....173
Крым в «Дыму» воспоминаний, или встреча с Феодосией
Серебряного века.....176
Анастасия Цветаева **Из книги «Дым, дым и дым»** 179
Анастасия Цветаева в Судаке.....185
Анастасия Цветаева и ее книга «О чудесах и чудесном» 206
Борис Зубакин **«Кто – куда, а я в сберкассу...».** *Стихотворение*.....216
Сказки Анастасии Цветаевой.....225
О книге «Неисчерпаемое» или «Прошлолетний круг».....228
О «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой.....250
Автобиография Анастасии Ивановны Цветаевой (7. 01. 1977 г.)....273
О гибели Марины Цветаевой.....275
После бесконечной разлуки – М. и А. Цветаевы и Б. Пастернак....290
Нина Берберова о Майе Роллан и Анастасия Цветаева.....295
О стихотворном наследии Анастасии Цветаевой.....303
Анастасия Цветаева **О моих стихах**.....307
Анастасия Цветаева – «История одного путешествия,
1971-1972 гг., Москва – Крым».....308
Так давно, с А.И. Цветаевой в 1985 году, в Коктебеле.....313
О Непостижимых.....320
Свидетель эпохи.....328
Марина Цветаева: «В этой стороне кладбища...» –.....330
Письмо А.С. Эфрон – А.И. Цветаевой 12 сентября 1966 г. 334
Мир Света и легких крыльев.....336
Последнее о А.И. Цветаевой.....338

А. ВИНОГРАДОВ.....339

А.К. Виноградов – литературовед и писатель... 339
Анатолий Виноградов – ранние годы.....344

А. Виноградов — **«Романтический закат».**
Стихотворение (23 июня 1903 г.) 348
Адам Мицкевич «Дорога в Россию. Посвящение. Друзьям в России». Приложение к третьей части «Дзядов» (1833). *Перевод А. Виноградова, 1905 г.* 349
Годы Студенческие 351
Встреча со Львом Толстым 355
А. Виноградов **Из записной книжки — «27 февраля 1909. Ясная Поляна** 357
В начале творчества 360
А. Виноградов **«Встреча» (1907).** *Стихотворение* 361
А. Виноградов и Цветаевы 365
Анастасия Цветаева **Об очерке моей сестры Марины Цветаевой «Жених»** *(Париж, 1933)* 369
Марина Цветаева **«Где-то маятник качался, голоса звучали пьяно...».** *Стихотворение* 377
«Музейская» служба 378
А. Виноградов **«В библиотеке золотые тени».** *Стихотворение* 378
Заграничная поездка 382
На Первой Мировой войне 384
Первые книги — переводы с польского 388
При новой власти 392
А. Виноградов «Тия». *Новелла* **(8 ноября 1919)** 398
Деятельность дипломатическая 403
Случай с Андреем Белым 406
А.К. Виноградов — директор Библиотеки имени Ленина 407
Не вышедшая большая книга 414

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кира Сапгир
О жизни и о творческой биографии Станислава Айдиняна 418

Айдинян
Станислав Артурович

ЧЕТЫРЕХЛИСТНИК

**Константин Бальмонт,
Анастасия и Марина Цветаевы,
Анатолий Виноградов**

*очерки
статьи
исследования*

*Издано также при содействии
Центра русскоязычных армянских изданий
Издательского дома «Гуманитарий»*

ISBN 5-88161-400-3

Издательство ООО «Экслибрис-Пресс»

Техническое редактирование и вёрстка: Левон Осепян
Художественный корректор-редактор: Валерий Чурик

Подписано в печать 12.12.2016 г.
Формат 60x84/16.
Тираж после обреза 200x143 мм.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура типа Таймс.
Печ. л. 26,5. Тираж 300 экз. Заказ № .

Отпечатано в ООО «Астра-Полиграфия»